Леонид Мартынов

Воздушные фрегаты



Леонид Мартынов

Воздушные фрегаты

Новеллы

«Современник»
Москва
1974

Р2
М29

Мартынов Леонид Николаевич.

М29 Воздушные фрегаты. Новеллы. М., «Современник», 1974.

327 с. (Новинки «Современника»).

Автобиографическая книга «Воздушные фрегаты» одного из крупнейших мастеров русской советской поэзии, лауреата Государственной премии Леонида Мартынова относится к тому своеобразному жанру литературы, который создан поэтами. Острота восприятия жизни, тонкое ощущение как малейших сдвигов, так и величайших событий в жизни нашего общества, личная житейская и творческая судьба составляют содержание этой книги.

$М\frac{70302-167}{М106(03)-74}$ 15—74 Р2

Детские грезы

В конце концов надо начать. Начать хотя бы этой самой строкой из своего же незаконченного стихотворения. Незаконченные и ненапечатанные стихи по праву занимают место в этой тетради. Дело в том, что четверть века назад один мой друг, о котором речь пойдет ниже, подарил мне эту объемистую, хорошо переплетенную тетрадь, с тем, чтобы я в ней записывал старые стихи, и новые замыслы, и все, что придет в голову. Я записал в тетрадь десяток юношеских своих стихотворений и бросил, и тетрадь лежала без применения двадцать пять лет. Но вот как-то весной меня охватила настоятельная потребность внести в эту тетрадь кое-какие воспоминания. И с размаху я написал что-то около двенадцати печатных листов прозы вперемежку со стихами, старыми и новыми. И вот теперь, в январе 1970 года, перечитав написанное, я вижу, что труд, слава богу, не доведен до конца,— надеюсь, что о конце думать еще рано, но о начале подумать уже пора. Пора подумать: как все это начать, с чего начать, в конце концов?

Я не ищу красивого эффектного начала. Я просто ищу начало, которое действительно было бы началом, а не пустым, бледным повторением всего того, что я за полвека рассказал о себе в стихах — в балладе о Великом сибирском пути, на котором я родился, в поэме «Северное сияние» — о сиянии, озарявшем мои детские ночи, в стихах о доме Вальса, с чьей крыши я смотрел на город, в котором я рос и который сам рос на моих глазах.

Так не начать ли, действительно, с более подробного описания этого города, о котором написано столь много, а, в сущности, как мне кажется, столь мало? Кто только ни писал или ни упоминал о нем: и Достоевский, и Мен-

делеев, и Ленин, и академик Майский, и казахский писатель Сабит Муханов, и американец Кеннан, и англичанин полковник Уорд — в разное время и по разному поводу,— так не попытаться ли мне добавить ко всему этому то, что знаю?

«Омск — гл. гор. Акмолинской области, при впадении Оми в Иртыш; пристань; ж. д.; местопребывание Степного ген.-губернатора; 60 т. ж.; 2 меч. 2 биб. 3 сред. уч. зав.; 18 низш., 8 кр. уч.; 237 т. бюдж; Зап.-Сибирский отдел Географ. общества; Омский у. 36.272 кв. в.; 120 т. ж. русские и киргизы-кочевники» — так сказано в энциклопедическом словаре Ф. Павленкова, 4-е, пересмотренное издание, СПб., 1910. Это очень хороший, для своего времени, словарь-справочник. Ф. Павленков, я знаю, умный, достойный всяческого уважения деятель своего времени, и я с почтением перечитываю эти строки... Омский уезд, жители русские и киргизы-кочевники. Да, конечно, я хорошо помню этих казахов, продававших кумыс на улицах и мясо на базарах, этих всадников в цветных малахаях на лисьем меху, этих наездниц на верблюдах — казашек в зеленых и фиолетовых бархатных шубах и в шапочках с перышками птиц. Но наряду с этими детьми природы я помню и торговавших на том же Казачьем базаре одетых в гоголевские свитки украинцев и кутающихся в сибирские тулупы рыжих немцев-колонистов. И помню разговоры о том, что масло лучше всего брать у латышей, а яйца у эстонцев. Эти воспоминания трудно согласуются с энциклопедическим словарем, утверждающим, что в эти годы вокруг Омска обитали только русские и казахи. Возможно, что на омских базарах торговали не только из Омского, но и из других уездов, но, во всяком случае, недалеких от города, потому что я знал: до немецких колоний за Иртышом рукой подать, туда летом горожане ходили чуть не пешком собирать землянику в березовых колках той лесостепи, которая обозначалась на старых картах как кочевья киргиз-кайсаков.

В начале двадцатого века с проведением железной дороги Зауралье быстро заполнялось переселенцами из Европейской России, с Украины, из западных районов, и вполне естественно, что Омск и его окрестности быстро меняли свой энциклопедический облик. И я с уверенностью могу сказать, что в том же 1910 году Омск представлял собой скопище людей не двух, но, по крайней

мере, двенадцати национальностей. Но, выписывая эту длинную и, по существу, совершенно правильную фразу, я все же не даю никакого представления о том, как выглядел въявь этот плоский, купающийся в соленой пыли гигантский пшеничный блин-город. Взять хотя бы тот же Никольский проспект, эту немощеную, глинисто-пыльную летом, весной и осенью — глубоко слякотную, а зимой — волнообразно-сугробную улицу между Казачьим садом и Казачьим кладбищем, ту самую улицу, на которой мы жили. В стихах «Дом Вальса» я поведал о вальсовских квартирантах: фрау Гофман с Датского телеграфа, ее нахлебниках телеграфистах — латыше Озолине и, кажется, литовце Никопензиусе, и о другом вальсовском квартиранте — шведе, либо норвежце — Пальберге, и о ближайших соседях Вальса — финском пасторе Гранэ и степном султане Султане Султанове, ездившем играть на ипподром, и о лавочнице Яминой, обитавшей рядом в доме отставного есаула Ерыгина. Но я не упомянул, что через дом от лавочки Яминой обитал в своем доме оптовый торговец сухими фруктами ташкентский татарин Гарифов, а напротив лавочки Яминой была велосипедная мастерская поляков Верниковских, соседствующая с домом поляков Капустинских, на задах у которых обитал с матерью своей и сестренкой Лизой умопомрачительный латышский мальчик Валдыш, который обогащал мой лексикон всяческими неологизмами живой разговорной русской речи.

— Заявляешь? — угрожающе спросил он однажды. И, сжав кулаки, голосом, задыхающимся от воображаемой ненависти, добавил: — Замри! Не возбуждай!

Это была приветственная формула так называемых парижан — хулиганья городских окраин. Валдыш произносил свои заклинания на чистейшем русско-«парижанском» языке безо всякого латышского акцента. Но, между прочим, его приятели-«парижане» из прикладбищенского трущобного квартала, называемого Копырино село, пели такую частушку:

Парижаны-ежики,
За голяшкой ножики.
Тыгарка-мотыгарка, Копырино село.
Не этой ли девчоночке жилося весело!

Припев «Тыгарка-мотыгарка», как я узнал позже, являлся не чем иным, как несколько исковерканным припе-

вом эстонской песенки, видать, уж и тогда бытовавшей за Уралом, только ли в городах, или уже и в деревнях — я не знаю. Знать — это уже дело фольклористов, изучающих факты взаимовлияния культур народов Российской империи. Я же вспоминаю это только в связи с вопросом о национальном составе обитателей Никольского проспекта, в начале которого стоял Казачий собор, где меня когда-то крестили под сенью знамени Ермака Тимофеевича, выкраденного впоследствии атаманом Анненковым. А напротив Казачьего собора стоял костел, из которого доносились латинские песнопения. Но помню я и голос экономки ксендза, певшей во флигеле за этим готическим храмом:

С тамтой строны Вислы
Компалася врона,
Пан поручник мысле —
Это его жена.

Как мне потом рассказывали знакомые поляки, это был старый краковяк, занесенный сюда, за Урал, еще ссыльными конфедератами в шестидесятых годах прошлого века.

Пане поручнику,
То не ваша жена,
То бедна пташина,
Называся врона!

Почти рядом с костелом стояла мечеть. И голос муэдзина с ее минарета перекликался порой с лютеранским дребезжащим колоколом кирхи за Омью, в крепости.

Вот сколько разнообразных мотивов и напевов лезло мне в уши в годы моего детства, наверное, для того, чтобы потом отозваться в моих будущих переводах с польского, с латышского, с литовского, с казахского, с татарского и еще бог знает с каких языков. Но все это я как следует ощутил только позже. А тогда, сколь ни величественно звучала «Аве Мария» под аккомпанемент легкомысленного краковяка экономки ксендза, сколь ни контрастно сочетались крики муэдзина с органной музыкой Баха из крепостной кирхи,— все это проходило мимо моих ушей. Тогда меня как-то мало интересовали и крепость с ее кирхой, кордегардией и уже не существующим Мертвым домом Федора Достоевского, и знамя Ермака в Казачьем соборе, и парадные фанфары и трубы перед генерал-губернатор-

ским дворцом в царские дни, когда степной генерал-губернатор и атаман казачьего войска, кажется, Шмидт, принимал баев и важных правителей киргиз-кайсацких орд. И совсем не интересовали тогда даже чучела степных птиц и лисиц, урманных медведей и балхашских тигров — джульбарсов в витринах музея Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества.

Меня интересовало совсем другое: техника! Причем техника в самом широком смысле этого слова — техника промышленная, строительная, какая только возможна, вернее, все, что касалось материальной культуры. То есть военные парады интересовали меня только с точки зрения устройства артиллерийских орудий местного артиллерийского дивизиона, наша соседка фрау Гофман была любопытна мне не сама по себе, а как особа, работающая на Датском телеграфе, чей кабель тянулся, как я слышал, на тысячи верст. Скандинав Пальберг занимал мое воображение главным образом как хозяин таинственного и блестящего «Дьябло и Пумп Сепаратора», созвучного с «авиатором», «радиатором», «карбюратором» и не столько с «императором», сколько с «мелиоратором». А мальчик Клиот, с которым я позже учился в гимназии, интересовал меня не как грек, а как обитатель очень необыкновенного куполообразного дома, построенного его отцом, коммерсантом. Соученик старшего моего брата, гимназист Россинский, был мне любопытен как однофамилец известного авиатора. Братья же Трувеллеры, жившие над Иртышом, в конце Перевозной улицы, интересовали меня даже не как носители звонкой фамилии, но только как владельцы парусной лодки или как друзья владельцев двухмачтового суденышка с выдвижным килем — яхты «Хмара». Но расскажу позже об этих братьях на Иртыше.

Да и сам Иртыш, куда меня на пятом году моей жизни швырнул, уча плавать, молодой доктор Альберт Вальдес, жених Мани Вальс, дочери нашего квартирохозяина Вальса,— этот Иртыш привлекал меня не столько как место для купания, собирания камней или ловли рыбы, сколько как приют кораблей. Великанши-баржи, когда их извлекали на берег для ремонта, казались мне Ноевыми ковчегами с библейских иллюстраций Доре. А с каким восхищением смотрел я с железного моста на пароходную пристань в устье Оми, на стоящие у дебаркадеров белые, пахнущие чистым паром пароходы «Европа», «Азия»,

«Витязь», «Баян», «Михаил Плотников», «Феликитата Корнилова», «Андрей Первозванный» и, наконец, «Товарпар», носивший на кожухах колес это эффектное, уже вполне в духе двадцатого века телеграфное сокращенье названия товарищества пароходства и торговли. Это были двухпалубные пассажирские суда, но часто с иртышских верховий с озера Нор-Зайсан и чуть ли не с границы Китая приходили и однопалубные, мелкосидящие товаро-пассажирские пароходы. И наоборот, с низовьев Оби, чуть ли не с Карского моря, изредка поднимались до Омска черные, высоконосые, с мачтами, приспособленными для ношения парусов, служебные и купеческие кораблики, названий которых я не помню. И если прибавить ко всему этому еще и осенние плоты с арбузами изпод Семипалатинска, то все это вместе взятое и явилось тем, что в словаре Павленкова было охарактеризовано одним скупым словом: пристань.

Что же касается другого энциклопедического сокращения: ж. д.— скажу лишь одно: Омский железнодорожный узел был знаком мне как пять пальцев. Я провел первые годы жизни в служебном вагоне отца и знал каждую водокачку между Челябинском, Омском и Каинском. И позже. когда отец перестал разъезжать по линии и осел в городе как техник-строитель, я часто бывал с отцом то на вокзале, то в паровозном депо, то за рекою в Куломзино, где возвышался элеватор, казавшийся мне похожим на какой-то сверхгигантский средневековый замок. Помню громадные паровые мельницы. Помню и далеко уходящий в ковыльную солено-озерную степь треугольник запасных путей за поворотным кругом, помню тупик, где я любил лазать на паровозы. Лазать на паровозы было любимейшим развлечением моего детства. Я любил сопровождать отца, идущего по своим строительно-техническим делам в товарные пакгаузы, через которые проходило все, в конце концов попадающее в городские магазины. Любил встречать поезда, особенно товарные. Ведь все, что появлялось в городе, прибывало по железной дороге — и сельскохозяйственные машины, и автомобили, и локомобили. Даже аэроплан летчика Васильева, взлетавшего, кажется, в 1912 году с ипподрома, прибыл на железнодорожной платформе. Как же мне было не любить железной дороги, на которой я вырос, этой железной дороги, возглавляемой красноколесными металлоголосыми локомотивами. Я очень

увлекался ими, я рисовал их, играл в них, я даже сооружал зимой их подобия из снега. И отец, лелея мечту, что я стану уж не техником, как он, а инженером путей сообщения, купил мне однажды прекрасный разборный атлас локомотива «компаунд». И я сказал отцу, что, может быть, и стану инженером, если не стану морским капитаном.

Но судьба решила по-иному. И эта судьба подстерегала меня не где-нибудь, а на гардеробе в Сашиной комнате — у дяди Саши, о котором я расскажу ниже.

На гардеробе в проходной комнате между столовой и передней лежали у нас навалом газеты, журналы и приложения к ним. Сваливались они туда потому, что не умещались на книжных полках в довольно тесной нашей квартире. Я при помощи лесенки лет, пожалуй, с пяти начал лазать на этот гардероб, будто на паровоз, чтобы рыться в журналах. Сначала меня интересовали только картинки, опять-таки техника: машины, аэропланы, автомобили, дирижабли, дредноуты, железнодорожные катастрофы... Мне трудно припомнить, как от разглядывания картинок я перешел к попытке читать тексты и познавать имена, которыми те или иные сочинения были подписаны. Это был очень сложный процесс. Не помню такого времени, чтоб я не знал грамоты, вероятно, я научился читать лет с четырех, но это вовсе не значит, что в семь-восемь лет понимал смысл всего читаемого. Но кое-что я все же уяснил, что, кроме меня, на свете есть еще один Леонид, Леонид Андреев, написавший рассказ о семи повешенных, которые, как мне объясняла бабушка Бадя, были революционерами, вроде тех экспроприаторов, что хотели ограбить Омское областное казначейство в 1905 году, когда я родился. И так помаленьку, заглядывая в те или иные журналы или книги, разрозненные сочинения тех или иных писателей, я получал представление о том, что, кроме окружавшего меня мира реальности, существует еще малоизвестный мне мир книг и еще не знакомых переживаний. И вышло так, что с вершины гардероба мне открылись горизонты более широкие, чем даже с крыш нового двухэтажного дома Вальса. То есть я понял, что в городе, кроме всяческих магазинов, где продаются велосипеды, пишущие машинки, сепараторы, глобусы, одежда, обувь, меха, есть еще и книжные магазины: старый — Александрова и новый — Марковитиной, и, кроме того,

в подвале Торгового корпуса, напротив городского театра, есть книжный склад Вахрушева и на базарах книжные лавочки и развалы букинистов. И шляться по всем этим местам я начал, пожалуй, лет с девяти.

Я искал и находил многое. К чести своей должен сказать, что, отдав неизбежную дань сыщикам, как великим, вроде Шерлока Холмса, так и пятикопеечным, вроде Ната Пинкертона, Ника Картера и Пата Коннера, я недолго задержался на этом этапе. Я не ограничился детективами. У того же Копан Дойля мне даже больше Шерлока Холмса понравился романтический капитан «Полярной звезды» и исторические романы, а особенно приключения бригадира Жерара. А у Эдгара По — не «Золотой жук», но «Приключения Артура Гордона Пима», читавшего таинственные письмена островитян на роковом пути к Южному полюсу, откуда летели белые птицы, кричащие: «Текеле-ли, текеле-ли!» Осмелюсь предположить, что во всей этой исторической фантастике меня занимали инстинктивно предчувствуемые проблемы грядущего: у Эдгара По, скажем, догадка о вулканичности Антарктиды, а у Конан Дойля в рассказах о подвигах и приключениях бригадира Жерара комическое предызображение поклонника культа личности в лице Наполеона.

Нечего и говорить о том, что прежде чем я достиг десяти лет, я прочел все вышедшие к тому времени произведения Джека Лондона и Александра Грина. Кроме того, я познакомился с многими вещами Брюсова, Сологуба, но с прозаическими — с «Огненным Ангелом» и «Мелким бесом», а не со стихотворными. Потому что меня в те времена интересовало все, кроме поэзии.

Поэзия меня не трогала.

Классическая поэзия, трактующая о вещах и явлениях, не имевших никакого отношения к моему пыльно-снежному паровозно-пароходному зауральскому бытию, казалась мне прекрасно-далекой и величественно-скучной почти в такой же мере, как поэзия символистов. И, в частности, прав был учитель словесности Кубышка-Борисоглебский, констатировавший сразу же по поступлению моему в гимназию отсутствие у меня малейшего интереса и внимания к поэзии.

Меня даже не очаровал Игорь Северянин, которым увлекались старшеклассники, соученики моего старшего брата. Не привлекли ни Бурлюк, ни Кручепых. И как-то

мимо глаз и ушей проходили даже стихи Маяковского, о котором я все-таки должен был иметь представление. Но до времени все это не доходило до меня — и все тут.

Впрочем, теперь я догадываюсь, что заменяло мне в те дни книжную поэзию.

Это, всего вероятнее, были мои сны, не имевшие ничего общего ни с детским моим увлечением техникой, ни с книгами, к которым я приохотился — ни с Конан Дойлем, ни с Леонидом Андреевым, ни с Эдгаром По, ни с Валерием Брюсовым. Суть в том, что я начал летать во сне.

Началось это, пожалуй, с другого, навязчивого сна, мучившего меня с самого раннего детства и возвращавшегося до тех пор, пока мне не объяснили его возможного происхождения. Мне чуть не с младенчества снилось, что за окном в саду появляются загадочные для меня фигуры: летящие, вернее, висящие в воздухе с раскинутыми руками, и другие фигуры — крылатые, но коленопреклоненные. Бабушка помогла выяснить, в чем дело: когда мне было полгода или год, в саду был склад могильных памятников, это было неосознанное воспоминание о них, и когда все разъяснилось, этот сон перестал сниться. Но прежде чем он перестал сниться, я во сне сам улетел от коленопреклоненных, то есть надмогильных ангелов. Таким образом, я еще до разъяснения и прекращения тяжелого сна научился уже летать в сновидениях. Необъясненный сон время от времени продолжал сниться, но в других сновидениях я летал без связи с тем сном, летал самостоятельно, весело, вольно летал — и все. Иногда над городом, иногда в каких-то зданиях, убирая, например, паутину из углов под потолком, иногда залетал за вершины больших деревьев, уклоняясь от мальчишек, стрелявших в меня из рогаток. Иногда вместе с няней моей Дуней,— она в распахнутой лисьей шубке, а я в оленьей дохе, а впрочем, чего уж тут врать,— не в дохе, а в том-то и дело, что голышом,— летали над Северным полюсом, через полярное сияние, а иногда — через радугу над Загородной рощей. Постепенно мои полеты становились все дальше и замысловатей. Это были прекрасные сны. Правда, мне снится, что я летаю и до сих пор, но очень редко, конечно, а тогда такие сновидения бывали не реже, чем два раза в месяц. И теперь мне кажется, что эти сны мне заменяли до времени не только поэзию, но и музыку,—

так славно свистит и поет ветер, когда летишь, летишь безо всякого аэроплана, сам по себе...

Однако поэзия только делала вид, что может оставить меня к себе равнодушным. Она только и ждала, чтобы забрать меня в свои руки, к тому же вернуть с небес на землю. Это случилось, насколько я помню, на второй год германской войны, когда Омск стал еще шумней и многолюдней за счет беженцев из западного края, за счет госпиталей, один из которых и разместился в здании нашей гимназии, а мы перешли на вторую смену в здание женской гимназии. Словом, в те дни, когда военнопленные — немцы, австрийцы и турки — профилировали омские улицы, чтоб по ним, немощеным, легче было маршировать солдатам обучаемых в Омске запасных частей, в дни, когда город наполнился эхом войны,— тогда-то я и прочел стихи Маяковского «Я и Наполеон».

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?

Это было то, что мне нужно. Я думаю, не стоит тут объяснять, не стоит повторяться — я писал об этом не раз, описывал, что я испытал при чтении этих слов. В глубоком тылу, в Омске, я приобщился к мировым событиям. И стал искать Маяковского, искать по страницам журналов — тонких и толстых, новых и старых. И то, что я раньше пропускал мимо сознания, все это более и более захватывало меня.

Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор.
И с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.

Ведь этот собор в стихах Маяковского был и Казачьим собором, и Кафедральным собором напротив зданья судебных установлений и наискосок от Омского казначейства. Я понимал, что Маяковский писал не об этих соборах, но выходило, что он писал о них тоже. И мне стало ясно, что я с полным правом могу выкрикнуть то, что сказано дальше:

Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал,
в неба распухшего мякоть,—

потому что мякоть этого распухшего неба висит и над кирпичными брандмаузрами Омска, над глянцевой слизью улиц, где перекрестком распяты городовые. И разве не мог я при виде этих смутных улиц, этих домов со ржавыми водосточными трубами и шелудивыми, ветшающими вывесками сказать на том же основании, что и Маяковский:

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Семейные предания

Перечитывая начало этого повествования, я вижу все его несовершенство, хоть переписывай все заново, вставляй пропущенное. Как я мог, например, не рассказать о том, что прежде чем меня охватила страсть писать стихи, мной овладела детская страсть к рисованию, та страсть, которая и привела меня к острому конфликту с бабушкой Бадей.

Ведь бабушка Бадя открыла мне тайну сна, который мучил меня в самом раннем детстве, сна о крылатых и коленопреклоненных! Бабушка Бадя, когда я при ней рассказывал про этот сон, недоверчиво усмехнулась и сказала, что этого я не могу помнить потому, что наш домовладелец Вальс перестал отдавать сад в аренду хозяину склада могильных памятников, когда мне не исполнилось еще года. Мол, слишком я был еще мал, чтоб запомнить все эти металлические распятия и мраморных ангелов над надгробными плитами.

Бабушка недоверчиво слушала все, чтобы я ни сказал. Помню, она была готова со мной согласиться, что человек происходит не от обезьяны,— ей, бабушке, как и мне, были не по душе такого рода утверждения наших доморощенных дарвинистов,— но когда я, развивая эту

мысль, растолковал бабушке, что наша прачка Августа происходит от слона — у нее нос похож на хобот, а есть люди, которые происходят от собак и от верблюдов,— то бабушка очень рассердилась.

— В фантазерстве твоем,— призналась она однажды,— возможно, виновата я сама вместе с твоей матерью, потому что, когда тебе было два дня от роду, мы по ошибке дали тебе вместо полчайной ложки лекарства столовую ложку кагора, и у тебя поднялся такой жар, что думали — не выживешь, однако ты выжил, но стал лжив!

Но дело было, мне кажется, не в ложке кагора и не во лжи, а в том, что с самого раннего детства я вместо детских сказок, которые были не в ходу в нашем доме, наслушался множества странных и дивных историй, в том числе и от самой бабушки Бади.

Она была родом из Питера, из небогатой семьи Васильевых, кажется, из Гавани. Скорее всего, ее отец был мелким чиновником; во всяком случае, ее очень рано выдали замуж за молодого военного инженера Григория Збарского, из кантонистов, как будто солдатского сироту, воспитанного на казенный счет. Молодой инженер не сделал петербургской карьеры и сразу увез Бадю из Петербурга, получив назначение в очень дальние по тем временам края. До Москвы ехали по железной дороге, затем до Оренбурга на лошадях, а оттуда вроде как караваном, по рассказам бабушки, почему-то даже кое-где вброд по мелководным заливам Аральского моря, а оттуда уже на восток — в Семиречье.

Так — это я уж говорю от себя — бабушка моя попала из питерского мира бедных людей Достоевского через аральский мир шевченковского изгнания в салтыково-щедринский мир господ ташкентцев, обитавших в городе Верном, как тогда именовалась будущая Алма-Ата. Я упоминаю о господах ташкентцах, ибо они обитали и в Верном, и судьба молодого инженера по этой причине сложилась трагически. Дед мой строил военный госпиталь и, по словам бабушки, вел предварительные работы по постройке собора, как предполагалось — высочайшего в мире деревянного храма, здания, способного выдержать самые большие землетрясения. Кроме того, он замышлял орошение степей каналами. Но осуществить эти замыслы ему не удалось. Вступив при строительстве госпиталя в борьбу с лихоимцами интендантами, он не то был отравлен ка-

ким-то медленно действующим азиатским ядом, не то просто впал в тяжелое нервное расстройство. Перед смертью своей он бредил звоном колокольчика фельдъегерской тройки, которая несется с курьером, везущим из столицы правительственный указ разоблачить воров и лихоимцев. «Колокольчики! Это тройка! Вот она въезжает в город. Слышите: несется по улице. И провалилась! Провалилась!»

Так рассказывала бабушка. Так все это описано мною в «Рассказе о русском инженере». Когда-нибудь я, может быть, опишу подробнее, как некая алма-атинская исследовательница, литературовед Боровикова, написала целую диссертацию о том, что в основу моей поэмы я взял документальную, действительную историю инженера Зенкова, построившего верненский собор, мечтавшего о сооружении оросительных каналов и воевавшего с лихоимцами, но все это делавшего в первом десятилетии двадцатого века. Алма-атинская исследовательница сделала вывод, что я замечательно талантливо изобразил эту историю, только сместив ее на четверть века назад, что нисколько не нарушило художественной правды. Как видно, история иногда повторяется и не как фарс. Во всяком случае, мне кажется, что бабушка не могла выдумать, и в таких подробностях, историю гибели своего мужа. Или же она была величайшей фантазеркой, и я весь пошел в нее. Как бы то ни было, но я писал поэму по семейным преданиям и, согласно этим же семейным преданиям, веду дальнейший рассказ о том, как после смерти деда бабушка, сдав сына Володю учиться в Оренбургский кадетский корпус (Володя не стал офицером, а, окончив корпус, по слабости здоровья занялся садоводством), переехала с остальными детьми из знойного Верного в пыльный, холодный Омск, по другую сторону казахских степей. Почему в Омск? Не знаю, не догадался расспросить. Может быть, считалось, что жить на пенсию в Сибири дешевле. Может быть, там оказались знакомые, хотя бы тот же самый казначей Софийский, в чьем казначействе позднее дослужился до бухгалтера брат моей мамы дядя Саша.

Мать моя нередко рассказывала об этом путешествии из Верного в Омск на лошадях через нынешний Казахстан: как исчезли, скрылись за горбом земли снежные вершины Алатау, потянулись степи, подул навстречу сибирский северный ветер, объясняя своей увеличивающейся

прохладой, почему казахи и летом не расстаются с овчинной шубой и лисьим своим малахаем... В Омске бабушка определила маму учиться в прогимназию, окончив которую мама поехала учительствовать в одну из казачьих станиц Кокчетавского округа. Жить там ей было жутковато. Пугали, как вспоминала мама, не столько казаки рассказами о степных барантачах, сколько казачки россказнями о всякой банной нечисти, шишигах и кикиморах. И мама была очень довольна, когда явился в станицу ее омский поклонник, мой отец, окончивший техническое училище, и увез ее в Омск.

Из станицы мама вывезла прекрасные казачьи песни. Вот одна из них:

«Ты скажи-ка мне, сестра,
Чей-то голос у тебя,
Чей-то голос ночью раздавался?»
«Ты послушай, родной брат,
Это струны на разлад —
На гитаре я вечор играла...»
«Ты послушай-ка, сестра,
Чьяй-то сабля у тебя,
Чьяй-то сабля на стене сверкала?»
«Ты послушай, родной брат,
Это месяц на закат,
Закатался месяц серебристый!»
«Ты послушай-ка, сестра,
Не пришла ли пора,
Не пора ли замуж собираться?»
«Ты послушай, родной брат,
Дай пожить мне, поиграть,
Дай пожить мне, дай покрасоваться!»

Эту великолепную песню пели моей маме казачки в конце прошлого века, когда отец в новенькой форме техника путей сообщения явился в станицу, чтобы увезти маму венчаться в Омск.

Отец мой, родом из Семипалатинска, бежал оттуда, из отцовского дома, вернее, из громадного семейства тамошних мещан Мартыновых, ведущих начало от деда своего офени, владимирского коробейника-книгоноши Мартына Лощилина, осевшего в Семипалатинске, расплодив там целую кучу внуков. Эти Мартыновы — внуки Андрей, Иван и Дмитрий — не пошли по стопам своего полулегендарного деда-офени. Его наследие — потрепанный том Мильтона «Потерянный Рай» и другие книжки — заинтересовали только моего отца, один он проявил тягу к просвещению

и поэтому уехал учиться в Омск, казавшийся тогда тихим семипалатинцам чуть ли не Вавилоном. Там-то он и познакомился с моей матерью. Женившись, отец пошел на военную службу. Именно пошел. Формально он пошел пешком, хотя фактически все же и поехал. Дело в том, что, будучи призван, он, согласно порядкам того времени, получил документ, предусматривающий время явки, потребное для прохождения пешком с места призыва до места назначения на службу, а место назначения было далекое — Владивосток, и срок достижения этого места пешим ходом равнялся чуть ли не двум годам. Это обстоятельство — блестящая помесь патриархальности с бюрократизмом — позволило отцу, который, конечно, не пошел пешком, а поехал по линии строящейся и намечавшейся к строительству железной дороги, останавливаться на временную работу в разных инженерных дистанциях. Так, достигнув Владивостока и отслужив в нем каким-то техником-чертежником военную службу, отец остался там работать и выписал маму с бабушкой. Но тихоокеанские туманы пошли не на пользу матери, и было решено вернуться обратно в Омск, тем более что вопрос о жилье в Омске был блестяще разрешен еще во Владивостоке: сослуживец отца Самуил Вальс списался со своим отцом, Андресом Петерсом Вальсом, насчет квартиры для нашей семьи. Так мои родители и отправились обратно, чтобы потом рассказать мне о плавании вверх по Амуру, и о том, как переправлялись через Байкал на пароме-ферриботе и закончили свое путешествие на Никольском проспекте в Омске.

Однако молодоженам предстоял еще один довольно-таки дальний вояж. Оставив бабушку хозяйничать в Омске, отец с матерью отправились в Семипалатинск с визитом к родителям отца.

Это было за несколько лет до моего рождения. Но мне всегда казалось, что я был участником этой поездки. То ли потому, что о ней не однажды скупо, но выразительно рассказывала моя мать, может быть, даже и не мне, а при мне, совсем не думая, что я слушаю и понимаю. А со временем я стал представлять себе — все яснее и яснее, со всяческими явно усвоенными позже подробностями — этот их путь вдоль снежного Иртыша по унылым казачьим станицам — Черлак, Урлютюп, Лебяжье, через город Павлодар, где тогда, в годы их путешествия, обитал черномa-

зый мальчишка, озорной сынок впадающего в толстовство, кающегося в грехах предков купца Семена Сорокина, будущий «король писателей» Антон Сорокин. Дальше они ехали мимо Коряковских солеварен, через станицу Лебяжью, где у тамошнего учителя Вячеслава Иванова рос чубастый сын Всеволод, будущий писатель Всеволод Иванов. Все это я узнал, конечно, позднее, но повторяю — и маленьким ребенком я достаточно ясно представлял себе этот зимний санный путь по казачьим станицам и киргизским зимовкам от Омска до Семипалатинска. И представлял себе ясно, как мать пряталась от снега, который сечет лицо, под щекочуще-колющуюся толщу тулупа, и как наконец они въехали в Семипалатинск на мартыновский двор, и как их встречала вся родня во главе со стариком, а главное, со старухой, бабкой моей по отцу.

Семипалатинская бабушка встретила мою мать плохо. По-видимому, мать отца — женщина властная и своенравная, мечтала об иной, ею самой избранной жене для своего сына. И сразу же выявила свое неблаговоление чужой, иногородней, омской невестке-учительше. Потребовала к себе особенных знаков почтения, то ли пасть в ноги, то ли что-то еще, чего моя мама не сделала. Тогда старуха рассказала что-то о том, как добрые мужья должны учить строптивых жен плетью. Словом, повела себя так, что мама потребовала от отца завтра же ехать обратно. И отец, сам порядочно поотвыкнув от семипалатинского житья, не стал медлить. И они ринулись в обратный путь в Омск, где несколькими годами позже под гром первой русской революции 1905 года и родился я — на рубеже двух миров — старого и нового, каждый из которых предъявлял на меня свои права.

Рубеж двух миров! Как ни тривиально звучит это выражение, но оно точнее всего определяет положение вещей. Я рос на бревенчато-кирпичной границе старого церковно-банного, кошмяно-юртового, пыльного, ковыльного старого мира и — железнодорожного, пароходного, пакгаузно-элеваторного, велосипедно-аэропланного и телефонно-пишущемашинного нового мира, отдавая решительное предпочтение последнему.

Ведь и на наш книжный гардероб я забирался поначалу главным образом в поисках журнальных иллюстраций, изображающих полеты моноплана Блерио и биплана Фармана, автомобильные гонки, железнодорожные ката-

строфы, подводные лодки и сверхдредноуты. Но рядом с гардеробом висел отцовский тулуп, в который когда-то куталась мама во время бегства из Семипалатинска. И стоило мне снизойти с книжных вершин гардероба, выйти за дверь, во двор, как я оказывался перед старой, оставшейся Вальсу еще от прежних хозяев участка банькой, в которой, по словам моей няни Дуни, водилась нечисть, видимо, вроде той кокчетавской, которой пугали казачки маму. Эта нечисть существовала, несмотря на хитроумные вальсовские насосы, которыми он украсил колодец для водоснабжения своего фруктового сада. Конечно, меня больше привлекали насосы, чем нечисть, и вообще всякие машины, будь то сельскохозяйственные орудия за железной оградой бетонного склада Эльворти или какие-нибудь карандашечинилки в магазине «Любая вещь».

Так, приверженный ко всему новому и, по семейным преданиям, критически и очень неодобрительно настроенный ко всему старому, помня о печальной участи верненского своего деда и о семипалатинских обидах матери, подрастал я, читая что попало, но предпочитая поэзии прозу до тех пор, пока в начале германской войны не был наконец покорен и взволнован стихами Маяковского.

О, конечно же, мне страшно захотелось и самому сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб, там, «где перекрестком распяты городовые». Мне захотелось написать что-то похожее, но только о себе, о том, как вечером, накануне дня объявления войны, мы ездили — отец на своем солидном велосипеде «Арроу», а я сзади, на своем недомерке — в Загородную рощу, и как навстречу нам летели какие-то черные жуки, а следующий день был так печален... Захотелось мне написать что-то и о том, как встречали мы, ребята, первые эшелоны военнопленных — венгров, австрийцев, немцев, турок, как выменивали у них их никелевые монетки на русские медь и серебро. Много чего захотелось мне написать. Но что же получилось? Получилась довольно странная вещь. Видимо, сыграла свою роль инерция. Видимо, сыщики из приключенческих романов, прочитанных мною, еще так прочно сидели в моей голове, что не хотели уступить место поэзии Маяковского, и получилось у меня почему-то вот что:

Пахучих прерий сон
Огромевает выстрел,

О, брат мой «смит-вессон»,
Летучишь смерть ты быстро.

Написав этот стих, я пошел показать его брату. Мне его мнение тем более было ценно, что брат в начале войны ездил на каникулы в Москву, наблюдал немецкий погром и, вернувшись, написал и напечатал в гимназическом журнале «Струны» хорошее стихотворение. И вот чтоб похвастаться, что и я написал стихи, я прочел их брату, и он пришел в ярость и крикнул:

— Вычеркни «брат мой «смит-вессон». Глупость!

— Не вычеркну,— ответил я.

Мне было десять, ему шестнадцать. Он погнался за мной, чтоб выхватить стихи. Но не догнал.

И помню, разорвав эти свои первые стихи, я стал сочинять дальше. Но убедился, что все-таки выходит что-то не то. И вот тогда я задумался: как мне быть? Как выразить свои чувства не стихами, которые у меня не выходили,— не сделать ли рисунок?

Я рисовал, конечно, и раньше, и довольно много. Рисовал, надо сказать, сначала в уме. То есть я помню, как еще совсем маленьким, утрами наблюдая клубление пылинок в солнечном луче, просачивающемся через закрытый ставень окна, я видел превращение этих пылинок в шарики, в пирамидки, в колпачки и вроде даже в отрезки не то бревнышка, не то свечи. Трудно объяснить происхождение этих трансформаций пылинок, клубящихся в солнечном луче. Потом я часто думал об этом. Я узнал, например, что Сезанн писал Бернару в 1904 году о том, что изображать натуру надо посредством цилиндра, конуса, шара. Мои же видения относятся так приблизительно к году девятьсот седьмому— девятому. Едва ли я тогда мог от кого-нибудь слышать о письме Сезанна к Бернару. Может быть, мои кувыркающиеся пирамидки, цилиндры и шарики были взяты из какого-нибудь учебника геометрии, принадлежавшего отцу или брату. А может быть, это просто носилось в воздухе — такое восприятие мира, природы, и я, как дитя двадцатого века, приобщался к этому мировосприятию интуитивно — в мире железнодорожных колес, буферов и цилиндров. Но, как бы то ни было, эта геометрия не только грезилась мне, но и находила себе воплощение в детских моих рисунках. Я рисовал и паровозы, и этажерки бипланов. Однако тогда, когда

я потерпел крах со стихами, я задумал уже совсем не такие, а более конкретные рисунки, и старательно начал марать бумагу, создавая какофонию красок, которая должна была, по моему мнению, выразить все обуревающие меня чувства.

И это не ускользнуло от взора отца. Отец, надо сказать, тщательно следил за моим духовным ростом. Он не только находил время, чтобы сходить в библиотеку и принести в числе прочего и «Маяк», и «Светлячок», и «Природу и люди», не только, увидя мою тягу к технике, дарил разнообразные модели локомотива «компаунд», не только давал мне уроки бокса, чтоб я дрался с мальчишками по правилам, но он сразу заметил мое новое увлечение рисованием. И, не теряя времени, нашел мне учительницу. Это была поселившаяся неподалеку от нас польская беженка, приехавшая со своим мужем, кажется скрипачом, художница Елена Полатынская, которой отец и показал мои рисунки. Не знаю, просто ли хотела она получить заработок или действительно ей нравились мои опыты, но она охотно согласилась давать мне уроки, говоря, что моя манера ей нравится.

Однако мне ее манера, очень нежная и лирическая, пришлась как-то не по душе, впрочем, точно так же, как и манера нашего гимназического учителя рисования пейзажиста Куртукова. Я, поклонник Маяковского, читатель «Нового Сатирикона» с его угловатыми и резко гротескными отображениями бытия, быстро утомился акварельными упражнениями. Впрочем, от моих набросков пришла в ужас не пани Полатынская, а моя бабушка Бадя, застигнув меня с поличным. Именно она увидела первые мои робкие попытки изобразить внизголовых, распятых перекрестками городовых и мою няню Дуню, хватаемую лохматой, словно бы в вывернутом тулупе, банной нечистью, и меня самого в образе голого юноши в таитянском набедреннике и киргизском малахае, едущего на верблюде к Тополевому Мысу. То есть ничего, кроме гнусного безобразия, смутно известного ей под названием «футуризм» (бабушка была после меня самой внимательной читательницей газет, журналов и книг, появляющихся в нашем городе), она во всем этом не усмотрела.

— Что вы смотрите! Что вы за ним не смотрите? — закричала бабушка.— Он футурист!

Вторая любовь

Футуристом я сделался, но несколько позже, и это было единственной в моей жизни принадлежностью к «измам», направлениям, школам. «В школах,— как сказал я однажды, полвека спустя, какому-то газетному интервьюеру,— место школьникам». Принадлежностью к футуризму я и отдал дань школам, чтоб, пережив это, переболев этой детской болезнью, отказаться от принадлежности к каким бы то ни было школам раз и навсегда.

И Маяковский привлекал меня вовсе не как футурист, а просто как художник слова, живописец и график слова, волшебник слова. С помощью Маяковского я понял, что́ такое поэзия вообще. Так, например, он открыл мне глаза на Лермонтова. Тогда, в детстве, я не любил Лермонтова, может быть, просто даже из-за скверных картинок, которыми были иллюстрированы его произведения. Иллюстраций Врубеля я еще не знал, хотя Врубель и был моим земляком, родившись в Омске на Тарской улице. Итак, я не интересовался Лермонтовым. Но когда я прочел у Маяковского о том, что «причесываться на время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно», я оценил эту пародийную фразу, вспомнив лермонтовское «Любить? Но кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно»,— и Лермонтов ожил, перестав быть для меня только обязательным гимназическим уроком словесности.

Я сказал уже, что Маяковский вообще пробудил у меня интерес к поэзии, то есть, отыскивая его стихи, я стал внимательнее рыться в журналах и сборниках. И вот однажды темным и слякотным вечером, ища Маяковского там, где его и не было, я наткнулся на шершавую квадратную книгу, в которой прочел эти написанные без знаков препинания строки:

Много погибло прекрасных грез
Это над ними плачут ивы
Сладкий Пан Любовь и Христос
Умерли Кошки мяучат тоскливо
Я не в силах скрыть своих слез...

Дальше говорилось о том, что тоскующий автор утешился, созерцая, как запорожцы пишут ядовитое посла-

ние турецкому султану, то есть, утешился, глядя на известную и мне картину Репина. Это был перевод неведомого еще мне тогда Ильи Эренбурга из неведомого мне Аполлинера. Эти строки, прочтенные темным слякотным вечером в годы германской войны, когда старшие толковали о смертях, поражениях и изменах, как-то меня утешили, пришлись мне по вкусу и в то же время напомнили мне чем-то Маяковского: «Много погибло прекрасных грез... сладкий Пан Любовь и Христос...», «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека...». И мне кажется, что это детское впечатление, детское восприятие было точным: Аполлинер и Маяковский тех времен были уже не так далеки друг от друга.

Через Маяковского я сумел понять и Артюра Рембо. Может быть, просто одновременно? Возможно. Но возможно и другое. И даже не только возможно, но и весьма вероятно, что Давид Бурлюк, знаток и любитель французской поэзии, читал Маяковскому Рембо, и интонации Рембо присутствовали в ранних стихах Маяковского. Это очень сложный вопрос, не разработанный в нашем литературоведении. Во всяком случае, так называемый перевод из Рембо Давида Бурлюка: «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод... будем кушать камни, травы, сладость, горечь и отравы» — я узнал позже. Но, вообще-то говоря, Рембо и Маяковский похожи, так же, как похожи во многом Маяковский и Петефи, Маяковский и Вийон,— все великие поэты похожи друг на друга своей неповторимостью, своими неповторимо трагическими судьбами, своей непохожестью на кого бы то ни было.

За Рембо последовали, конечно, и Верлен, и Бодлер, и Малларме, и Поль Фор, и Тристан Корбьер — все, что полагается. Это уж не имело отношения к Маяковскому, но показанная им дорога в поэзию вела меня все дальше и дальше. Причем это уже не было результатом каких-то особенно сложных поисков — тут играла роль главным образом одна книжка: «Чтец-декламатор» том IV, «Антология современной поэзии», издание 2-е, типография акционерного общества «Петр Барский», в Киеве, 1912 год. В отличие от других довольно пошлых «Чтецов-декламаторов» того времени это была хорошая книга, во всяком случае, издание второе, которое, как в нем указано, переработал и дополнил некий О. С. Самоненко. Я купил эту книгу прямо с земли у старика букиниста на центральном

базаре, она была в пыли и чуть ли не в пене с верблюжьих морд. В этом томике я нашел очень хорошие переводы и со вкусом подобранный отдел русской поэзии, начинающийся Тютчевым, Фетом, Владимиром Соловьевым и кончающийся первыми стихами Марины Цветаевой. Так через эту книжку — и другие, за Верленом последовал Сологуб, за Сологубом — Кузьмин и так далее и так далее.

Вот чем была набита моя одиннадцатилетняя голова, отвергавшая в те годы — в 1915-м и 1916-м — классическую поэзию, которую преподавал нам учитель словесности добродушный Кубышка-Борисоглебский. Меня мало интересовало, как чуден Днепр при тихой погоде или как тиха украинская ночь, но зато весьма занимала «киевская» антология. Кстати, я думаю, что именно эту антологию, начинавшуюся Тютчевым и Фетом, имел в виду Маяковский, восклицая:

Надоело!
Не высидел дома:
Анненский, Тютчев, Фет.

Едва ли он мог не читать этого томика. По времени сходится. Я принял эти стихи с восторгом. И может быть, именно из всех этих поэтов великолепный Тютчев оставался вне поля моего зрения чуть ли ни четверть века, а Фета, каюсь, не оценил и посейчас (хотя нынче, как известно, он в большой у нас моде).

Оглядываясь на прошлое, думаю — не слишком ли умным и осведомленным я изображаю себя одиннадцатилетнего? Нет сомнения — я был начитанным мальчиком. Но не преувеличиваю ли я свою просвещенность? Думаю, что нет. Ведь мог же Джон Стюарт Милль к десяти годам изучить и латынь, и греческий, и, кажется даже, древнееврейский и помогать своему отцу в переводе классиков. Я не блистал такими способностями, но, кажется, и не был тупицей, как, например, мой соученик Перескоков, не читавший даже учебников и наивно хваставшийся, что за это отец его порет ремнем. Я не был первым учеником, как Джантасов, сын толмача областного управления, очень усердный мальчик, который однажды чуть не упал в обморок, составив неудачный пример на подлежащее и сказуемое: «Лягушка — насекомое». Но уж он-то прекрасно знал, где какие ставятся знаки препинания, а я до сих пор пишу без оных, расставляя их уже напоследок. В общем,

усердно читая книги, в гимназии я был вроде как бы обыкновенным средним учеником, разве что только слишком толстым. Эта моя толщина была предметом насмешек товарищей, и я даже ходил по этому поводу к доктору Скальскому. Он, помню, сказал, что это гормональное и скоро пройдет, посоветовал мариенбадские пилюли и заниматься эсперанто, ибо сам был эсперантистом. Я не стал учить эсперанто, но налег на французский, дабы перевести Рембо, хотя из этого ничего не вышло. С толщиной же своей стал бороться купаньем в Иртыше до заморозков, усиленным, до седьмого пота, катаньем на велосипеде и другими физическими упражнениями. От толщины ли, или от каких-то особенностей вестибулярного аппарата, но только не мог я научиться — и тогда и в дальнейшем — вертеться на турнике, кататься на коньках и на лыжах, так же как и танцевать. Но зато преуспевал в гребле, в лазании по канату и сделал даже одно важное спортивное открытие: я использовал покрышку от велосипедной шины для верчения ее сперва вокруг шеи, а затем вокруг пояса. И когда через полстолетия эта штука — хула-хуп — получила, вовсе не через меня, широкое распространение на всем земном шаре, я вспомнил, что выдумал такое еще во дни первой мировой войны.

Словом, в детстве я был не только мечтателем, но и усердным читателем. Я становился все более и более постоянным посетителем книжных лавочек, магазинов и библиотек, не только центральной городской библиотеки, но и библиотеки коммерческого клуба, в котором Бальмонт в 1911 году проездом читал лекцию «Поэзия, как волшебство», и еще одной, так называемой Казачьей библиотеки.

В этой-то Казачьей библиотеке, в ее маленьком домике, который стоял как маленький кубик напротив казарм артиллерийского дивизиона, я и открыл для себя Александра Блока.

Сибирское казачество, как это я уже упоминал, пело славные песни. Омское казачье офицерство — недаром из него вышли такие незаурядные люди, как Григорий Потанин, Путинцев, Певцов, имело кое-какие традиции. И свидетельством этому, конечно, была и Казачья библиотека. Само собой там были книги военного, патриотического и исторического содержания. Кроме того, она была богата Понсон дю Террайлем, то есть Рокамболем, Поль де Коком, капитаном Мариэттом, Дюма, а также книгами по

спиритизму, йогизму, оккультизму. Но наряду с этим, а может быть, и в связи с тем, там был недурный подбор декадентов и символистов. Там, например, я впервые натткнулся на «Огненного Ангела» Валерия Брюсова и на «Навьи чары» Федора Сологуба. С полок этой библиотеки и взглянул на меня туманными своими глазами Александр Блок.

Блока я называю своей второй, после Маяковского, любовью.

Казачья библиотекарша углубилась в тот час в журнал «Ребус», и ее меньше всего интересовал я, знакомый, примелькавшийся толстый мальчик, роющийся в книгах. А я уже не помню, за что ухватился сначала — то ли за «Балаганчик», за пьесы, то ли за «Стихи о Прекрасной Даме». Меловая «скорпионовская» бумага этого томика сверкала яснее снега за окнами мрачноватой Казачьей библиотеки. А дальше все пошло своим чередом — я почитал и попросил записать за мною эти книги. «Смотри, только не запачкай. Когда понесешь домой, перетяни ремешком покрепче,— сказала библиотекарша. Она думала, что я беру для сестры, которой у меня и не было. Правда, у меня был старший брат, но он брал книги, какие ему надо и где ему надо, сам по себе, а я сам по себе.

Итак, вскоре я знал о Блоке все, что мог узнать, прочел не только «Стихи о Прекрасной Даме», но — в «Журнале для всех» — и стихи его «Петроградское небо сочилось дождем» — о проводах солдат на войну, и еще многие другие стихи его, ранние и позднейшие. Но, главное, я узнал о том, что «Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Наивно, но я это отнес к самому себе. Блок как бы приобщал меня к ощущению России, многое прибавив к моему представлению о ней, которую, в сущности, я так мало знал из своего зауральского далека. Блок дал мне ощущение Куликова поля, ощущение Руси. Он одарил меня, пожалуй, не меньше, чем Маяковский, и предчувствием надвигающихся событий, и — я не преувеличу, сказав,— предощущением близкой революции. Впрочем, это предощущение было в те дни у многих — и у больших и у малых. Наиболее просто и, я бы сказал, вульгарно это выражалось в толках о близости царицы с Распутиным и в разговорах о том, что Николашку скоро спибут. Надо полагать, что в той или иной форме то же самое ощущал и Александр Блок, одаривший меня, маль-

чика, поэтическим предощущением грядущего переворота. Этим и объясняются возникшие контакты.

Но также почти одновременно с этим между тридцатилетним Александром Блоком и мною, одиннадцатилетним мальчишкой, возникла и неожиданная преграда. И этой преградой было не что иное, как церковь. Как это ни странно звучит, а случилось именно так. Потому что чем дальше, тем больше меня, живущего, так сказать, двойной жизнью, жизнью первоклассника-гимназиста и жизнью читателя взрослых книг, тяготила необходимость посещать церковь, ходить на молитву, на вечерни и обедни. И чем больше я узнавал Блока, тем неприемлемее становились для меня эти мотивы его творчества — и девушки, поющие в церковном хоре, и вербочки, и свечечки,— все это, даже и не связанное с казенной церковностью, с гимназическим официальным богослужением под надзором классного надзирателя Терехи, нет, не только это, а сама по себе церковность как таковая, блеск риз, запах свечей, ладана, запах духов и мехов прихожанок, ни в одной из которых — ни в Кафедральном соборе, ни в Казачьем соборе, ни около костела, ни около кирхи — я не мог отыскать и намека на Прекрасную Даму.

Из того, что я только что написал, выясняется, кстати, что я просто не понимал как следует Блока. Естественно, я не читал тогда ни творений Владимира Соловьева, ни творений гностиков, мудрых святых мужей африканских, повествовавших о том, как София, Премудрость божья, сошла на грешную землю. Разумеется, все это было вне понимания предреволюционного младшеклассника-гимназиста, отвергающего церковность,— и все тут! Откуда все это взялось, чем было вызвано — не знаю. Может быть, это было связано с какими-то младенческими еще ощущениями, ассоциациями или тем навязчивым сном о висящих в воздухе с раскинутыми руками и крылатых коленопреклоненных. Или просто это было вызвано и немо поощрено некоторым вольнодумством отца. Но, во всяком случае, у меня не было никакого желания «входить в темные храмы, совершая бедный обряд». Наоборот, как бы под влиянием стихов Блока у меня лишь укрепился контакт с Маяковским, то есть мне хотелось не входить в храмы, а выбегать из них вместе с тем неназванным, который

из иконы бежал,

когда

хитона обветренный край
целовала, плача, слякоть.

Так перед революцией, через вторую любовь, к Блоку, я вернулся к своей первой любви — к Маяковскому.

Детский сад

Говоря о пробуждении творческих начал, нельзя не вспомнить: когда до приготовительного класса было мне еще далеко, отец с матерью стали задумываться над тем, что мне надо познакомиться и с иностранными языками. В этом вопросе мои родители, безусловно, были на уровне даже более чем современном. Еще и поныне многие сердобольные мамы и папы полагают, что нечего усложнять счастливое детство, учить до школы тому, чему научат и в школе. Но у нас в доме смотрели на это иначе. Отец мой с тоской поглядывал на приобретенный им немецко-русский словарь. «Немецкий язык,— говорил он,— прямо-таки необходим для усвоения новой технической литературы, но, увы, вовремя, с детства, не пришлось за него взяться, а теперь, хоть и приобретены и словарь и самоучитель, свободное от службы время уходит на сверхурочные работы, на составление смет и проектов. Нет, если можно, так надо учиться с детства!»

И так как я учился только эстонским проклятьям от нашего нервного домохозяина Вальса да латышским, татарским и польским словечкам от соседских мальчишек и киргизским ругательствам на Казачьем базаре, то было задумано определить меня в самый лучший в городе детский сад фрау Бракш, где детям сообщались элементарные навыки разговорной немецкой речи.

И мы с отцом однажды отправились к фрау Бракш на Атаманскую улицу. Это была, кажется, даже и тогда мощенная булыжником, людная улица, соединяющая центр города с вокзальчиком городской ветки. На Атаманской были кое-какие магазинчики, а главное, фруктовые подвальчики, где продавался кишмиш, чернослив, рожки

и громоздились ароматные пирамиды крупных верненских яблок и продолговатой крымской кандили. Я любил эти татарские подвальчики, но на этот раз мы шли не туда, а в детский сад.

Этот сад оказался отнюдь не садом, но довольно мрачным домом, стоящим наискосок от самого настоящего, натурального, пыльно-зеленого Казачьего сада. Конечно, я был достаточно умен, чтобы понять, что детский сад — это не просто сад, а нечто иное, но все-таки я надеялся, что сад есть сад и, может быть, он находится если не в самом доме, то хотя бы на дворе. Но на дворе громоздилось обычное: каретник, сарай и еще что-то в этом роде, а детские голоса доносились явно из самого дома, в который мы и вошли, аккуратно вытерев ноги о коврик в передней.

Фрау Бракш — одни звали ее «фрау», другие — «мадам», третьи — просто «госпожа Бракш»,— кто она была и откуда, я так и не знаю, помню только, что эта полпая и важная дама встретила нас благосклонно.

— Да, да, конечно, мы даем детям первоначальный элемент немецкой разговорной речи, господин техник! — сказала она моему отцу и, видимо, чтоб наедине договориться с ним об условиях, легонько шлепнула меня ладошкой ниже спины.— Дитя, иди поиграй с другими!

И я прошел в зальце, где довольно меланхолический хоровод мальчишек и девчонок чинно кружился вокруг бледной, худенькой фрейлен, помощницы фрау.

— Танцен зи киндер, танцен! — приговаривала наставница. И, увидев меня, вскричала: — Новый мальчик, хороший мальчик, локоны блонды, танцуй с нами тоже, чтоб стали румянцевей твои красные щетки!

И, смутившись, что неправильно сказала: «щетки» вместо «щечки», она показала тонким пальцем на свою бледную щеку, а я, кивнув в знак понимания, ввязался в хороводик. И тогда фрейлен пригласила нас петь, но никто не решался почему-то начать, и нечленораздельное посапывание и пыхтение длилось до тех пор, пока один мальчик, покрупнее других и облаченный в красный колпачок, не выкрикнул вдохновенно:

Жоржик Борман,
Нос оторван,
Вместо носа папироса!

— Фи, Карлуша, как нехорошо ты спел! — воскликнула наставница.— Пой другую песенку! Фи, ты будешь наказан!

Но Карлуша, вырвавшись из хоровода, убежал прочь.

Как я вскоре узнал, это был сынок самой фрау Бракш, и вышло так, что с ним я и сблизился, больше чем с кем-либо из остальных питомцев детского сада, которые, кстати сказать, были и младше нас. Во всяком случае, из всех детей вспоминается мне в лицо только он один, этот шаловливый Карлушка, вытворявший разные номера и то и дело стоявший за это в углу.

И однажды, когда Карлушка снова и снова был поставлен в угол, я испытал, чуть ли не впервые, то самое чувство, чувство стремления еще, может быть, не к творчеству, но все-таки то волнение, ожесточение, словом — те самые эмоции, которые в дальнейшем, когда я уже действительно взялся за кисть и перо, дали мне силу и возможность творить.

Разумеется, я далек от мысли, что нижеописанное явилось причиной того, что я стал поэтом. Это вздор. Но думаю, что случившееся было одним из тех компонентов, которые, как я понимаю, в той или иной мере способствовали моему творческому становлению.

Итак, Карлушка стоял в углу, носом к стенке. Это было во время завтрака, без которого он был оставлен. Церемония принятия пищи тем временем подошла к концу, и я, выскользнув из-за низенького столика, подошел к бедному Карлушке.

— На кухне остались пончики,— прошептал мне он.— Стащи пончик, я хочу его съесть!

И я выполнил его просьбу, легко одурачив рассеянную экономку.

— Зексно! — сказал Карлуша, выразив этим ходовым тогда жаргонным словечком свой восторг моей ловкостью. Вообще он говорил по-русски совершенно свободно и почти правильно.

— Тебе надоело в углу? — сочувственно спросил я.

— Да!

— А мне надоело во всем саду! — сказал я.— Давай убежим!

— А куда? — спросил он.— На Иртыш?

Иртыш желто струился поблизости, всего в двух квар-

талах от детского сада. Блеск реки был даже виден из углового окна.

— Можно и на Иртыш! — ответил я.— А лучше еще подальше!

И тут мне вдруг пришло в голову...

— Знаешь что? — сказал я.— Убежим на Карлушку!

— Как на Карлушку? — воскликнул он.— Карлушка — ведь это есть я!

— Ты Карлушка, ты Карлушка! — сам в восторге от своей затеи захохотал я.— Ты Карлушка, а ты ездил на вокзал на ветке?

— Я ездил, да!

— Так, значит, ты, Карлушка, ездил через Карлушку!

И я ему растолковал, что между городом и вокзалом поезд городской ветки приостанавливается на разъезде у переезда, и этот разъезд и есть Карлушка. Почему разъезд так называется, его именем, я Карлушке объяснить не смог, да и сам до сих пор не ведаю, но я ему повторил, что мы можем убежать, поехать или добежать пешком — это недалеко, меньше версты — до самой Карлушки.

И, кроме того, сказал я, мы можем, если хотим, поехать и дальше — вскочить у вокзала на площадку какого-нибудь товарного поезда и помчаться через железнодорожный мост на Куломзино или еще дальше, за горизонт, на станцию Любинскую, или Драгунскую, или, наоборот, в обратную сторону, то есть поехать на Московку, в Калачики и даже на Карачи или на Чертокулич. Я, выросший на железной дороге, прекрасно знал все эти станции и разъезды: Карачи, куда ездили на курорт купаться в соленом вонючем грязевом озере, кишевшем целебными букашками, которые, как мне казалось, и называются карачами; Чертокулич, названный так не потому, что черт печет там свои куличи, но потому, что инженеры-строители придумали разъезду такое название назло вредному подрядчику по фамилии Акулич, так что и получилось: Черт Акулич — Чертокулич. Об этом я слышал от отца. И теперь, насколько умел толково, разъяснял это и многое другое Карлушке.

— Убежим туда! — повторял я, опьяненный перспективой славно попутешествовать.

Но Карлушка, стоявший носом к стене, ответил рассудительно и печально:

— Нет, я не могу убежать! Я должен стоять. Я наказан. И если ты меня сманишь, ты тоже будешь наказан!

И это покорное: «Я наказан» и почти угрожающее: «Ты тоже будешь наказан» и отвратило меня не столько от Карлушки, сколько от всего этого детского сада, в котором то и дело звучали эти слова, эти понятия: «наказать», «накажу», «ты наказан», «ты будешь наказана!». Ведь это говорили даже и совсем маленьким девочкам! Словом, это покорное Карлушкино: «Я наказан, и ты будешь наказан» и пробудило во мне как бы дремавшее до сих пор чувство протеста. Желание не подчиниться, то чувство, которое позже заставляло меня вступать в спор и в единоборство с моими наставниками, пытавшимися ограничить меня в моих фантазиях и стремлениях, пытавшихся заставить меня ходить по ранжиру, в мундирчике, к обедне и к вечерне. О это чувство, которое заставляет своенравную и впечатлительную натуру вступать в борьбу сначала со всякими няньками и дядьками, а потом с учителями словесности, рисования и чистописания и со всяческими законоучителями! Это чувство, заставляющее думать и делать не по правилам, читать, что не велено, рисовать, как нравится, и стремиться к тому, что хочется! Разумеется, это был только эмбрион вышеописанного чувства, но тем не менее и тогда мир как бы потемнел вокруг меня от мрачной наполненности всем тем, что связано с этими сходными между собой понятиями: наказание, приказание, указание, указы, проказы, приказы, козни и казни. Конечно, дома никто меня не наказывал и не стращал наказаниями, но мне вспомнилось и как бы представилось наяву все, что я слышал или читал по этому поводу. Я как бы увидел не только Карлушку, стоящего в углу носом к стенке, но и какого-то другого мальчика, стоящего на коленях, и какого-то прекрасного юношу, лежащего привязанным к скамье для порки, и какого-то казака, может быть, из маминых рассказов о временах ее учительства в казачьей станице,— казака, наказывающего нагайкой свою жену-казачку или дочь. И какого-то известного, должно быть, по книгам узника, томящегося в цепях, которые тяжелее его самого. И даже кого-то вздернутого на дыбу.

И я как бы на собственной шкуре вдруг ощутил муки наказываемых и казнимых, может быть, и поделом, а может быть, и невинно или за какую-нибудь малость или

шалость. И во мне пробудилась не только жалость, но и упрямое чувство протеста, решимость не сдаваться, сладость не поддаваться никому на свете, радость делать по-своему, например, не играть в кубики на полу с сопливыми младенцами, а на поезде или пешком стремиться в неизведанные пространства навстречу опасностям и наслаждениям — словом, все то, что в какой-то мере свойственно каждому художнику, фантасту, творцу!

И, повторяю, это прекрасное ощущение возникло впервые именно в этом чинном, аккуратном детском саду фрау Бракш, которая мне лично ни разу ничем и не грозила и не обидела меня ни единым грубым словом. Но тем не менее я очень скоро покинул этот фребелевский Эдем, не захотев тихо плясать в хороводе малолеток, и, увы, из противоречия не усвоил даже элементарных начал немецкого языка, который бы мне, несомненно, пригодился, хотя бы для того, чтоб читать в подлиннике таких бунтарей духа, как, скажем, Шиллер и Гейне.

Ребяческие игры

Вспоминая о детстве, не слишком ли большим умником изображаю я себя?

Я ничуть не становлюсь в позу самолюбованья каким-то своим необычайным развитием и т. п. Скорее наоборот: и мое развитие тоже все-таки было не на высоте; для истинно гармонического развития мне не хватало многого, например, изучения сызмальства нескольких, по крайней мере — двух, иностранных языков и серьезных занятий музыкой и спортом. Пианино было, думаю, не только не по средствам нашей семье, но оно и попросту не нашло бы себе места в тесных комнатушках нашего жилища, где едва находил себе приют лишь граммофон, а книги и журналы громоздились почти до потолка, на гардеробе. А что касается спорта, то я, конечно, тянулся к нему — и на пятом году жизни научился плавать. А в году девятьсот двенадцатом я изобрел хула-хуп, использовав для кручения вокруг своего стана покрышку с велосипедной шины. Пробовал я свои силы и в футболе, но как-то не находил партнеров, ибо в нашем квартале процветали более тра-

диционные игры: в бабки и в пульки. Играть в бабки коровьими костями казалось мне непривлекательным, но игра в пульки — вариант игры в солдатиков — увлекла и меня. Начиналась она с того, что кто-нибудь из мальчиков кричал: «Стройся!», и, выстроившись, мы шли за кладбище, на стрельбище, приблизившись к которому прятались в ров, выжидая, когда на поле смолкнут выстрелы и солдаты уберут мишени. Тогда-то мы и устремлялись в поле, и подбирали там пули, и, набрав их в карманы, снова строились, как настоящие солдаты, и с песнями вроде: «Чтобы не было поносу, не люби мою курносу, гей!» — маршировали назад, чтоб, возвратившись, опять-таки играть в солдатики найденными пульками, некоторые из коих нами плавились и вливались или попросту вбивались для тяжести в бабочные панки-палитки.

Возвращаясь домой, я тянулся к более изысканным играм, хотя и не бросал эти пульки, которые в моем воображении здесь, в домашней обстановке, превращались из солдатиков в монахинь, монахов и остроголовых астрологов. А затем иногда я подымал и отпускал клеенку на столе так, чтобы задержавшийся под ней воздух придавал ей выпуклость, свойственную поверхности земного шара, и тогда все монахини, монахи, астрологи и бывшие солдатики катились со стола, превращаясь как бы в торпеды и мины, а на нем оставалась только вздымающаяся поверхность океана, на которой я спешил разместить бумажные морские суда, начиная с неуклюжих пироскафов и кончая еще более неуклюжим «Титаником». Таковы были интеллигентные комнатные игры, перемежаемые рисованием и вырезанием из бумаги не только кораблей, но и аэропланов, подводных лодок и драконов, то есть опять-таки все это шло снова от литературы и искусства.

Но улица с ее истинными ребячьими играми не дремала за окнами, а снова и снова звала к себе, как бы призывая пройти полный курс детских игр. И вот однажды на смену бабкам и пулькам, змейкам и бумерангам пришла и захватила нас целиком и полностью игра в лунки. Я уж забыл, в чем именно она заключалась, видимо, это было нечто вроде крокета, и что-то, как будто бы мячик, загонялось именно в лунку, то есть в ямку, против рытья которых и восстал наш домохозяин Андрес Петерс Вальс, по-русски просто Андрей Петрович Вальс. Я помню, как

взволновался Андрей Петрович, видя нас, квартирантских ребят, охваченных новым, прельстительным увлечением.

— Но, это, не надо рыть лунки, не надо делать на дворе лунки! Не надо, эт-то, копать лунки, ковырять двор, эт-то!

Я лично был с Андреем Петровичем в очень хороших отношениях. Когда я был совсем еще мал, этот хмурый эстонец, заходя к нам, поглаживал меня по голове, приговаривая: «Читаешь? Ну и читай, этто!», или: «Рисуешь? Ну, этто, рисуй!» — оснащая свою русскую речь словечком «этто», которое, видимо, помогало ему строить фразу или вспоминать нужное слово. Я тоже частенько заглядывал на задний двор, во флигелек, к Вальсу и Вальсихе — угоститься крыжовным вареньем, либо кровавой колбасой, либо посмотреть на затейливый эстонский календарь, полученный Вальсом из Ревеля, и на модель парусного корабля, полученную оттуда же. Постепенно я начал понимать, как старый Вальс тоскует по родным краям. Мало-помалу до моего сознания дошло, как и почему Вальс попал в Сибирь: история батрака, отстригшего хвост баронскому коню, сосланного, но не пропавшего в ссылке. Я начинал соображать, почему мне с малых лет запомнились в том амбаре, где был подпол-ледник, очертания гробов; Вальс начал в Омске с того, что стал гробовщиком. Глядя на верстаки и рубанки в другом сарае, я соображал, что тут-то Вальс и делал мебель для генерал-губернаторского дворца — давно, задолго до моего рождения, когда еще мой отец только познакомился с вальсовским сыном Самуилом, который и порекомендовал моему отцу, приехав в Омск, снять квартиру у старика Вальса.

И вот однажды, вероятнее всего, году в тринадцатом, когда Вальс достраивал еще один свой новый, на этот раз двухэтажный, дом, летом на дворе подобралась особенно шумная компания во главе которой, помнится, оказались уже гимназисты, один чуть ли не четырехклассник. И когда Вальс явился разгонять нас, роющих лунки, то наши вожаки вдруг призвали нас к активной обороне. С криками: «Мы играем!», «Не имеешь права запрещать нам играть!», «Старый черт!», «Этто!», «Чучело!» и т. п.— мы загнали старого аккуратиста в угол у ворот на задний двор. Мы свистели, галдели так, что оглушили, если не ослепили этого дюжего старика, и помню, как он в бессильной ярости, видимо желая, но не решаясь пустить

в ход волосатые кулаки, вдруг плюнул, а затем показал нам язык. И в этот момент с отвратительной гримасой он взглянул прямо на меня. Обычно он не замечал или делал вид, что не замечает меня среди ватаги ребят. Но на этот раз он взглянул прямо на меня, на меня, поддавшегося общему возбуждению, орущего, скачущего и кривляющегося перед ним.

Но вот тут-то и сказалась польза чтения книг. Мгновенно бросив кривляться, я застыл в неподвижности, размышляя: на кого он похож? И ясно понял: он похож не на джек-лондоновского Волка Ларсена или на какого-нибудь другого капитана среди дико бушующей, бунтующей команды. Нет! Но он ни дать ни взять Гулливер среди лилипутов. Или гигантский лилипут среди нас, маленьких гулливеров. Надо сказать, что эта книга отнюдь не увлекала меня, Свифт не был моим любимым писателем, но тем не менее, вдруг перестав бесноваться, я повернулся спиной к Вальсу и в смятении побежал со двора...

С неприятным чувством в тот день ждал я вечера, мне смутно казалось, что Вальс, хотя и не делал этого прежде, но теперь все-таки придет жаловаться или, по крайней мере, сетовать, разглагольствовать о детских безобразиях, пусть и не глядя, не указывая при этом прямо на меня.

Но Вальс не пришел ни днем, ни вечером, а появился только на следующее воскресенье, утром.

Хмуро поздоровавшись с моими родителями, он сказал:

— Но, этто, Леонид, ешь скорей завтрак, и пойдем на леса!

Вслед за Вальсом я поднялся на леса, окружающие второй этаж, и эти леса показались мне очень высокими, открывающими вид чуть ли не на весь Никольский проспект. Я смотрел на эту перспективу, но Вальс глядел не на нее, а, подняв голову, как бы созерцал небеса. И не без трепета я все ждал, что же он все-таки скажет. Он наклонился, что-то пошарил, и я увидел в руках у него деревянный ящичек, вроде тех, в которых хранятся плотничьи инструменты. Этот ящичек Вальс, человек высокоаккуратный, уютно поставил на приступку и извлек из него два стаканчика и бутылку.

— Ну, Леонид, давай, этто, выпьем! — торжественно сказал он.— Этто наливка! Этто хорошо! Этто можно!

И мы с Вальсом, старый и малый, воссели на доски, потягивая прекрасный красный напиток.

— Лёнька, что вы там делаете? — донесся со двора голос моей мамы.

Но было ясно, что мы делаем. Было ясно, что Вальс относится ко мне, как к взрослому.

Казначейша

Я рассказал о всех своих родичах, но почти ничего не объяснил о дяде моем Саше, внутренняя жизнь которого мне столь мало известна, что я даже не сумел сделать его героем поэмы. Несколько раз принимался я за эту поэму под названием «Казначейша», но не сумел ее развернуть и завершить отнюдь не потому, что произведение под таким названием написал до меня Лермонтов, а по совершенно иной причине. Но, впрочем, пусть обо всем этом рассудит читатель, если мне удастся рассказать о дяде Саше более или менее связно, хотя бы в прозе.

Дядя Саша служил в областном казначействе со времен для меня незапамятных. То ли его устроила служить туда бабушка по прибытии в Омск из Верного, то ли мама была соученицей будущей казначейши по прогимназии, но дядя Саша на моей памяти уже бесконечно давно служил там и был бухгалтером, чуть ли не главным, уже в те времена, когда я еще мог и любил кататься на его ноге, то есть был настолько мал, что мог, обняв его ногу и повиснув на ней, как на маятнике, перемещаться в пространстве. Это я делал, когда дядя Саша возвращался из казначейства домой к нам, на Никольский проспект, где обитал в проходной комнатке на положении холостяка. В этой комнатке, кроме его кровати, стоял только тот гардероб, на котором были навалены журналы с книгами. Иногда он брал оттуда номер «Нивы» либо «Синего журнала», но больше для того, чтобы вздремнуть за ними после обеда. Дядя Саша был тих, скромен, но с моей пятилетней точки зрения очень храбрый. Это был единственный человек, который на моих глазах расправился с полицейским. Тот почему-то заявился на двор дома Вальса и зашумел. И мне навсегда запомнилось, как дядя Саша, гривастый, в белой нижней рубашке, поглаживая бороду, вышел к полицейскому, спросил его о чем-то, рас-

сердился, закричал грозно и, схватив городового за шиворот, вытолкал прочь со двора. И тогда я понял, что дядя Саша не боится никого, кроме казначейши. Кроме казначейши Марии Николаевны с ее черной бархатной шляпой и кошачьей муфтой.

Мария Николаевна была супругой Сашиного начальника — областного казначея Владимира Петровича Софийского, в чьем доме дядя Саша давно уж был принят как свой, да и все наше семейство оказывалось частыми гостями в казенной квартире Софийских в здании казначейства, рядом с Государственным банком, напротив вице-губернаторского дворца, что наискосок от Кафедрального собора. Обиталище Софийских было большим и неуютным. Неуютной была и столовая, глядящая окнами на казначейский двор, неуютна была и детская, где как-то сиротливо ютились две казначейские дочки Верочка и Лелька, мрачной была и парадная зала, в которой стояло несколько чахлых фикусов. По одной стороне залы был будуар супруги казначея, по другой — его кабинет. Казалось, что эта зала разделяла два мира — мир ширм и мир книг. В мире японских, китайских, сиамских и еще каких-то ширм и ширмочек таилась казначейша, а в набитом книгами кабинете одиноко прозябал казначей, этот действительный статский советник, то есть, как мне объяснили, гражданский штатский генерал. И он мне представлялся именно генералом. Его фамилия свидетельствовала о происхождении из духовенства, но он не походил на поповича, в нем не было ничего от семинариста, которым он, возможно, и был в молодости; но низенький и тучный, в распахнутом мундире, он напоминал мне именно генерала, и никакого-нибудь другого, а полководца Кутузова, чьими изображениями изобиловали тогда страницы журналов в связи со столетним юбилеем Отечественной войны 1812 года. Так он и остался в моей памяти, этот казначей, выходящий навстречу гостям из дверей своего кабинета, держа в руках какое-нибудь юбилейное издание Отечественной войны, где он сам был изображен в виде Кутузова или Кутузов в виде его. Да, конечно, тучный, рыхлый, вежливо одышливый, именно Кутузова напоминал казначей своей важной мягкостью, утомленной доброжелательностью, неким подчеркнутым отсутствием воинственности. Но за то казначейша как бы восполняла это отсутствующее качество своего супруга. Худая и смуглая, стре-

мительная в движениях, она была вспыльчива, резка на язык, даже и молча всегда как будто негодовала. И когда мы приезжали к ним в гости, я не любил оставаться в ее будуаре, меж восточных ширм, где она что-то взволнованно и недовольно нашептывала моей маме, а стремился при первой возможности, если казначея не было дома, ускользнуть в его кабинет. Естественно, меня притягивали книги казначея — и вышеупомянутые издания с изображениями Кутузова в Филях и Наполеона в шубе; привлекала Библия и многие другие издания, манившие меня даже не картинками, а своей тяжестью, старостью, я бы сказал — непонятностью, которая увлекала меня тем больше, чем больше я подрастал. Дело в том, что это были совершенно другие книги, чем у нас дома. Тут были Евангелие, Коран, Талмуд, но в то же время и Ренан, и Джон Стюарт Милль, и Фейербах, и, насколько мне помнится, Адам Смит, и Родбертус, и вместе с Фламмарионом мне попался даже первый том «Капитала» Карла Маркса. И теперь, более чем полвека спустя, я смутно догадываюсь, что, например, сведения не только о Марксе, но и об Энгельсе, Прудоне, Дюринге и Фурье мой отец приобрел именно от Владимира Петровича Софийского, областного казначея, любившего побеседовать за вечерним чаем со своими гостями о высоких материях. Однако, мне кажется, что именно это и приводило в дурное настроение его супругу Марию Николаевну. Не однажды она с раздражением выходила из-за стола, ссылаясь на то, что девочек пора укладывать спать, или на то, что у нее мигрень и температура.

Про мигрень она, может быть, и выдумывала, но температура у нее, я понимаю, случалась, подымалась, разыгрывалась, судя по блеску ее глаз и по жалобам на озноб, на то, что руки ее, на ощупь горячие, зябли, и потому она даже дома возымела привычку греть их в своей муфте, которой, кстати сказать, она любила дразнить меня, тыча ее мне в лицо, щекоча щеки. Я с младенчества побаивался этой ее муфты, называя ее кошачьей, и под смех взрослых убегал из будуара в кабинет казначея не только к его книгам, но и от кошачьей муфты. Я присматривался к этим книгам все внимательнее и внимательнее, по мере того, как становился все более грамотнее и разумнее. Насколько мне помнится, именно там, в кабинете казначея, я впервые узнал о существовании ересей вообще, об аме-

рикански мормонах, о новгородской секте жидовствующих, о дырочниках, об искателях Беловодья, мифического царства пресвитера Иоанна, находящегося якобы даже где-то восточнее Сибири, в которой мы обитали, и об ожидающих скорого конца мира адвентистах седьмого дня, и о хлыстах, и о хлыстовских богородицах. И я едва ли бы соврал, сказав, что всегда взбудораженная, мрачная Мария Николаевна стала казаться мне какой-то хлыстовской богородицей. Нянька Дуня просто звала ее ведьмой. Но все-таки я еще не понимал ясно, в чем тут была суть — почему озабочена моя мама, почему хмурится бабушка Бадя, когда дядя Саша опаздывает домой в свою проходную компатку возле прихожей. Ведь казалось бы, что ему не хватает в этой комнате, через которую и няня Дуня проходит на цыпочках, с нежностью, чтоб не помешать его послеобеденному сну! Дуня, бывшая моя нянька, продолжавшая жить у нас вроде как бы экономкой и когда я подрос, была девушкой впечатлительной и, присматриваясь к казначейше, кажется, первая и обнаружила, что Мария Николаевна колдунья: черная, глазищи так и блестят, и вообще творит какие-то козни египетские и ужо нашлет на казначея казни египетские. На этот счет у Дуни были свои точные источники информации, едва ли не с казначейской кухни. И хотя эти разговоры шли не со мной, но я все-таки узнавал все о новых и новых чудачествах казначейши. Будто бы грозила повеситься в гардеробе, будто бы разводила яд в рюмке, а потом толкла спички в ступке. А почему? Да уж что там говорить: казначей слишком умен для казначейши. Она ему — в театр, в церковь, в гости, а он: э, бросьте, оставьте бога ради! Ему все книги да книги, а что ей книги!

Книги! О них-то мне и остается теперь досказать.

Конечно, я грезил ими и во сне и наяву. Куда подевались все эти книги? Вышло так, что я ни разу не спросил об этом у дяди Саши. А он-то, разумеется, знал. Ведь потом, когда казначей умер, а умер он от сердечного припадка, как-то неожиданно, не кто иной, как именно дядя Саша, приводил в порядок дела казначейши. Как и когда это было?.. То ли накануне, то ли вскоре после февральского переворота. Но, во всяком случае, после того, как казначейша овдовела, именно дядя Саша перевез с казенной квартиры на частную всю семью казначея, это была уж его семья. Он покинул свою проходную комнатку

в нашей квартире. Да, по всей вероятности, это было уже во дни революции. Это было уже во дни революции потому, что исчезновение дяди Саши из наших палестин и произошло, под гром событий, как-то незаметно. И я помню, что однажды, оказавшись в гостях у дяди Саши, а следовательно и у Марии Николаевны с ее дочерьми, я прежде всего стал искать глазами, где книги. Где эти старые, мудрые книги казначея? И, увы, я не нашел книг; то есть книг в массе, как это я помнил по кабинету Владимира Петровича, не было, были какие-то отдельные томики на подоконниках пустой и бедной квартиры, окна которой были завешаны чуть ли не пожелтевшей газетной бумагой. Заглянув в соседнюю комнатку к девочкам, я нашел и там только учебники — алгебру Киселева, историю Илловайского и французский учебник Марго. Вообще, из вещей со старой казенной квартиры я усмотрел только фикус в кадке да старую, уже очень потертую, так называемую кошачью муфту, которую Мария Николаевна держала теперь вместо подушки на том диванчике, на котором лежала, жалуясь, как и прежде, на температуру. Казначейша очень постарела и была явно больна, о чем свидетельствовали теперь уже не дико и загадочно, но устало и горячечно поблескивающие черные ее очи. И действительно через некоторое время казначейша скончалась, а вслед за ней, недолго покашляв, умер и дядя Саша, которого я так и не успел спросить, куда девалась замечательная библиотека казначея. Не спрашивал я и у девочек, разумеется, оставшихся нам. Может быть, старшая, Верочка, и знала, она всегда была рассудительной девочкой, первой ученицей в гимназии, закончившей ее с отличием. Но уже при Советской власти, поступив в медицинский институт, Верочка на переходном экзамене на второй курс неожиданно предложила экзаменаторам посмотреть, как она танцует полечку. Никто не знал, почему она сошла с ума, но, вспомнив некоторые особенности характера казначейши, решили, что Верочка пошла в мать. Она тоже вскоре скончалась. Что же касается Лельки, то она, живя у нас, сперва очень огорчила моих родителей, поступив в труппу «Синяя блуза», которой руководил наш сосед, запьянцовский поэт Борис Жезлов. Правда, вскоре Лелька одумалась и обрадовала моего отца, пойдя учиться в техникум, и, закончив его, сделалась хорошим техником-строителем. Она прекрасно ла-

дила с рабочими. Затем она вышла замуж, и наши пути разошлись, прежде чем я успел спросить ее, не знает ли она что-нибудь о библиотеке своего отца. Но я не переставал помнить об этих книгах из кабинета областного казначея. Ясно, что их растеряли или продали за бесценок, скорей всего даже и не букинистам, а так, просто на вес. Но мало-помалу я все-таки прочел многое из того, что было в личной библиотеке казначея, что прочел он: и Ренана, и Бокля, и Штрауса, и Фламмариона, и Родбертуса, и Фурье, и книги по истории религии, расколов и ересей, да разве перечислить все, что мог прочесть премудрый казначей в своем кабинетном ночном уединении... Конечно, я добрался бы до всего рано или поздно и без казначея, все это обязан знать каждый цивилизованный человек, но детские воспоминания, память о дяде Саше и все прочее делали поиски и чтение этих книг особенно интересными. Вот какую роль в моей жизни сыграл мой добрый дядя Саша, как будто бы и не сыгравший никакой особенной роли в моей жизни.

Екатерининский завод

Любитель техники и обожатель механики, не я ли еще семилетним мальчиком наслаждался чудесами Западно-Сибирской торгово-промышленной выставки, на чьей территории было все, начиная от всевозможных «Дьябло и Пумп сепараторов» и кончая локомобилями и локомотивами новейших конструкций! Не я ли на ипподроме, преображенном в аэродром, пробивался через толпу зевак и цепь полицейских, сдерживающих напор этой толпы, к аэроплану Блерио, надеясь, что летчик Васильев возьмет меня с собой покататься!

Не кто иной, а именно я часами бродил у решетчатой ограды дома Эльворти, любуясь складом новейших сельскохозяйственных орудий на дворе этого железобетонного, самого новомодного по тем временам здания. Узенькая, но мощеная, не в пример многим другим улицам Омска, Вагинская улица с ее плотно прижатыми друг к другу двухэтажными домами казались мне уголком Парижа. И меньше всего меня привлекала Русь избяная, деревен-

ская, тем более что всяческих старых избушек хватало и в городе: и в Казачьем форштадте, и на Мокром, и на Лугу, и на Волчьем Хвосте, и на Атаманском хуторе — всюду торчали избушки, подобные избушкам захламинским. А Захламиной называлась пригородная казачья станица к северу от города, куда однажды наша семья выехала на дачу, но убогие бревенчатые срубики изб внушили мне такое уныние, что я пешком убежал в город, заставив мать и отца прервать пребывание на свежем воздухе.

Но именно этот свежий воздух и был прописан моей матери и старшему брату не кем-нибудь иным, а домашним врачом Лейбовичем.

И на следующее лето решено было ехать не в какое-нибудь пригородное Чернолучье, а в самый что ни на есть татарский урман, чуть ли не за двести верст вниз по Иртышу.

— Вот там ты увидишь настоящую деревню! — сказал мне отец.— Это медвежий угол, дичь, Тара, татары, тартарары!

Так, в июне следующего года — я точно не помню какого, наверное, это было еще до войны, в тринадцатом,— мы и отправились на пароходе «Витязь» или «Баян» вниз по реке. На низких берегах ее я не приметил ничего интересного. Серые тучи над серыми буграми, серые избы редких селений, визг гармошек на пристанях — вот что мне запомнилось о первом дне путешествия. Но пароход бежал по течению быстро, и к вечеру следующего дня мы вышли на берег у стены хвойного леса. Я точно не помню, но мне кажется, что этот лес рос на очень высоком обрыве. Затем, поднявшись в гору, мы очутились в селе.

— Это и есть Екатерининский завод,— сказал отец.

Я оглянулся. При слове «завод» мне вспомнились кирпичные громады маслобойного завода близ омского вокзала и грохотливые сооружения завода сельскохозяйственных машин Рандрупа, самого большого тогда в Омске. Тут я не увидел ни кирпичных стен и не услышал ни намека на металлический грохот.

— Где завод? Какой завод? — спросил я.

— А ты расспроси местных жителей,— ответил отец.— Надо полагать, что это завод екатерининских времен. Расспроси стариков и старушек. Но это завтра, а сейчас надо устраиваться.

Устроились мы у хозяйки в довольно пустой избе, и, так как наступила ночь, я лег спать, не удовлетворив своего любопытства.

Когда я утром раскрыл глаза, изба показалась мне уж не такой пустой, как вечером, накануне. Отец выметал сор из-за печки — он был великим аккуратистом, что в некоторой степени упаследовал и я. Унаследовал далеко не сразу. Тогда, в детстве, я смотрел на эту страсть отца к порядку как на прихоть, на причуду. И если, придя с работы домой и видя непорядок, отец начинал, как это называли, «прибираться», то мне казалось, что это он делает в укор домашним, и только. Со временем и я стал таким же, и теперь, когда пишу эти строки, я вспоминаю, как и я сам то приводил в порядок захламленный дворик дачной квартирохозяйки в селе Приморском, между Днестром и Дунаем, то пытался замостить камнями ледниковой морены подход к избе в селе Степановском на Истре. И однажды я понял, что делаю это точно так, как мой отец, и почувствовал, что эти манипуляции, кроме эстетического наслаждения чистотой и порядком, приносят еще и значительное душевное успокоение, недаром говорят, что повышенное стремление к порядку свидетельствует о душевной неуспокоенности.

Итак, отец наводил порядок, мать разговаривала на крыльце с хозяйкой избы о том, как надо печь черничные шанежки. Я, совершив утренний туалет, побежал осматривать деревню. Что я могу теперь вспомнить о ней? Увы, очень мало. Я не могу сейчас вспомнить, сколько в ней было улиц — одна или больше, я не могу сказать, была ли в деревне церковь или часовня, была ли лавка, был ли хоть один двухэтажных дом,— мне вспоминается только одно: в ней не было никаких признаков никакого Екатерининского завода. Поэтому я углубился в лес, который, как мне сейчас кажется, подходил к деревне чуть ли не вплотную. Из леса слышался стук топора, но при моем приближении он замолк. Я вышел на полянку, где увидел незрелую еще землянику. Я наклонился, ища более зрелые ягоды, и тогда за спиной своей услышал треск сучьев. И мгновенно в моем воображении возникла широкая, с бархатными поручнями на перилах каменная лестница, ведущая на второй этаж магазина Ганшина на Любинском проспекте Омска. Лестница, как бы упирающаяся в огромное зеркало, в котором и отражается стоящий на

дыбах огромный коричневый зверь. Чучело медведя, стоящее на лестничной площадке в магазине Ганшина,— вот что возникло перед моим умственным взором, когда я услышал треск сучьев в лесу за своей спиной. Не настоящий ли медведь, подобный ожившему чучелу, выходит из настоящего лесного медвежьего угла?

Но, обернувшись, я увидел не медведя, а бородатого и гривастого человека.

— Испугался? — спросил он.

— Я думал, медведь,— ответил я.

— А я и есть медведь. Р-ры! — зарычал он. И сказал после этого: — Дачник? Дачники оставили свои задачники, ученики — мученики!

— Скажите, пожалуйста, почему деревня называется Екатерининским заводом? — спросил я.— Где завод? Какой завод?

— А ты думаешь, завод фруктовых вод? — закричал он.— Нет, брат, совсем наоборот — винокуренный завод. По-нынешнему говоря — монополка! Понимаешь? Впрочем, ты еще мал, чтобы все насквозь понимать! — И, кивнув мне бородой, он ушел в лес, откуда и появился.

Возвращаясь в деревню, я размышлял об услышанном. Разумеется, я знал, что такое монополка. Здание монополки на задах улицы Капцевича, между Банной и Проломной, было одним из наиболее величественных строений Омска. Труба монополки гордо возвышалась над морем крыш. У ворот монополки и под каменною ее стеною нередко валялись в самых разнообразных и отвратительных и живописных позах заядлые пьяницы. «От такого сооружения, как монополка, хоть что-нибудь должно было остаться и с екатерининских времен,— думал я,— хотя, может быть, монополки в те времена были и не такими». Рассуждая так, для ребенка дошкольного возраста довольно здраво, я вернулся в наше пристанище и шепнул маме, чтобы она расспросила хозяйку про завод, что мама и сделала незамедлительно. Хозяйка, довольно шустрая бабенка, насколько я помню, вдова, охотно принялась за повествование, и мне оставалось только улавливать ход ее мыслей, довольно извилистый.

— Дачники об этом всегда расспрашивают,— говорила хозяйка,— и в прошлом году студенты даже сами объясняли про Екатерину, главное, как она расправилась с этим Пугачевым, когда он объявил себя за живого покойного

ее мужа. А еще не студент, а один странник рассказывал, как он, значит, сказал: «Раз я твой муж, так, значит, ты моя жена, так и подчинись, как следует в законном браке, на пуховой постели под балдахинами». А она: «Ах он, мужик, как он смеет!» А он: «Как, ты не хочешь быть со мной в законном браке, раз я не давал тебе развод?»

— А завод? — спросил я.

— Чего завод? Я говорю, развод, а не завод! — сказала хозяйка, но добавила, спохватившись: — Да ты иди поиграй, порыбачь, ты еще маленький, чтобы про это слушать.

— В самом деле, иди, я тебе потом расскажу,— подтвердила и мама.

И, оскорбленный — я же затеял весь этот разговор, а меня же и гонят,— я вышел за дверь, а потом за ворота, где и увидел отца, беседующего с двумя обворожительными особами. Мне показалось, что я видел их и раньше. Но где? На рисунках художницы Мисс в каком-то журнале, чуть ли не в «Сатириконе», вот где я видел таких девиц, в затейливых шляпках, хотя и вовсе не таких, как на этих — Евлалии и Евстолии, как звали этих двух милых сестер.

— Мне кажется, я видел вас на картинках! — сказал я.

— На картинках? — удивилась Евстолия.

Но Евлалия, не заинтересовавшись, почему на картинках, сказала:

— Да и мы тебя знаем. Правда, Евстолия, мы его видели?

И, обращаясь больше к отцу, сказала, что я выделяюсь среди нескольких других им известных по Омску толстых, румяных мальчиков одухотворенным выражением лица. Услышав такой комплимент и опасаясь дальнейших нежностей, вроде: «Ну, дай я тебя поцелую»,— я счел необходимым скрыться за изгородь и уж оттуда слушал, как сестры рассказывали отцу, на каком пароходе приехали, и о том, что им знакомы все капитаны, и что они приехали не развлекаться, а поправляться, и что они боятся купаться, и что опасаются одни ехать в Тару, потому что по лесу шляются какие-то бродяги и их уж напугал один из этих бродяг, какой-то лохматый.

— Это Пугач! — крикнул я из-за изгороди, и все засмеялись, думая, что я хочу выразить нехитрую мысль, что пугающий является пугачом. Но я-то имел в виду другого пугача, о котором толковала хозяйка моей маме. Я имел в виду Пугачева. И когда сестры удалились, я сказал отцу:

— Евлалия и Евстолия — капитанские дочки!

— С чего ты взял? — ответил отец.— Насколько мне известно, эти барышни не дочери капитана!

— Их в лесу напугал тот мужик, который как Емельян Пугачев!

— Фантазируешь! — заметил отец.— Кстати сказать, Пугачев был не здесь, а за Уралом, на Волге.

Это я знал и сам, я кое-как уже одолел «Капитанскую дочку», хотя и не осилил «Историю пугачевского бунта» — это было еще мне не по зубам. Я вполне был согласен с отцом, что Пугачев был не здесь, но в то же время из рассказа хозяйки выходило, что он был как бы и здесь, столь уверенно она толковала о его споре с Екатериной. Хозяйка своим рассказом прибавила как бы нечто живое, реальное к тому книжному, что уже знал из невнимательно прочитанных мной сочинений Пушкина. И к известным мне картинкам из томика Пушкина прибавился лохматый лесной мужик — Пугач, вдруг вытеснивший из моего воображения всех известных мне героев Жюля Верна, Эдгара По, Конан Дойля, не говоря уже о пятикопеечных шерлоках холмсах, натах пинкертонах и никах картерах. Вот как произошло мое первое реальное соприкосновение с историческим прошлым на Екатерининском заводе в двенадцати верстах от города Тары.

Размышляя о том, что бы сделал настоящий Пугачев с Екатериной, и с капитанскими дочками Евлалией и Евстолией, и со всеми остальными дачниками, я, разумеется, сам вошел в его роль и вообразил, что это я Пугачев — пугаю всех, то крича, как филин-пугач из глубокого леса, то пугая всех воображаемыми выстрелами из пугача-браунинга, которые были в большом ходу в те времена. И даже огородные пугала имели, казалось мне, какое-то хоть не прямое, а косвенное, как бы я сказал теперь, негативное, отношение если не к Пугачеву, то к пугачевщине, и я подкрадывался к ним как бы исподтишка. Это была забавная и таинственная игра, в которую я не пытался вовлечь ни других ребят-дачников, ни деревенских

мальчиков, с которыми бегал и развлекался, будто бы я никакой и не Пугачев.

В общем, я переживал то, что впоследствии, совсем как будто и не вспоминая о Екатерининском заводе, выразил в одном не напечатанном до сих пор стихотворении, звучащем приблизительно так:

Екатерина,
Так ожесточаясь,
Что вся пылала, будто бы свеча
Из изобретенного позднее стеарина,
Велела выпытать у самозванца,
Какие резиденты-иностранцы,
Или вельможи собственные, или
Раскольники его подговорили
Прикинуться ее покойным мужем.
— Мы обнаружим,
Кем ты был подучен! —
А Емельян ответствовал, измучен
Огнем, водой, клещами и кнутами:
— Был лишь своими полон я мечтами,
И к этому мне нечего добавить!
— Четвертовать его и обезглавить,
Затем что б тело исклевали птицы! —
Так умер злейший враг императрицы.
Ну, вот и все. Чего же знать еще вам?
Екатерина, пышная перина,
От дикой злости губы искусала
И Гримму по-французски написала:
«Все кончено с маркизом Пугачевым».

Это я написал много позднее, но все же раньше того, как узнал истинную историю Екатерининского завода, вдохновившего меня на вышеприведенные стихи. Уж теперь, в процессе писания этой главы воспоминаний, я с помощью своего друга Виктора Уткова, высокоэрудированного в вопросах истории Сибири, узнал, что Екатерининский завод как населенный пункт основан гораздо раньше времен Екатерины II и даже Первой, а именно в 1715 году, то есть на год раньше Омска, видимо, той же военной экспедицией Бухгольца, которая шла по указу Петра Великого из Тобольска на юг, вверх по Иртышу, и дошла в конце концов до Ямышевых соляных озер в казахской степи. Во-вторых, я узнал, что лесной мой собеседник был абсолютно прав: завод был именно винокуренный, и во второй половине восемнадцатого века он выдавал в год по многу тысяч ведер спирта, пенника и еще какой-то хмелящей продукции. В-третьих, на этом за-

воде работали каторжники, возможно, пугачевцы, в-четвертых, на Екатерининском заводе с 1861 года была церковь, и даже примечательная, с местночтимой иконой Абалакской божьей матери — копией с тобольского подлинника. То, что я, как уж упоминалось выше, не запомнил этой церкви, свидетельствует не только о моем детском умонастроении, но и об умонастроении моих родителей, так сказать, не бывших сторонниками религиозного воспитания детей.

Итак, своим детским нюхом я учуял тогда на Екатерининском заводе лишь дух пугачевщины, дух бунта, что, пожалуй, было и наиболее в духе времени, ибо как-никак назревали война и революция, в воздухе уже носилось что-то такое, о чем мы не знали толком, дачники, оторванные даже от свежих газет. Впрочем, урман благоухал грибами и ягодами. А потом пошли дожди, и наступило время возвращения в город. Хрипло свистнув, к берегу подошел паршивенький однопалубный товаро-пассажирский пароход «Коммерсант», и мы отправились в путь, ощущая, что из трюма чем-то попахивает довольно скверно. Это неблаговоние все усиливалось, и на следующий день пассажиров охватило волнение. От капитана потребовали, чтобы он прекратил дурной запах. Капитан разводил руками, говоря, что это, вероятно, преет в трюме рожь, подмоченная из-за течи в днище. Волнение усилилось, матросы отмахивались от бушующих пассажиров, а капитан объявил, что не желающих мириться со зловонием он может высадить. Волнение достигло высшего предела, и я уже воображал себя никаким не Пугачевым, а участником какого-то уже не пугачевского, а корабельного бунта, путешественником на взбунтовавшемся корабле, высаживаемым на необитаемый остров, где нас заедят если не медведи, так уж, наверное, комары.

После всех этих приключений Омск показался мне громаднейшей, благоустроеннейшей, упоительно шумной тихой пристанью. Впрочем, идиллия вскоре была нарушена войной. Обо всем этом, а также о дальнейшем ходе моего умственного развития я подробно рассказал в других главах этой книги. Но данный период — поездка на Екатерининский завод, встреча с мужиком-рифмачом, наверно, потомком лицедеев, разыгрывавших когда-то действо о царе Максимильяне, речи хозяйки-сказительницы преданий

об интимных беседах Пугачева с Екатериной II — все это как-то выпадало из моей памяти.

Остается добавить следующее: с капитанскими дочками мне привелось встретиться только лишь через несколько лет после революции, уже при Советской власти. Я неожиданно увидел Евлалию и Евстолию уже не в батистовых платьях и затейливых шляпках с рисунков художницы Мисс, а в шубах внакидку, за прилавком самого большого в городе газетно-журнального киоска. Помню — по знакомству — я покупал у них все новинки в первую очередь.

Этот газетно-журнальный киоск был на бойком месте — у Железного моста через Омь, в центре города. А по другую сторону железного моста в Оми покоился пароход «Коммерсант». Тот его рейс, когда мы возвращались с Екатерининского завода, был чуть ли не последним. «Коммерсанта» извлекли на берег для осмотра днища, но кузов его так и остался не отремонтирован ввиду событий войны и революции. И только сполз наполовину обратно в коричневую Омь, откуда и торчал, ржавея, как рухнувший в Лету кубо-футуристический памятник былому. Это точно и достоверно. Кому, как не мне, ставшему к тому времени знатоком и поборником левого искусства, знать, на что походил исковерканный, вздыбившийся и переломившийся остов злополучного «Коммерсанта».

Внимательность Искандера

Ирина, моя племянница, как и следует школьнице, перешедшей из седьмого в восьмой класс, все лето одолевала «Былое и думы». Идучи по грани понимания, спотыкаясь на незнакомых именах и терминах, прочла не больше половины. И то ладно. Я в ее возрасте прочел из этой книги еще меньше, чем она, легкомысленная, хотя, казалось бы, обстановка, в которой произошло мое знакомство с Герценом, должна была бы вызвать повышенный к нему интерес.

Это произошло у мадам Смолко, которую одни считали суфражисткой, другие гермафродитом, потому что она ходила в штанах. Но я не думаю, что эта дама, проездом

откуда-то появившаяся в Омске в семнадцатом году и обитавшая с тихим своим мужем в бетонном домике на Лермонтовской, напротив Антона Сорокина, была чудовищем. И если она иногда и делала вид, что курит трубку, то поступала так, должно быть, для того, чтобы эпатировать буржуа. Может быть, она действительно была анархисткой, как довольно многие прекраснодушные интеллигенты тех времен. Может быть, она с мужем ехала из-за границы, может быть, за границу. А впрочем, кто ее знает. Как увидит читатель, в этой главе пойдет речь о людях, в сущности, оставшихся мне неведомыми, и я заранее оговариваюсь, что не знаю — хороших или плохих, но мне лично не сделавших ничего дурного, а только хорошее.

Трудно сказать, почему я, гимназист-второклассник, забрел в логово мадам Смолко. Скорей всего, просто чтоб поглядеть на необыкновенное существо. Но прекрасно помню, как в моих руках оказалась эта книга, на побуревшей обложке которой я прочел: «Былое и думы» Искандера. Лондон, 1861», и мадам Смолко, дав мне время обозреть книжку, затем деликатно, но озабоченно и даже опасливо изъяла ее из моих рук.

— Это очень ценная книга. Уникум. Первоиздание! — сказала она басом.— Это Герцен, дитя мое, Герцен! Знаешь ли ты, кто такой Герцен?

И я кивнул. Я действительно знал о существовании Герцена, потому что в числе других приложений к «Ниве» у нас появились и томики Герцена, в которые, впрочем, я не пытался углубиться. Возможно, что тут играли роль не только мой возраст, но еще и тусклая печать и серая бумага этого издания, затрудняющая чтение при моей близорукости и нежелании носить очки. И помню, как после этого разговора с мадам Смолко я все-таки взялся за Герцена, но не одолел даже и первых страниц «Доктора Крупова». Герцен показался мне даже скучнее Мея, с томиками которого, тоже приложениями к «Ниве», он оказался перемешан в книжной груде на гардеробе. Впрочем, Мея я тоже читать не стал, но он привлек мое внимание, по крайней мере, обложкой, насколько помню, коричневой, с изображением боярышни, чрезвычайно похожей на нашу соседку за углом, пышную гимназистку Клаву Овечкину. В этой девушке было для меня нечто и отталкивающее, и привлекательное. Она появлялась из-за угла Варламовской улицы, возбуждая во мне противоречивые

чувства. Нет слов, она была величественна и шествовала церковно-славянски гордо, как псковитянка, но мне не нравился ее хвост в лице довольно тупо гогочущих красавцев гимназистов братьев Любимовых, живших тоже где-то поблизости. И опять-таки я ничего не могу сказать плохого и про этих ребят; может быть, просто тут была детская ревность. И все это я вспоминаю лишь к тому, что Герцен так и остался непрочитанным, но зато томик Мея оказался как бы невзначай поставленным на книжную полку так, чтоб красоваться своей обложкой.

И он так бы и стоял почти целый год, этот томик с боярышней на обложке, если бы однажды отец мой, взглянув на полку, не сказал мне неожиданно:

— Мей? Мей да Фет! Фет — крепостник! А ты, если добираешься до наших книжных завалов, подобрал бы лучше Гарина-Михайловского. Вот это писатель, которым можно гордиться! Особенно нам, путейцам, железнодорожникам. Ведь не кто иной, как он — строитель Великого Сибирского пути! А какой писатель! Каким художником слова оказался этот инженер Михайловский! Путевые очерки по Дальнему Востоку! А «Вокруг света»!

Мне хорошо помнится это восклицание отца, рассеянно глядевшего на меевскую боярышню; я как бы со стороны вижу и себя, терпеливо слушающего отеческое поучение, но тщетно я стараюсь восстановить, так сказать, фон этих событий, ту обстановку, в которой все это случилось. Конечно, это было между февралем и октябрем семнадцатого года. Разумеется, происходили события гигантской важности. Я бы мог сейчас заглянуть в книги, старые журналы, и, не упоминая, откуда я все это беру, мог бы, будто бы я все это отчетливо помню сам, наворотить сколько угодно исторических подробностей: вот, мол, в Сибири в это время — в мае или июне 1917 года — творилось то-то и то-то. Но дело в том, что как раз об этих летних днях я и помню только то, о чем идет речь, а все другое почему-то в данный момент начисто выпало из памяти. Поэтому возвращаюсь именно к тому, что столь ярко припомнилось, вытеснив из памяти все остальное.

Итак, я, выслушав указания отца и не подав вида, что покорно им следую,— ибо дети нередко относятся скептически к вкусам родителей,— все-таки несколько позднее добрался до Гарина.

Это случилось однажды хмурым утром, кажется, даже шел дождь с ветром, и я, сидя дома, начал, как бы от скуки, перелистывать гаринские книжки в бледно-желтых обложках. Как водится у привередливых читателей, я начал с конца, потом перескочил к началу, а вслед за тем заглянул в середину. Меня не заинтересовали ни путевые, ни тем более сельскохозяйственные очерки. Привлекли мое внимание, как гимназиста, «Гимназисты», и я решил немедленно же познакомиться с трудами Писарева, о чтении которых гимназистами так увлекательно повествует Гарин. Писарев у нас был. И я схватил его с полки. Но, углубившись в Писарева, и утомившись им, и отложив его в сторону, и возвратившись к Гарину, я охладел и к чтению «Гимназистов» и в конце концов (все это заняло, вероятно, часа два) по-настоящему увлекся тем, что мне оказалось действительно по вкусу и разуму,— «Детством Темы». Сперва я просматривал и эту повесть страницу за страницей наспех и даже несколько снисходительно: ведь речь шла о совсем маленьком мальчике, на переживания которого я с высоты своего двенадцатилетнего возраста глядел как бы свысока. Но через полчаса от моего высокомерия не осталось и следа. Скажу честно: меня захватила не столько душевная драма Темы, не столько честно и благородно поставленная проблема воспитания детей, сколько страницы, описывающие бегство маленького Темы на морской берег, феерический морской берег! Вот чем меня пронял Гарин-Михайловский, патрон моего отца, строитель Великого Сибирского пути через равнины и степи в глубине континента. Чудесный морской берег!..

Тут, как я понимаю, мне следовало бы несколько подробнее и более обстоятельно изложить описание морского берега Гариным-Михайловским, равно как и описать чувства, вызванные чтением этого эпизода повести. Но я помню лишь одно: закончив это лихорадочное чтение, я взглянул в окно и увидел, что хмурый день сменился оранжево-ветреным закатом. Вот именно такой закат, подумал я, может гореть над бушующим морем! И хотя я отчетливо сознавал, что иртышские волны — не морские валы, но тем не менее, бросив книгу, я поспешно выбежал из дому.

Минут через десять я был на иртышском берегу. Северо-западный ветер нагонял на этот глинисто-галечный берег мутные желто-красные волны. Они даже пенились,

как морские. Некоторое время я любовался стихией, хоть и не столь привлекательной, как в повести о Теме, но посвоему не менее прекрасной. Затем я увидел парусную лодку. Она шла по ветру против течения, очевидно, к месту стоянки других парусных лодок, выше паромной пристани за Перевозной улицей. И я пошел вдоль по берегу, туда, чтоб посмотреть, как лодка станет на якорь. Но она шла очень быстро, и, когда я добрался по тинистому берегу до перевоза, она, уже пустая, покачивалась у бона. И, взглянув на береговой обрыв, я заметил людей, возможно, сошедших именно с нее, с этой лодки, а может быть, и вовсе не с нее, но это были трое, как мне показалось, очень задумчивых, даже печальных юношей, медленно идущих по обрыву, неся на плечах весла, багры, а может быть, даже и съемные мачты со связанными парусами.

Это были очень красивые юноши. Я смотрел на них, по крайней мере, минуту, стараясь, чтоб эта минута продлилась подольше, чтоб они подольше бы не исчезли из виду. Это были необыкновенные юноши, как бы прямо противоположные красавчикам-гимназистам братьям Любимовым, чуть не ежедневно мозолившим мне глаза и оскорблявшим мой слух гоготом, следуя за Клавой Овечкиной.

Но тут послышалось шуршание гальки, и передо мной предстал знакомый мальчишка, береговой житель, компаньон по купанью.

— Ты не знаешь, кто это такие? — спросил я у него, указывая на удаляющихся юношей.

— Знаю! — ответил он.— Это Травеле́ры! Травеле́ры! — повторил он, подпрыгнув и как бы дразнясь. И затем крикнул уже громко, так, чтобы те услыхали: — Травеле́ры-кавалеры!

И бросился бежать. А те, несомненно услышав, медлительно обернулись, но, будто раздумав, не остановились, а пошли дальше к железным воротам в кирпичной ограде прибрежного домовладения над углом Перевозной, на обрыве. И я услышал, как ворота заскрежетали и захлопнулись.

Вернувшись домой, я спросил у отца, не знает ли он, что за Травелеры живут за кирпичной оградой над углом Перевозной, на обрыве.

— Травеле́ры? — переспросил он.— Я думаю, ты имеешь в виду некоего Трувеллера, который действительно

обитает, кажется, там. Видимо, это его дети. Не скажу тебе точно, кто он такой...

Но почему, начав с того, что племянница моя Ирина нынче летом приступила к чтению «Былого и дум», я наговорил столько воспоминаний, сперва как будто имеющих, а затем даже и не имеющих как будто бы никакого отношения к Герцену?

А потому, что уж много позднее, когда бесследно скрылись с моего горизонта и показавшая мне первоиздание «Былого и дум» оригинальная мадам Смолко, и церковнославянская Клава Овечкина, чье подобие в виде меевской обложки заставило отца обратить мое внимание на Гарина, чья повесть, в свою очередь, привела меня на иртышский берег,— много позже всего этого и даже много позже того, как, изучая английский язык, я узнал, что слово «травеллер» означает «путешественник», много позже даже и этого я прочел, что один из связных Герцена, а именно — некий юнкер Трувеллер, был взят с нелегальной литературой и сослан в Курган, хотя впоследствии возвратился в Европейскую Россию.

Не потомков ли этого Трувеллера я видел на иртышском берегу с веслами на плечах? Кто был отец этих юношей? Кем стали они сами? Хорошими или плохими людьми были они и стали, эти однофамильцы или потомки? Живы ли, наконец, их потомки? Ничего этого я не знаю.

Но не сам ли Искандер, видя, что я хоть и недостаточно, но им интересуюсь, показал мне из небытия то, что мог показать в те дни над иртышским берегом,— то есть потомков или однофамильцев своего связного, пострадавшего за храбрость великую!..

Революция

Она началась для меня так.

Однажды зимним вечером, когда мы с отцом прогуливались в фойе кинематографа «Гигант», ожидая начала сеанса, к отцу подошел присяжный поверенный Голуб.

— Слышали? Убили Распутина,— сказал он.

Что он рассказывал дальше, я не помню. Вероятно, подробности. Но запомнил заключительные слова этого разговора.

— ...Революция на пороге!

И помню, как, возвращаясь из кинематографа, я толковал отцу, что первым делом скину папаху. И, конечно, перестану носить гимназический мундир. Ведь можно будет сбросить форму? Кажется, отец, занятый своими мыслями, не ответил мне ничего определенного, но я мечтал именно об этом: в первый же день революции расстаться с мундиром, с шинелью, с папахой и ходить в кепке, даже и зимой в кепке, в клетчатой кепке, пусть даже и с риском отморозить себе уши. И, конечно, если произойдет революция, то можно будет не ходить ни на молитву перед уроками, ни на субботние вечерни, ни на воскресные обедни, ни на исповедь, которая казалась мне самой унизительной из всех церковных церемоний. Не ходить на исповедь! Только бы началась революция!

И она действительно началась весной. Подробности опять-таки выпадают из памяти. Помню только беспокойство в доме: вечером ушел и не возвратился ночью старший брат; оказалось, что старшеклассники участвовали в аресте генерал-губернатора Сухомлинова. Вслед за тем помню демонстрации в шалые весенние дни, колыхание красных знамен над казавшимся мне ароматным и похожим на смесь шоколадного и сливочного мороженого снегом омских улиц. И вспоминаю, уже самой поздней весной или в начале лета, какой-то митинг перед генерал-губернаторским дворцом, когда я толкался в толпе и пытался разъяснить каким-то людям разницу между монархизмом и анархизмом, в пользу последнего. А затем вспоминается уже осень, Октябрь, олицетворившийся для меня в образах смутных и противоречивых: генерал-губернаторский дворец, превратившийся в Совдеп; его деятели Лобков, Звездов и, кажется, Косарев, убеждающие служивую интеллигенцию прекратить саботаж; кадеты, оказавшиеся вовсе не маленькими кадетами из кадетского корпуса, парнишками, которые ходили теперь со споротыми погонами, а большими кадетами, разными присяжными поверенными, ядовито рассуждавшими о «декретинизме Советской власти»; и разные молодые и старые люди, оказывающиеся на поверку не просто студентами, ремесленниками, служащими, но меньшевиками, эсерами, причем то левыми, то правыми, в чем я по молодости лет не умел детально разобраться. Впрочем, я думаю, что многие из них не могли сразу разобраться и сами. А что каса-

ется нас, ребят, я помню, например, такую дискуссию на заднем дворе дома Вальса, где я жил с родителями в то время. Сошлись два гимназиста — я и Борис Жезлов, один реалист, то есть ученик реального училища, и другой — из городского. Разговор шел о «Марсельезе». И Борис Жезлов сказал, что теперь, при Советской власти, можно петь наконец правильный, утаиваемый раньше текст, а именно: «Вставай, подымайся, рабочий народ, берите дубинки и бейте господ!» Тотчас же заспорили, так ли это и, вообще, следует ли теперь петь «Марсельезу», когда уже поют «Интернационал», и какие правильные слова в «Интернационале». Они спорили, и, кажется, даже дело дошло до драки, но я участия в ней не принял, а решил узнать точно, о чем вещают рыдания «Марсельезы». И несколько позднее я даже перевел ее начало: «Вперед, сыны отчизны, в бой, ударил славы час! Тираны стяг кровавый свой вздымают против нас. К оружию, земляки, в гражданские полки! Пусть мерзопакостная кровь омоет нам штыки».

Это было, насколько помню, первой моей попыткой перевода с иностранных языков. Вообще я знал много больше этих ребят, я хранил, например, номер «Нового Сатирикона», где было напечатано замечательное, но не известное, конечно, никому из них стихотворение Маяковского: «Я, осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцый, толпою голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год». И тогда, когда все это и произошло, слушая споры ребят и взрослых, видя красный флаг Совдепа над бывшим генерал-губернаторским дворцом, слоняясь по усыпанному подсолнечной шелухой Любинскому проспекту, видя мелькание френчей и галифе у кафе «Дима» возле Железного моста, я повторял про себя эти строки: «Вы думаете — это солнце нежненько треплет по щечке кафе? Это опять расстреливать мятежников грядет генерал Галифе!»

Нет, я вовсе не хочу более чем полвека спустя изображать себя неким двенадцатилетним пророком: мол, я знал все наперед. Просто констатирую факт: с лета 1917 года я знал и восторженно повторял эти стихи Маяковского, и повторял их именно у кафе, омского кафе под названием «Дима», где мельтешились именно галифе, офицер-

ские галифе,— может быть, именно потому я и повторял про себя эти строки у Железного моста, по которому вскорости и проехал не генерал Галифе, но адмирал Колчак. Конечно, я не предвидел всего этого, но глядя на окружавшую меня довольно-таки вихревую действительность, я бормотал в упоении:

Выньте, гулящие, руки из брюк —
Берите камень, нож или бомбу,
А если у которого нету рук —
Пришел чтоб и бился лбом бы!

И если вдумчивый читатель этих строк спросит у меня, на чьей же стороне был я, двенадцатилетний мальчик, читатель книг и рисователь картинок, я бы все-таки ответил так: я, освобожденный 1917 годом от мундирчика и папахи, от молитв, исповедей и причастий, более всего не хотел возвращения всего этого и более всего наслаждался свободой делать то, что мне хочется: гулять где хочется, читать что хочется и не быть под опекой — о нет, не родительской, я ее никогда не ощущал и ею не тяготился,— но под опекою гимназического начальства, под опекою педагогов, хотя и она была не тяжелой, но, как мне казалось, могла бы при неблагоприятном ходе событий стать тяжелой и невыносимой. Я как-то смутно, но соображал, что, если все вдруг повернется назад, если наступит реакция,— я знал это слово,— вот тогда будет худо. Ведь как-никак я к тому времени прочел не только стихи Маяковского, но и «Бурсу» Помяловского, и «Мелкого беса» Федора Сологуба, и множество других сочинений всякого рода. И мои добрые педагоги даже и не подозревали моих мрачных мыслей, не ведали, каких печальных вещей я ожидал в случае реакции! Впрочем, им было не до меня. Я думаю, они с такой же тревогой следили за тем, как развертываются события.

А события развернулись известно как. Вслед за зимой семнадцатого настало лето восемнадцатого года. Неясные слухи о чешских легионерах сменились однажды глухой канонадой за Иртышом. Конечно, правильнее было бы сказать так: неясные для меня слухи о чешских легионерах и так далее. Для деятелей Совдепа все было гораздо яснее... Словом, это был Марьяновский бой. Омские красногвардейцы не смогли приостановить продвижения чешских легионеров, Совдеп ушел на пароходах вниз по Ир-

тышу... Все это неоднократно описано и стало достоянием истории, а я пишу о том, что помнится мне, бывшему тогда как-никак всего только двенадцатилетним мальчиком. Помнится же мне ясно лишь одно: через час-другой после того, как пароходные пристани опустели и в городе, казалось, воцарилось безвластие, мы с матерью и, кажется, с Еленой Станиславовной Жезловой, матерью Бориса Жезлова, зачем-то пошли по направлению к Казачьему базару. Может быть, мы пошли, чтоб встретить отца, ушедшего, как обычно на работу, на какую-то стройку,— я не помню. Казачий базар был пуст. И вдруг с площадки, где обычно торговали мукой и крупами, взметнулась ввысь стая птиц, мне почему-то показалось — гусей или уток, но это были голуби, и одновременно раздался треск как бы ломаемого забора. Стало ясно: это стрельба. Мы укрылись на крыльце учительской семинарии, но стрельба не повторилась; вероятно, она была для острастки, а со стороны Казачьего сада появились чехи, озирающиеся, как будто они зашли не в ту сторону, и улыбающиеся, будто ища сочувствия и поддержки. Они быстро прошли мимо, видимо, к почте и телеграфу, а птицы слетелись снова на пустой Казачий базар...

Дальнейшие мои наблюдения за развитием событий, превращавших Омск в столицу контрреволюционных сил, были прерваны,— вернее, казалось, что были прерваны появлением семипалатинского дяди Димитрия. Братья моего отца, Андрей и Димитрий, мирные семипалатинские мещане, наследники прадедовского мартын-лощилинского «потерянного рая» и дедовского постоялого двора, были во время германской войны призваны и служили в Омске вроде как каптенармусами в запасных частях. Будучи демобилизованными в семнадцатом, они возвратились к себе домой. И вот дядя Димитрий, чудак и мечтатель, ухитрявшийся и в дни своей военной службы порыбачить по воскресеньям на Иртыше, явился летом восемнадцатого в Омск для того, чтобы, как он говорил, посоветоваться с моим отцом насчет дальнейших планов жизни. Как быть? Чем все это пахнет? За что браться? Уж не сделаться ли монахом, чтоб уйти от сует мира сего? Есть, мол, у них под Семипалатинском такой хороший монастырь — Святой Ключ. Не знаю, что ответил ему мой отец, бесконечно далекий от своих семипалатинских родичей. Но помню, что дядя Димитрий, мечтая о монашестве,

не забывал и о делах мирских — ходил на рынок, чего-то такое покупал, паковал и отправлял в Семипалатинск со знакомыми пароходскими капитанами. Собравшись домой, он сказал:

— Вот что я надумал, Леонид! Поедем-ка со мной, посмотришь, что за красота Иртыш в верховьях. У нас отдохнешь.

Я согласился. Не возражали и родители. И вот мы с дядей Димитрием поплыли в Семипалатинск.

Иртыш был действительно прекрасен. Мы ехали третьим классом. Дядя блаженно отсыпался после недавней солдатчины, а я облюбовал себе место на носу парохода у самого бушприта, где и познакомился на другой же день с другим созерцателем водной глади. Этот человек, тоже, как и дядя, демобилизованный военный, но в поношенной солдатской шинели и офицерской фуражке, показался мне почти пожилым, хотя, как теперь соображаю, ему было никак не больше тридцати, а то и меньше. Я не помню, как его звали, но фамилию его запомнил — Гусев. В разговоре мы как-то добрались с ним до Шопенгауэра; видимо, все-таки дело началось с Джека Лондона: пароход, корабль, море, Морской волк, его ницшеанство — отсюда и Шопенгауэр. Словом, Гусев, демобилизованный интеллигент, скорее всего, студент, не ждал ничего хорошего от современной ему действительности с ее чешскими легионерами, эсерами, сибоблдумами, комучами, директориями, спекулянтами, наркоманами, казачьими атаманами и стремился куда-то в дебри Алтая, может быть, к староверам, искателям Беловодья — была речь и о них,— может быть, к партизанам, но, во всяком случае, подальше от всего, что творилось вокруг. А может быть, он просто ехал домой, к родителям. Но, во всяком случае, обнаружив во мне некоторую начитанность, он успел в доступной для моего незрелого ума форме изложить мне начала философии от древних греков до Льва Толстого. Распростившись с ним в Семипалатинске — он ехал до Усть-Каменогорска,— я вышел на берег, обуреваемый самыми высокими мыслями, с коими и вступил в дом прародителей по отцу.

Семипалатинск поразил меня своей песчано-мертвенной пустынностью. Сколь провинциальным и глухим я ни представлял себе этот город по рассказам мамы и отца, но все же я не ожидал, что город может быть столь без-

жизненным и глухим. Казалось, что в нем и не произошло никакой революции, да и не может произойти никогда. На большом дворе моих прародителей, как на внутреннем дворике какой-то древнедревесной микрокрепости, стояли, глядя окошечками друг на друга, три жилища. В одном из них обитала семья дяди Андрея; в другом, с антресолью, жил молодой дядя Павел, кажется, автомобильный механик, с супругой своей Евстолией, молодой женщиной, одетой более или менее нестарообразно; и, наконец, в третьем жилище — дядя Димитрий с женой, дочерью и двумя сыновьями. Старший из них, Александр, мой ровесник, взял меня под свое покровительство. Он, кажется, тоже был гимназистом, и я сразу же скажу о нем все, что знаю: он был хорошим парнем, сумел впоследствии поступить в Томский университет, но не закончил его, а волею обстоятельств стал бухгалтером в Москве; во время Великой Отечественной войны он пал смертью храбрых в ополчении. Таков был Александр, мой двоюродный брат.

— Пойдем купаться на Иртыш,— предложил мне Александр.

И мы действительно пошли, сначала по пыльной улице, а затем через какие-то пустыри, казавшиеся мне аравийскими пустынями.

— А вон там дом попа Герасимова, который — по Достоевскому. Знаешь? — сказал Александр, показывая вдаль. И это как-то сразу сблизило меня с двоюродным братом; ведь и он все-таки слыхал о Достоевском! После купания мы ели шашлык на ивовых прутиках у костра прибрежного татарина-шашлычника, и Александр показывал мне и на татарскую часть Семипалатинска, и на заречный казахский городок Жана-Семей, или, по-новому, Алаш, и я вовсе не задумывался, почему заречный городок называется по-новому, и что такое Алаш, и что такое Алаш-Орда,— об этом я узнал много позже, а тогда мы возвращались по пустынной главной улице Семипалатинска, и моему легкомысленному двоюродному брату и в голову не приходило рассказывать, а мне спрашивать, почему город так глух и пуст и что здесь было несколько месяцев назад — ведь и в Семипалатинске тоже была Февральская революция, а потом был Совдеп, а потом расстреливали красных... Как бы то ни было, но я не помню,

чтоб мы беседовали о чем-либо в этом роде, возвращаясь с Иртыша.

Жить меня устроили в комнатке Александра.

А на следующее утро Александр куда-то скрылся, а дядя мой Димитрий сказал:

— Ну, Леонид, пойдем на базар, покажу я тебе сюрприз.

Базар был неподалеку, пыльный, пустынный, обстроенный маленькими ларьками-лавчонками, с огромными весами посередине площади. К одной из этих дрянных лавчонок и привел меня дядя Димитрий.

— Вот тебе и сюрприз! — сказал он, открывая ключом висячий замок.— А сюрприз в том, что я решил заняться торговлей!

Лавчонка была как лавчонка, темная, разделенная на два помещеньица: одно собственно торговое, с прилавком и полками, а другое — кладовка. Вот на эту-то кладовку и указал дядя.

— Смотри! — сказал он.— Мы сделаем дело! Знаешь, что я сходно купил в вашем Омске? Спички! Только подмоченные, потому и дешево. Теперь надо проверить товар, отделить доброкачественное от порченого, разложить по коробкам аккуратно и продать все с некоторой выгодой. Ты что морщишься? Неохота?

— Я поеду домой! — сказал я. Это единственное, что я мог вымолвить в ответ.

— Ну, что ты, что ты! Сейчас и домой! Я же тебя не заставляю! — растерянно промолвил дядя.— Нет, уж ты сперва погости, отдохни малость. Ну, иди, иди отсюда, раз тебе не нравится. Вот ведь беда!

Что он говорил дальше, я уж не слышал. Ошеломленный и возмущенный, я покинул базарную площадь. Мне не хотелось возвращаться и в дом праотцев, но выбора не было, отправиться на ночь глядя на пристань, ждать там парохода я не решился.

Вернувшись, я рассказал, как все было, Александру. Но особенного впечатления мой рассказ на него не произвел. Он сказал, что отец его — известный чудак и мечта его о торговле такая же глупая, как мечта заняться бахчеводством, что и подтвердилось довольно скоро.

...Улечься спать нам удалось не сразу. Кто-то яростно забарабанил в ворота, и, когда их открыли, во двор въехал всадник. Он что-то закричал, ему что-то ответили испуган-

ными голосами, и наконец он с возгласом: «Ну вас всех к черту! Все равно найдем, реквизируем!» — выехал прочь со двора.

Кто это был? Из сбивчивых рассказов моих дядей и теток я понял, что это был казачий есаул, прослышавший, будто дядя Димитрий занялся торговлей и ездил за товарами в Омск. Вот он и приехал требовать поставки уздечек и сбруй. Ему было сказано, что это не по их части, а вот если угодно, то есть спички. Тогда он и ускакал, разгневанный, оставив дядю моего в состоянии полной растерянности и дурных предчувствий.

Не вовремя решил заняться торговлей мой дядя Димитрий! Но это было только началом его дальнейших безумств. Не стал он ни торговцем, ни монахом, но в двадцатых годах объявил себя воинствующим безбожником, а затем, очутившись уже почему-то в Красноярске, каялся в своем безбожии с колокольни всему честному народу, был оттуда снят и доставлен на излечение в психиатрическую больницу. А когда сын его Александр, не доучившись на медицинском факультете в Томске, стал бухгалтером и переехал в Москву, то и дядя Димитрий оказался в Москве, где стал работать инспектором в тресте канализации, и честно проработал там до самой войны. После гибели Александра под Москвой дядя Димитрий был эвакуирован, кажется, в Казань, где и скончался в каком-то приюте для престарелых.

Так приблизительно мне рассказывал после войны Павел, сын второго моего дяди — Андрея, военный хирург. А я, глядя на этого солидного, интеллигентного полковника, или подполковника, медицинской службы, пытался узнать в нем того флегматичного толстого мальчика, не попрощавшись с которым я когда-то удрал из страшного Семипалатинска, где меня хотели заставить торговать подмоченными спичками.

Я уехал на ближайшем пароходе. Через четыре дня плавания по извилинам мелеющего Иртыша я был в Омске. Мама, открывшая мне дверь, не сразу узнала меня: «Как ты вытянулся, как похудел!» Она утверждала, что произошло невероятное: из толстого мальчика я превратился в долговязого подростка, став совсем другим.

Но стал совсем другим и город, в который я возвратился, город, которому было суждено все более и более фантасмагорически менять свой энциклопедический облик.

Теперь этот город превращался в столицу контрреволюционных сил. Он переполнялся военными, он переполнялся беженцами с Поволжья — беглецами от Советской власти. Он обрастал все новыми и новыми пригородами, Линиями и Северными улицами, Сахалинами, Порт-Артурами, а в центре над ним поднялась высоченная мачта радиотелеграфа, под сенью которой множились бесчисленные кабачки и магазинчики. Но главное, что меня поразило,— это заунывно-лихие песни, звучавшие с утра до ночи на пыльных, немощеных улицах города, в крепости и пригородных казармах. Рота за ротой шли солдаты.

Ты обвей мое белое тело
Тонким, чистым полотном,
Ты засыпь мою гроб-могилу
С гор мелким, желтым песком,—

пели одни.

Как во нашей деревеньке, иха-иха-ха,
Молодая девчоненька сына родила,—

пели идущие за ними.

Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары,—

пели идущие следом, никакие не черные гусары, а унылые пехотинцы, явно из мобилизованных совсем недавно бедолаг.

Мобилизация! Вот то страшное слово, которое довлело над городом и его окрестностями. Генерал Галифе в образе адмирала Колчака, засевшего в особняке богачей Батюшкиных на Иртышской набережной, замышлял поход на Москву. У нашего соседа, гуртоправа Егнятова, сын Павел был уже убит под Егоршиным на Урале. Кто посостоятельней, старались отправить детей в Харбин, в Шанхай, а то и в Японию. По встревоженным лицам отца и матери я чувствовал, что им очень не по себе. Мобилизация грозила не столько отцу — он техник, как строил новые казармы в старой крепости во время германской войны, так и продолжал строить их теперь, ему было уже сорок пять лет,— сколько брату, которому было девятнадцать. Поэтому ему надо было устраиваться куда-то на службу. Когда я спросил брата, что он намерен делать, он ответил мне коротко и досадливо:

— Отвяжись!

Отец же на какие-то мои политические вопросы ответил приблизительно так:

— Ты вот что, не задумывайся, пока учись себе; прошлый год ничему не учились, митинговали, может быть, в этом году будет лучше, я говорил с Шефальдой, он надеется, что вся эта музыка не отразится на школьных занятиях.

Шефальда, обрусевший чех, математик, служивший еще до революции инспектором нашей гимназии, а затем, после семнадцатого года, директором, был человеком порядочным и интеллигентным. Он страдал тиком, и старшеклассники шутили, что на лице у него пляшет свою пляску святого Витта весь знаменитый Пражский собор. Я не знаю, как Шефальда относился к своим соплеменникам, чешским легионерам, наводнившим город Омск, но прекрасно помню его отношение к некоему колчаковцу, появившемуся у нас в гимназии.

Это был педагог, бежавший от большевиков из Поволжья, он хотел внести в наше учебное заведение дух елейности и чинопочитания, но сразу же внес в нас дух противоречия. У ребят было чутье. Мы презирали его. Он ненавидел нас. Он начал искать крамолу и в поисках ее придумал такой маневр. Мы занимались тогда по вечерам в доме страхового общества «Саламандра». Педагог-реакционер принес и как бы невзначай оставил на столе той комнаты, где мы занимались, три бутылки с пивом — ясно, чтоб затем вернуться и застать нас пьянствующими, но мы были сообразительными мальчиками, вылили пиво в уборную, наполнили бутылки тем, что сливается в унитаз, и поставили их на место как раз за минуту перед тем, как учитель-провокатор возвратился в сопровождении скорбно гримасничавшего Шефальды.

— Господа,— сказал Шефальда, ознакомившись с содержанием бутылок,— кто захотел угостить вас этим пойлом? — И, обернувшись к шпиону, добавил: — Это вы хотели мне показать?

Вообще наши учителя вели себя очень достойно. Не говоря уже о таких славных людях, как руководитель научно-литературного кружка Образцов, физик Вартминский, географ Сутормин, но даже законоучитель Орлов, черный и бородатый, отнюдь не революционно настроенный, и тот, помню, задумчиво сказал мне как-то в самые мрачные дни колчаковщины:

— Я вижу, Мартынов, что ты не веруешь в бога. Но, может быть, это пройдет!

Сумрачный отец Орлов тогда не предполагал, что через два года сын его Сережа станет участником нашей футуристской банды. Но об этом я расскажу особо. А возвращаясь к рассказу об этой осени, я могу вспомнить одно — густую слякоть за окнами дома страхового общества «Саламандра», разбрызгиваемую солдатскими сапогами, гром пролеток и огни кабаков, когда вечером я возвращался из нашей бродячей, потерявшей свое здание гимназии.

Помню утро нового 1919 года. У нас не было даже елки. Из-за покрытого морозным узором окна я услышал необычайные звуки. По снежной улице шел строй каких-то закутанных и зябко ежащихся солдат. Это были мидлсексы полковника Уорда, шотландцы, что-то высвистывающие.

— «Далеко до Типперэри, далеко, расставаться с милой Мэри нелегко!» — объяснил мне криво усмехающийся брат.

А еще помню один морозный вечер, хотя, может быть, это было не после, а до Нового года. Во всяком случае, той же зимой. В дверь на кухню постучался человек, спросил отца. Они тихо поговорили о чем-то, а затем отец, оглядевшись, повел его через двор, под навес, к Вальсу, где была лестница на сеновал и чердак. Я тенью последовал за ними. Все это описано мною в поэме «Дом Вальса». Человек этот был, насколько я понимаю, комиссаром, бежавшим из тюрьмы во время куломзинского восстания. Вальсовский чердак оказался надежным укрытием; через какое-то время комиссар благополучно ушел из города.

Почему этот комиссар обратился за помощью к моему отцу, никакому не большевику, человеку сугубо беспартийному, как он сам себя любил называть? Может быть, тут было хорошее знакомство? Нет. Отец, как он говорил мне позже, был шапочно знаком с этим комиссаром, встречался раз-другой на постройке. Отец, я знаю это твердо, был очень поверхностно знаком с марксизмом. Например, он говорил мне совершенно всерьез:

— Ну что там эта хваленая «Нищета философии», вот, говорят, «Философия нищеты» — это книга поважнее. «Анти-Дюринг»?! Вот гораздо труднее достать самого Дюринга!

В общем, он, конечно, был прав: надо знать и то и другое, но он-то сам не читал ни Дюринга, ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Маркса, а политическим наставником его юношеских дней был, как и полагалось, Бокль. А как техник-строитель, он все время толковал мне о своей мечте купить Витрувия, и мне кажется, что до конца своей жизни он не имел никакого представления ни о Корбюзье, ни о Райте. И вот, несмотря на такую отцовскую научную и политическую отсталость, преследуемый колчаковцами комиссар пришел и доверился именно ему. И отец тихо и скромно упрятал большевика на вальсовский сеновал. Вот какими запомнившимися мне событиями и была чревата зима восемнадцатого — девятнадцатого годов.

А потом случился циклон. Кажется, это было в феврале. Однажды утром, после довольно снежной ночи, вдруг наступило резкое потепление, закапало с крыш, снег стал оседать и таять прямо на глазах. Я как раз чистил в это время тротуар около дома, когда вдруг неожиданно вернулась со службы из переселенческого управления мама, сказав, что служащих распустили, потому что приближается снежная буря. И эта буря пришла. В снежной мгле ломались деревья, валились заборы. Ураган длился весь вечер и всю ночь, и у меня было приятное чувство того, что, оказывается, есть такая сила, которая может заставить не высовывать носа на улицу даже самого Колчака, чей особняк засыпан сейчас до крыши снегами, налетевшими из-за Иртыша. И остановились все поезда, везущие войска на фронт, и скукорежились в своих казармах мидлсексы полковника Уорда, и чехи, и румыны, и французы, и японцы, и все остальные, кто пожаловал сюда.

Утром тонущий в сугробах город был тих и бледнорозов. А я написал, конечно, еще вчерне, первый вариант стихотворения, которое называлось «Циклон»:

А ночью громче флейт и тамбуринов
И барабанов громче стала тьма.
Так он пришел, трамваи опрокинув
И пошатнув публичные дома.

Трамваев в Омске не было; омский, заказанный в Бельгии перед войной, трамвай застрял в Архангельске. Но публичные дома на Госпитальной улице были...

Стихотворение в несколько измененном виде было напечатано года через два, уже в советской прессе.

3*

Бойскаутская шляпа

Разбирая старые-старые бумаги, нашел одно из своих первых, пятидесятидвухлетней давности, стихотворенье:

Розовая девушка в пуховом платке
Среди пустых бутылок дремлет в «Уголке».

Дальше не мог разобрать — карандашная запись выцвела и истерлась, но зато явственно вспомнилась вся нехитрая история соприкосновения моего со скаутизмом, вернее, история моего противодействия попыткам завербовать меня в бойскауты. Это началось, по крайней мере, за год до того, как я написал вышеприведенные стихи. Конечно, мне нравились широкополые баден-пауловские шляпы, но не улыбалась перспектива ходить в галстуке. Так я и сказал тому мальчику, который пригласил меня вступить в скауты.

— Вообще не терплю галстуков,— сказал я.

— Вот дурак! Это красиво! — ответил он.

— Красиво! А знаешь, откуда произошли галстуки? — возразил я.— Галстук изобрел каледонский каторжник. Он сорвался с виселицы и убежал за границу. С обрывком петли на шее. И для хвастовства раскрасил его в разные цвета и носил.

Скаута это задело. И, отходя от меня, он язвительно бросил:

— Спичка!

Так меня в те времена дразнили, не то за выдающуюся мою толщину (ирония: тонок, как спичка), не то за вспыльчивость, не то за действительное мое отвращение к запаху спичек: эта идиосинкразия была у меня с младенчества и осталась и ныне. И я, услышав это ненавистное для меня слово, только еще более укрепился в своем решении не вступать в скауты, потому что вспомнил и про обязанности скаутов уметь разжигать костер.

Но скауты не отставали. И вскоре другой мальчик уговорил меня пойти хотя бы просто так познакомиться с вожаком скаутского отряда, подростком, по его словам, весьма интересным, у которого есть замечательные коллекции не то бабочек, не то ящериц, потому что он живет за городом, в сельскохозяйственном училище, где преподает его отец.

И я соблазнился.

Путь наш лежал через весь город. Дело было в восемнадцатом, и город представлял собой черт знает что. Но я уже описывал в предыдущих главах этот степной Вавилон времен войны и революции. И упомяну сейчас лишь о том, что мы видели, отправившись в путь. Миновав толкучий Казачий базар, переполненный крестьянами, киргизами, поволжскими беженцами и чешскими легионерами, мы вышли через Казачий сад на Дворцовую к Железному мосту. Через мост как раз в этот момент под гиканье извозчиков и хохот пешеходов ехал футурист Шуазель. Я знал, что это за фрукт. Мама служила в Переселенческом управлении, где одно время подвизался и Шуазель. Этот эгофутурист, взявшийся неизвестно откуда, был принят из жалости Пал Палычем ОлеOKничем-Гнененко служить в Переселенческое управление писцом, но вскоре был изгнан оттуда за появление в кисейных штанах с кружевами. И вот теперь в шляпе с пером он ехал по Железному мосту на велосипеде, волоча за собой на веревке большую, пестро раскрашенную громыхающую жестянку. И, увидев этого скандалиста, я с грустью подумал, что вот он развлекается, как ему нравится, а я вот тащусь за город, чуть ли не записываться в бойскауты, чтоб, подчиняясь дисциплине, маршировать в ногу да еще и разжигать костры спичками. Но соблазн увидеть коллекцию ящериц все же манил меня.

Миновав Любинский проспект, мы по улице Капцевича вышли на северную окраину города, где, по моему убеждению, кончался степной край и начиналась Сибирь. Дело в том, что южными своими окраинами Омск уходил в казахскую — полынную, ковыльную и солончаковую — степь, а окраинами северными смотрел уже на сибирский лес, на татарские урманы. Собственно, там, где мы шли, не было еще никакого урмана, он начинался в верстах пятнадцати, у села Чернолучье, а наша дорога лежала через питомник, лесные посадки, уходящие за холмы, к захудалой казачьей станице Захламине, столь унылой и неряшливой, что казалось — она получила свое название не из-за холмов, а из-за хлама. Среди кустарников мелькали какие-то собирательницы хвороста, в канавах у дороги копошились то ли городские, то ли деревенские мальчишки, копатели червей для рыбалки — поблизости, на Иртыше, у пустого затона, пароходы из которого были уве-

дены отступавшими из города вниз по реке красными. Это произошло в конце весны, теперь была середина лета, не видно было ни красных, ни белых, царила тишина, но и она казалась подозрительной, и сама природа дышала эхом тревожных событий, пыльное марево переполненного толпами города немо, но явственно потрясло небеса над нашей дорогой.

Сельскохозяйственное училище, то, которое впоследствии, при окончательном становлении Советской власти, переросло в Сибаку, то есть в Сельскохозяйственную академию, в известнейший институт, представляло собой в те времена, как мне вспоминается, довольно солидное, вроде как бетонное здание, но чуть ли не в русском стиле. И вот из этого здания, со второго его этажа, навстречу нам и вышел очень скромный, очень тихий мальчик с умным лицом. Он, видимо, был предупрежден и знал, зачем мы пришли. Взглянув на меня с каким-то пытливым безразличием, он тихим и ровным голосом начал перечислять мне обязанности скаутов. Я слушал его внимательно, ища, к чему бы придраться, то есть что можно найти для себя неприемлемым, чтоб честно ответить: нет, это не по мне. Ведь все-таки мы наиболее непосредственны и прямодушны именно в детстве и отрочестве. И наконец в размеренной речи этого подростка я уловил то, что мне нужно. Он упомянул о необходимости знать и читать наизусть молитву скаутов.

— Нет! — воскликнул я.— Я не вступлю в скауты.

Вспоминая теперь этот свой возглас, я стараюсь точно определить, что именно заставило меня ответить так. Конечно, это не был принципиальный отказ убежденного атеиста. Скорее это относилось к борьбе за обретенные и утерянные гражданские свободы, в данном случае, за свободу убеждений, приобретенную и нами, гимназистами-младшеклассниками, за короткое время после Октябрьского переворота. До тех пор пока в свете последующих событий торжествующий законоучитель отец Орлов не вернулся к выполнению своих обязанностей. И я не знаю, дошла ли логика моего отказа до сознания юного скаутмастера, но только он улыбнулся, потом махнул рукой, рассмеялся и протянул мне руку, как бы на прощанье. Обменявшись церемонным рукопожатием, мы расстались.

Вскоре я услышал, что вышел из скаутов и он, надевший, подобно многим ребятам, скаутскую шляпу еще до

революции. И вообще мне казалось, что разумные мальчики и девочки должны быть выше всего этого и что для меня лично с этим вопросом о скаутизме покончено и ни с какими скаутами я больше не стану встречаться пусть даже и для того, чтобы вести с ними дискуссии о тех или иных неприглядных мне атрибутах скаутизма.

Однако вышло не совсем так.

Прошел год. За это время я порядочно возмужал, прочел много книг, испытал много приключений, съездил в Семипалатинск, где попал в известную моим читателям историю с ненавистными мне спичками, встречался с разными людьми, о многих из которых будет рассказано ниже, и в том числе о том, как я впервые увидел Всеволода Иванова, который под фамилией Тараканова вступил в полемику не с каким-нибудь чудаком Шуазелем, а с настоящим матерым футуристом, заезжим Давидом Бурлюком, на диспуте в Техническом училище.

Словом, в описываемый период я неожиданно для себя и для других превратился из толстого мальчика в высокого, тощего подростка, занятого, под шум политических событий, не только чтением книг, но и писанием стихов.

Летом девятнадцатого года я и сочинил то самое стихотворение, которым я начал эту главу,— о девушке в пуховом платке, среди пустых бутылок дремлющей в «Уголке».

Этот «Уголок» возник в садике между велосипедной мастерской Верниковских и усадьбою Капустинских, как раз напротив нашего дома. Раньше этот садик пустовал за высоким забором, через который я не однажды лазил в детстве, то закинув в садик мяч, то просто так. А теперь в заборе зияла дверь, и через эту дверь, над которой красовалась вывеска «Уголок», была смутно видна в глубине садика за буфетной стойкой та девушка, которую я воспел.

Почему я ее воспел, мне объяснить трудно. Воспел — и все. По близорукости я даже не мог различить, блондинка она или брюнетка, а по стеснительности я еще ни разу не проникал в этот самый «Уголок», а заглядывал в него только издали. Так было и на сей раз, я стоял у нашей калитки и смотрел через дорогу на «Уголок».

И вот тогда из-за угла Варламовской улицы и вышел тот самый скаут, Игорь или Олег, я точно не помню, как его звали, но одно из двух: или Игорем, или Олегом. Это был уж не подросток, а скорее юноша, красивый и строй-

ный и на меня до сих пор не обращавший никакого внимания. Я думал, что он и теперь пройдет мимо. Но на этот раз, увидев меня, он остановился и сказал:

— Здравствуй! Я знаю, ты тут живешь. Не могу ли я оставить у тебя на время мою шляпу?

— А зачем? — спросил я недоверчиво, подозревая подвох.

— Зачем? — И тут он указал на «Уголок».— Затем, что там у меня встреча, свидание друзей, понимаешь, а в шляпе туда неудобно, мало ли что может быть, могут сказать, что бойскауту неприлично заходить в кабак! Что? Тебе обидно, что я прошу сохранить шляпу? Ну, спрячь шляпу, и пойдем вместе... Ты пьешь зубровку? Пошли!

И я согласился. Мне хотелось не столько зубровки, сколько посмотреть на воспетую мною девушку. Словом, я забежал домой, закинул его шляпу, и мы очутились в «Уголке». Там за столиком действительно сидели двое юнцов в приличных штатских костюмчиках. Юнцы закричали, что они заждались, что им уже пора, и, не слушая объяснений Игоря, или Олега, почему он опоздал и кто такой я, закричали, что надо выпить на прощанье.

— Мадемуазель, еще две рюмки! — воскликнул один.

— Возьмите, пожалуйста, сами,— равнодушно ответила девушка из-за стойки.

Я сидел, опустив глаза, одолела робость не перед этими ребятами, а перед девушкой за стойкой.

— Споем на прощанье! — воскликнул другой юноша и затянул:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы блистали,
И горек был ветер морской.

— «И горек был ветер морской!» — подхватили остальные.

— Пожалуйста, прекратите пенье,— произнесла девушка за стойкой и зевнула.

Тогда мы все поднялись, юнцы расплатились, мы вышли за ворота «Уголка», друзья Олега-Игоря, почти не обращая на меня внимания, распростились с ним, и мы остались одни на Никольском проспекте.

— Сейчас я принесу тебе шляпу,— сказал я.

Вернувшись со шляпой, я увидел, что Олег-Игорь по-

нуро сидит на лавочке у ворот. И тут мне захотелось сказать ему что-нибудь приятное.

— Вы пели песенку Вертинского на слова Теффи,— сказал я.

— Какого Теффи?

— Теффи не он, а она,— сказал я.— Известная юмористка, автор книги «Ничего подобного». Вы не читали? А еще у Вертинского есть песня «В голубой далекой спаленке» на слова Блока.

— А вы знаете Блока? — перейдя тоже на «вы», пробормотал он.

— Я знаю разное,— сказал я,— не только Блока, но и Брюсова, и Бальмонта, и Белого, и Балтрушайтиса, и Бурлюков, всех троих,— и Давида, и Николая, и Владимира.

— Да,— сказал Олег-Игорь,— Давид Бурлюк ясно, что удирает от всей этой чертовщины на Дальний Восток. Наскреб деньжищ с дураков лекциями и поехал. Вот и этих ребят их мамаши увозят в Харбин. Они завтра туда! А я? А я на фронт! Понимаешь?

Я слушал его молча.

— Понимаешь? — повторил он.— Они тоже дали было согласие, но их папы-мамы всполошились, и раз-два — и в Харбин. Вот тебе и торжественное обещание, вот тебе и патриотический долг! «Ты скаут, ты должен!» Поезжай с листовками, помогай вот так бороться с большевизмом... А некоторых скаутов,— добавил он, помолчав,— уполномочивают переходить даже через фронт. Понимаешь!

Я молчал.

— Ты бы не хотел? Страшно? А? — спросил он.

Я продолжал молчать.

— А ведь можно и так,— тихо сказал он,— перейти через фронт, да и не вернуться.

И тут я понял, что задушевная беседа заходит слишком далеко. И может быть, недаром я ожидал подвоха. Так и есть: провокатор, контрразведчик. И, охваченный злобой, но тем не менее не теряя самообладания и прекрасно сознавая мудрость того, что я делаю, я показал ему кукиш.

Олег-Игорь усмехнулся и встал. Мне показалось, что он хочет меня ударить. Но он пошел прочь, тяжело, не как юноша, а как старик. И я до сих пор не знаю: может

быть, со стороны этого бойскаута и не было никакого подвоха. Почему, в конце концов, я, не глупый и начитанный мальчик, не мог вызвать к себе человеческого доверия?

Четвертое измерение

Роясь в книгах, я заглянул в пожелтевший от времени томик С. Г. Хинтона «Четвертое измерение» и вспомнил вдруг о том, что произошло пятьдесят три года тому назад.

Более чем полвека я не вспоминал об этом, пожалуй, ни разу и, во всяком случае, никому не рассказывал. В стихах, очерках, интервью и новеллах я поведал, вообще говоря, немало о своих детских и отроческих проникновениях в мир книг, которые даже снились мне в прекрасных снах, будто бы, кроме существующих, я нахожу все новые и новые дьявольски любопытные книжки.

Но самое фантасмагорическое книжное сновище я увидел все-таки не во сне, а наяву, и это было именно то, о котором пойдет речь ниже.

Неподалеку от нового книжного магазина Марковитиной, на другом углу того же квартала, был более старый и скромный книжный магазин Александрова. В том бревенчатом доме, на чьем верхнем этаже впоследствии уже, при Советской власти, был кабинет зубного врача Пераха, который, кстати, был большим любителем литературы и, в частности, ценителем моих первых творческих опусов. Но это было позднее, а в те времена, о коих пойдет речь, в доме этом выделялся лишь владелец книжного магазина, тот самый Александров, который не обращал на меня никакого внимания, что по малолетству моему было вполне понятно и закономерно.

И вот как раз именно в этом книжном магазине близ пристанской площади, где сооружалась то ли французами, то ли англичанами гигантская мачта радиотелеграфа, в дни, когда Омск стал колчаковской столицей, а поступление литературы из Москвы и Петрограда, естественно, прекратилось и книжные полки заметно опустели,— как раз именно в эти дни ранней весны 1919 года, тотчас у прилавка книжного магазина, я и услышал:

— Если интересуетесь действительно интересными книжками, подымитесь на верхний этаж.

Это было сказано не мне, гимназисту, а какому-то взрослому покупателю. Но если взрослый покупатель воспринял это довольно спокойно, то для меня это прозвучало, как голос из мира моих снов, снов о существовании несуществующих книжных базарных лавчонок. То есть я никак и никогда не предполагал, что над магазином существует и еще какой-то магазин, полный к тому же действительно интересными книжками. Сны мои как бы готовились сбыться.

— Да, да, там происходит распродажа частного собрания! — услышал я, уже поднимаясь по скрипучей лестнице вверх.

Дверь оказалась приоткрытой. Комната, в которую я вошел, была обставлена с убогой роскошью, характерной для обывательских квартир дореволюционного Омска. Но на потертом диване, и в старых креслах, и даже на подоконниках лежали и как бы даже сидели книги. Да, это было именно так! Приглядевшись, я увидел: на диване лежали Мирра Лохвицкая, Любовь Столица и еще кто-то, кого я не разглядел, потому что перевел взор на подоконник, на котором стояли Иоганнес Иенсен и Жорж Роденбах в знакомых мне зеленых переплетах, а рядом непереплетенный Метерлинк в синих обложках с мистическими девами. На большом обеденном столе посередине комнаты я увидел лежащих рядом А. Рославлева и С. Кречетова. Эти последние меня не заинтересовали — такого добра на любом прилавке всегда хватало. Не привлекли моего внимания и томики Фофанова и Минского — натурально, я искал Блока, Ахматову, Северянина, Гумилева, Маяковского, но ими тут что-то не пахло. Зато бросился мне в глаза плотно сидящий в кресле толстый Форель — «Половой вопрос». Впрочем, он не вызвал у меня особенного интереса к себе. «Вспомнит толпа о половом вопросе, дальше больше оскудеет ум ее»,— мелькнуло у меня в памяти, и я перевел глаза на других гостей этой убогой провинциальной светлицы.

Но тут тихими шагами ко мне приблизился хозяин книжных сокровищ. Как сейчас вижу я его осанку, цвет лица и глаз, пробор, аккуратные усики и бородку клинышком, синий костюм, корректную манеру держаться. Но все эти зрительные впечатления как-то заслоняют то, что

именно им говорилось, а я хочу, будучи предельно точным, и не вводить в свое повествование лишнего диалога и, так сказать, ни в малейшей мере не фантазировать, не беллетризировать этого повествования о действительном случае. Словом, насколько мне помнится, этот господин, несомненно интеллигентный, спросил меня мягко, что мне угодно, и если, например, учебников, то их нет. Но, как бы вспомнив, он порылся в книжной груде и, протянув мне книгу, сказал, что если я интересуюсь математикой, то вот!.. Хотя, впрочем, это математика высшая и скорее для студентов. И, чуть поклонившись, отошел, оставив меня с книгой в руках.

Он занялся другим покупателем, а я смотрел книгу, это была книга Хинтона «Четвертое измерение и эра новой мысли с восьмьюдесятью восьмью рисунками».

«...Четырехмерное пространство. Аналогия с миром плоскости,— читал я по оглавлению.— Вторая глава истории четырехмерного пространства. Лобачевский, Больяй, Гаусс. Метагеометрия. Высший мир. О воспитании воображения»,— читал я дальше.

Посмотрев чертежи, мне непонятные, я заглянул в конец книги, где издательство «Новый человек» рекламировало другие свои издания. Да, тут, кажется, было кое-что поинтересней: «Как сделаться йогом»; «Йог Рамачараха»; Валентин Горянский, «Крылом по земле». Этого поэта, которого известная часть публики предпочитала и даже противопоставляла Маяковскому, я прекрасно знал по «Новому Сатирикону». Рядом с рекламой о книжке «Новые дома» (о постройке кооперативных домов со взносом всего десяти процентов стоимости квартиры при посредстве Общества взаимного кредита) рекламировалась книга «Дуэльный кодекс» — «изящное издание в переплете», а вслед за ней — «Книжка о жизни после смерти» профессора Фехтера, отца психофизики. Но больше заинтересовала меня реклама книги доктора Бекка «Космическое сознанье». «Автор считает настоящую форму человеческого сознания переходной, предвидит близкое наступление новой фазы в истории человечества»,— читал я и в то же время прислушивался к тихому разговору книгопродавца со взрослым покупателем. Смысл этой беседы сводился к тому, что покупатель изумлялся, как владетелю книг удалось в такое время провезти чуть ли не вагон литературы, а обладатель ее говорил в ответ, что вагон не вагон,

но порядочно, и что это было действительно трудно и связано с издержками, и, конечно, мало кто понимает ценность — он как бы подчеркнул это слово «ценность» — книг!

И, услышав это слово «ценность» и вспомнив при этом, что у меня в кармане лишь какая-то мелочь, я ощутил потребность положить «Четвертое измерение» на место и тихо и незаметно удалиться.

Но в тот же день и назавтра я кое-что предпринял. Я продал одному приятелю несколько томиков «Золотой библиотеки», в том числе и вышедшую в этой серии «Алису в стране чудес», о чем и до сих пор сожалею, ибо, например, романс «Вечерний суп, вечерний суп, тебя варили мне из круп! Когда я был и мал и глуп, я так любил тебя, о суп!» звучал в этом издании лучше всех других позднейших попыток передать дух льюис-кэрролловского подлинника! Вслед за тем я наскреб еще кое-каких деньжат путем продажи карманного электрического фонаря, велосипедных ключей и покрышек, и, раздобывши нужную сумму, я вновь поднялся на верхний этаж александровского магазинчика.

Распродаватель своего собрания книг встретил меня не менее благосклонно, чем и в первый раз. Но я все же смущался. И от смущения как бы невзначай вынул из кармана деньги и, как бы подсчитав их, сунул обратно в карман.

— Выбирайте, выбирайте! — сказал книгохозяин, невесело усмехнувшись.— Успевайте. Едва ли я буду торговать долго.

И отвернулся, глядя в окно на площадь, где, объезжая гигантскую мачту радиотелеграфа, тянулись по направлению к пристанским пакгаузам ломовые обозы.

И как я ни был молод и неопытен, но сообразил, что покупателей у него мало, торговля идет плохо, книги, привезенные невесть откуда, расселись на креслах и диванах этого временного своего пристанища плотно и недвижно, а он куда-то торопится и едва ли будет торговать долго.

Вот что выразил не столько взгляд книгопродавца, сколько его чуть ссутулившаяся спина под респектабельным, но потертым синим костюмом.

Наивный мечтатель, сновидец книг, «вундеркинд, читающий Ведекинда», как дразнили меня товарищи моего старшего брата, я живо представил себе, как этот госпо-

дин, фамилия его была, кажется, Кузнецов, торгуется с несговорчивыми ломовиками, чтоб довезти свои сокровища до железнодорожного, полного военными и всякими другими срочными грузами вокзала.

Вот что мне вспомнилось о тысяча девятьсот девятнадцатом годе, когда этот неизвестно откуда прибывший и неизвестно куда убывший человек распродавал свою библиотеку, а я начинал формировать свою, в которую со временем вошли, наряду со всякими другими книгами, и сборник «Крылом по земле» сгинувшего в эмиграции Валентина Горянского, и ставший ныне вновь модным «Йог Рамачараха», и вот эта самая, которую я нынче держу в руках,— книжка Хинтона о четвертом измерении, купленная мною много позже у букинистов в Проезде Художественного театра. Жаль только, что до сих пор еще не могу приобрести старый, но, ей-богу, лучший перевод «Алисы в стране чудес» и книгу доктора Бекка «Космическое сознание». Все-таки интересно прочесть в свете нашего космического времени, как оно представлялось доктору Бекку, который, судя по рекламе книгоиздательства «Новый человек», утверждал, что «среди человечества быстро образуется новая раса, раса людей космического сознанья».

Дуэльный кодекс

Космическая эра настала через полвека после того, как прочел я вышеупомянутую рекламку в конце книги Хинтона. А с вопросом о дуэльном кодексе я столкнулся значительно раньше.

Это было связано с моим вторым путешествием вверх по Иртышу, путешествием, которое я давно уже порывался описать, только не мог вспомнить подробностей. И вот они вспомнились именно при перечитывании предыдущей главы, при упоминании о «Дуэльном кодексе».

Был до революции в Петрограде такой поэт А. Вознесенский. Старые ленинградцы, вероятно, помнят его. Одна моя знакомая ленинградка, когда я ее расспрашивал, сказала, что это, вероятно, тот, с черной бородой, муж актрисы Юреньевой. Тот или не тот, но, всходя по трапу на

пароход в 1919 году, я еще и еще раз вспомнил строки его стихотворения, напечатанного двумя годами раньше в одном из последних номеров «Нового Сатирикона»:

Иль за позор отмстив сторицей,
Свой императорский штандарт
Над потрясенною столицей
Подымет новый Бонапарт.

Я сознавал, что над потрясенною столицей, под которой поэт подразумевал Петроград, никакой новый Бонапарт не поднял своего штандарта, но подобие такого штандарта подымает над Омском, городом, в котором я находился, не кто иной, как адмирал Колчак, объявляя его, пусть временно, стольным градом. И из этого города по этому случаю мне необходимо удрать. Причины чего, с моей точки зрения, вески: хотя я еще и не достиг призывного возраста, но и будучи гимназистом четвертого класса, я подвергаюсь нажиму со стороны восторжествовавшей реакции, ибо уже имел зимою конфликты, во-первых, с законоучителем, который, правда, задумчиво и деликатно, но дал мне понять, что он видит во мне атеиста и что это опасно прежде всего для меня самого. А во-вторых, я имел конфликт с преподавателем словесности, беглым самарцем, который гораздо более определенно и вредоносно намекнул директору гимназии о моей неблагонадежности. Но самое главное, силы реакции в образе разных недорослей продолжали заманивать меня то в скауты, то в ученические комитеты содействия — для сбора пожертвований, подарков для армии, и мне не однажды приходилось выкручиваться, но я чувствовал, что повторение новых и новых отказов от участия во всем этом может принести неприятности не только мне, но и моим родителям, у которых и без того хлопот было много. И я сообразил, что самое лучшее будет на время скрыться с глаз. И это проще всего можно осуществить, приняв предложение моего экспансивного дяди Димитрия, который, раскаиваясь в прошлогодней попытке научить меня торговать спичками, звал в Семипалатинск, чтоб я мог привезти оттуда мешок кишмиша или сушеных верненских яблок. Тем более что и родители мои отнеслись к этому одобрительно: «Поезжай, чего тут вертеться — отдохни действительно где-нибудь на бахчах или на рыбалке!»

Так я вновь оказался на пароходе, уходившем в рейс вверх по Иртышу. С небольшим чемоданчиком я поднялся по трапу. Но теперь я прошел не в общую каюту третьего класса, как в прошлом году, когда ехал с дядей Димитрием. Теперь, в девятнадцатом, я ехал во втором классе, имея билет в двухместной каюте.

Но, зайдя в каюту, я понял, что мне будет трудно разминуться со вторым пассажиром, до того монументальным показался мне этот человек, которого я увидел только со спины, сзади: «Пожалуйста, устраивайтесь!» — сказал я и, бросив свой чемоданчик на койку, ушел на палубу.

Пароход тем временем, пятясь кормою вперед, выбрался из устья Оми на Иртыш и, очутившись на траверзе крепости, взял курс вверх по течению. Я смотрел на возвышающуюся над пристанской площадью радиомачту, воздвигнутую союзниками для адмирала, смотрел на обиталище Колчака — батюшкинский особняк на набережной и на громоздящийся позади этой набережной кирпично-бревенчатый массив города. Затем за вокзальчиком городской ветки потянулись низменность с керосинохранилищами «Альфа Нобель» и тонущий в паровозных дымах избушечно-серый привокзальный пригород — Атаманский хутор. А напротив него, за рекой, взгромоздились похожие, как мне казалось, на феодальные замки элеваторы станции Куломзино, того самого Куломзино, в котором зимой было кроваво подавлено восстание рабочих. Пароход прошел под железнодорожным мостом, и Омск наконец затонул в пыльном мареве предвечернего зноя, но я долго не уходил с палубы, глядя, как разбегаются за кормою волны, колебля латунные иртышские воды. И только когда я увидел через окно кормового салона, что там уже накрывают столы, я, не заходя в каюту, отправился в этот ресторан, где и сел за столик.

Все это я весьма отчетливо помню, будто это было не пятьдесят пять лет назад, а вчера. Но я не поддамся искушению описать в лицах все, что происходило дальше. Не буду живописать, как занял местечко неподалеку от столика, за которым сидели две миловидные особы, одна постарше, другая совсем еще девочка, похожие друг на дружку, как две сестры или тетка с племянницей. А вокруг них увивался молодой офицер. Я услышал, как он сказал дамам: «Прошу вас, не называйте меня господином прапорщиком, зовите, пожалуйста, просто Володя».

В это время вошел мой сосед по каюте, тот громадный человек, которого я в каюте видел только со спины, а теперь, увидев в лицо, понял, что он не европеец, а азиат. Он был так громоздок, что его отражение не уместилось в салонном трюмо, к которому он в задумчивости приблизился вплотную. Видимо, испугавшись этого и сам, он грузно вздрогнул, обернулся и, узнав меня, присел за мой столик. И я, как и все присутствующие в салоне, понял, что этот азиат не кто иной, как артист, борец, чемпион мира Хаджи Мухан, чье имя красовалось на всех афишах города Омска.

Гигант заказал бутылку лимонада, осушил ее, расплатился и встал, провозгласив, что ему пора спать. Но, выйдя из салона в коридор и открыв там дверь каюты, он возвратился и сказал мне:

— На тебе ключ. Я запрусь, а ты гуляй, сколько хочешь.

И окончательно удалился.

А те, кто остался в салоне, накинулись на меня с расспросами. Учитывая, что великан обратился ко мне запросто и на «ты» и мы едем в одной каюте, они сочли меня тоже причастным к цирку и начали расспрашивать о борце — что он ест, что пьет, куда едет, правда ли, что он чемпион мира. Я объяснил, что я не циркач, а на вопрос, кто же я, ответил, что так, гимназист, на что прапорщик Володя сказал, что он также был гимназистом и мог бы стать и студентом, если бы не пошел служить отечеству. После этого интерес к моей персоне ослаб, и, потому что в салоне стояло пианино, разговор перешел на музыку и пение. Но тут пароход заревел, в сумерках возникла какая-то пристань, не то Черлак, не то Урлютюп, все повалили на палубу, а я пошел в свою каюту, откуда и через закрытую дверь доносился богатырский храп Хаджи Мухана.

Следующий день прошел без значительных событий, кроме разве того, что к обеду с прапорщиком Володей появился еще другой офицер, более почтенный, штабс-капитан. Они уселись опять с теми дамами, разговор у них шел о том, куда дамы направляются, и штабс-капитан отечески наставлял путешественниц, как им лучше добраться в такое неспокойное время из Семипалатинска до Талды-Кургана, куда, как выяснилось, они едут спасаться от революционных бурь. К этому разговору штабс-капитан привлек

и Хаджи Мухана: вот, может быть, господин борец, славный сын степей, знает, как ехать лучше. Но чемпион мира, пожав богатырскими плечами под клетчатым, спортивного покроя пиджаком, повторил только несколько раз: «Талды-Курган! Хорошо, очень хорошо!» и, неловко раскланявшись, удалился в каюту. Почти вслед за ним направился соснуть и штабс-капитан. А прапорщик Володя, оставшись хозяином положения, снова вернулся к вопросу о музыке. Он предложил устроить концерт по его разумению, одна сестра (это оказались сестры) должна была петь, другая аккомпанировать, но сестры отнекивались, и он заявил, что и сам бы мог спеть и сыграть, если бы у него была гитара, потому что он обожает гитару.

И вот тут-то у меня и возникло сомнение, что Володя, до того как стать офицером, был гимназистом. Конечно, это было довольно глупое сомнение. Оно основывалось только на личном, не особенно большом опыте. Дело в том, что в моем окружении, в нашей среде, в среде наших ближайших знакомых, наконец, среди сверстников моего старшего брата гитара была отнюдь не в чести. Я вовсе не хочу сказать, что рос под звуки самой высокой музыки, среди таких инструментов, как рояли, органы, арфы, скрипки. Пианино вообще не нашло бы себе места в нашей тесной квартире. Наш граммофон хрипел самое большое Седьмую рапсодию Листа, а любимейшей пластинкой было все-таки шубертовское «Слышишь, в роще зазвучали песни соловья».

Но тем не менее гитары в нашей среде считались символом пошлости, мещанства, и товарищи моего брата, просвещенные гимназисты, члены литературного кружка, делавшие доклады о футуризме и четвертом измерении, эпатируя буржуа и мещан, удовлетворяли свои музыкальные потребности при помощи окарин — глиняных, похожих на браунинг дудочек о семи дырках. Эти окарины (от итальянского слова «окарина» — то есть «гусенок») были у нас в большом ходу перед войной и революцией.

И когда прапорщик Володя воскликнул, что он обожает гитару, я и позволил себе заметить, как бы полушутя, что, по моему мнению, гитара приличествует семинаристам. И, не дожидаясь реакции на свое заявление, покинул салон.

Прошла еще ночь. На следующий день, в Павлодаре, село на пароход много военных и полувоенных, то есть

молодых людей, как выяснилось из разговоров, только что вступивших в дружину Святого креста. Я слышал об этих дружинах, и вот теперь я своими глазами увидел если не дружинников Зеленого полумесяца, так дружинников Святого креста. И даже познакомился с одним из них в буфете на нижней палубе между гальюном и кожухом пароходного колеса. Эти ребята ехали третьим и даже четвертым классом. И один из них, скромный чернявый юнец, везомый к неведомому месту назначения чуть ли не в трюме, но, видимо, привыкший к лучшей доле, порассказал мне кое о чем у буфетной стойки, закусывая пиво сухариком. Было ясно, что он попал в крестоносцы в добровольно-принудительном порядке. Я понимал, в чем дело: если я, четырнадцатилетний, смотался из Омска, чтоб не подводить родителей отказом своим участвовать в гимназических патриотических мероприятиях, так этот восемнадцатилетний павлодарский Митрофанушка попался-таки в ловушку. Он так и восклицал, этот несчастный отпрыск провинциальных лавочников: «О, если бы не батюшка с матушкой!» Его звали Костей. Ничем его не утешив, я вернулся на верхнюю палубу, заглянул в кормовой салон, на этот раз переполненный севшими в Павлодаре офицерами, и пошел с кормы па нос, где и заметил младшую из сестер-путешественниц. Она смотрела на матроса, который, скорчившись на самом носу у форштевня, делал шестом промер глубин, выкрикивая:

— Шесть футов, пять футов, под табак!

— Что значит «под табак»? — спросила девица.

И я начал объяснять ей, что Марк Твен, чье настоящее имя Самуэл Клеменс, избрал своим псевдонимом подобный этим выкрикам матросский выкрик с реки Миссисипи, также связанный с вымериванием глубин на речных перекатах, что-то вроде: «мерка два!» — «Марк Твен!» Но этот наш разговор был прерван появлением прапорщика Володи.

— «В полночный час с гитарой под полою! — пропел он, встав перед нами.— Та-ра-ра-ра, там-там, та, та, та, там, и разбужу я песней удалою роскошный сон красавицы младой». Итак, господин гимназист, кому приличествует гитара? Семинаристам? И еще кому?

— Канцеляристам и телеграфистам,— в тон ему ответил я.

— И еще кому? — сказал он, невежливо напирая.

— И писарям! — воскликнул я.

— Хорошо! — сказал он.— Я требую сатисфакции! Понял! Я вызываю тебя на дуэль.

— А на чем будем драться? — спросил я.

— Хорошо бы на рапирах! — ответил он.— Но где их взять? Потом обдумаем. Извините, мадемуазель!

Это последнее он сказал девушке, но она и сама побежала от нас прочь. А он, подхватив меня под руку, повлек не куда-нибудь, а прямо на капитанский мостик, из чего я заключил, что прапорщик настолько нетрезв, что плохо соображает. Но это было не так, потому что он весьма связно и логично объяснил свое решение.

— Американская дуэль! — пояснил он.— За неимением шпаг, рапир или пистолетов мы будем друг друга сталкивать в пучину, с самой верхней палубы. Понимаешь?

Однако нам не удалось подняться на мостик, потому что нас нагнал строгий начальственный окрик:

— Прапорщик, приказываю вам возвратиться!

Это крикнул штабс-капитан. Он был не один. Я увидел обеих сестер и еще каких-то неизвестных мне офицеров, заметил и огорченное лицо Хаджи Мухана. Испугавшись, младшая сестра, видимо, созвала чуть ли не всех пассажиров второго класса, показался даже официант с салфеткою через руку. Офицеры подхватили Володю и поволокли в ресторан, а я остался лицом к лицу с милой девочкой, предотвратившей американскую дуэль.

— Где ваша сестра? Ушла в салон? — оглянувшись, спросил я.— Не ходите туда. Давайте я провожу вас в каюту.

И я ввел ее в тускло освещенный коридор. Но в тот же момент с другого конца коридора, из салона, вывалились те незнакомые офицеры, которые помогали штабс-капитану увести Володю. И один из них с хохотом, указывая на нас, воскликнул:

— А этих надо женить!

— Повенчать их! — крикнул другой.

Вероятно, они шутили. Но мне было не до шуток — спутница моя бессильно повисла у меня на руке. Это была очень нежная девочка. И тут передо мной как будто сама по себе приоткрылась дверь каюты.

— Это ваша каюта? — спросил я девочку, и мне показалось, что она отвечает утвердительно: «Да, эта!»

Каюта была совершенно пуста. Я не увидел никаких вещей, но было уже некогда раздумывать: закрыв дверь

изнутри, я почувствовал, что сделал это вовремя, ибо за ней уже топтались и орали весело и пьяно:

— Спокойной ночи, спокойной ночи! — услышал я, укладывая девочку на пустую койку.

И затем, побарабанив в дверь, они шумно ушли. Но, может быть, и не ушли, а притаились, подумал я, присев на такую же пустую койку напротив. Как быть?

Во-первых, мне стало ясно, что я завел девочку не в их каюту. Во-вторых, надо сдать девочку с рук на руки ее старшей сестре.

— Я запер нас на задвижку, ключа тут нету, теперь я открою,— сказал я,— и выйду, а вы запритесь снова. Как можно крепче!

Но девочка не ответила, что привело меня в еще большее замешательство. Она потеряла сознание, подумал я, но, приглядевшись, убедился, что она спит безмятежно и глубоко, как способна спать девчонка, быть может, впервые хватившая шипучего вина. Конечно, ее подпоили, вот потому-то она и убежала от них на палубу, а сестрица ее, конечно, снова в салоне. И надо ее разыскать. Но как оставить эту спящую?

И тогда я решился на поступок совершенно мальчишеский.

Проверив, крепко ли заперта дверь, я с трудом открыл окно — оно отходило туго, но мне и этого было достаточно. Осмотревшись и убедившись, что палуба пуста, я вылез через окно, поднял раму снова, но не до конца, оставив щелочку, чтоб окно не захлопнулось наглухо, чтоб можно было бы его снова открыть и влезть. Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное. Прежде всего я ощутил толчок столь сильный, что стало слышно, как зазвенела посуда в салонах не только второго и первого класса, но даже в нижнепалубном буфете. Вслед за этим раздались свистки, крики, ударил колокол и возник топот. Люди повыскакивали из кают, все бросились на нос. И тогда сверху, с мостика, послышались слова, выкрикиваемые через рупор:

— Господа пассажиры, схлыньте с носа! Пароход сел на мель!

Но люди есть люди. Они все-таки перли на нос. И я тоже. И, протолкнувшись вперед, заметил прежде всего гигантского Хаджи Мухана, задумчиво глядевшего на рябь речного переката. И досада и тревога всей этой

публики вдруг обрушились на этого почтенного артиста. Сами бестолково толпясь на носу, они закричали Хаджи Мухану:

— Что вы тут стоите! Из-за вас и сели на мель.

А один из пассажиров так даже выкрикнул:

— Ссадить его в лодку для облегчения.

Но борец, взглянув на него с презрением, неторопливо обернулся и медленно зашагал по палубе по направлению к корме. Сделав несколько шагов, он обернулся и молча, но властно махнул рукой, явно приглашая всех остальных последовать за собою. Вся орава хлынула вслед. И, что самое забавное, к тому моменту, как чемпион мира достиг кормы, пароход, бешено заработав колесами, задним ходом снялся с мели.

Но этим происшествия не закончились. Едва лишь пассажиры начали расходиться по каютам, как вдруг в коридоре появилась старшая сестра, ищущая младшую. Обрадованно я кинулся навстречу ей. Но она не сумела понять моего взволнованного и, наверное, весьма путаного объяснения, что сестрица цела и невредима и спит, по-видимому, настолько крепко, что проспала весь переполох и не стучалась.

— Она вот в этой каюте, я сейчас выйду на палубу и влезу в окно, и открою изнутри! — успокаивающе сказал я.— Я сейчас!

Но старшая путешественница вцепилась мне в рукав.

— Нет, вы никуда не уйдете! Ничего не понимаю! — закричала она, стуча кулаком в дверь указанной мной каюты.

И вот тут-то снова объявился Хаджи Мухан. Видя, что женщина стучит в дверь, а ей не открывают, силач легким рывком справился с неподатливой дверью, и старшая сестра бросилась в объятия младшей, или младшая в объятия старшей, я этого не помню, но помню, что все кончилось вполне благополучно.

— Пойдем, пора спать! — сказал мне чемпион мира. Он был мудрый азиат и все понял, но воздержался от каких-либо комментариев.

Мы вернулись в нашу каюту. Пароход шел, и все мы плыли навстречу своей судьбе, кто куда, каждый своей дорогой. Я не знаю дальнейшей судьбы Хаджи Мухана, если это был действительно он, а не какой-нибудь другой борец, принятый нами за него. Не ведаю я, что стало

с прапорщиком Володей и сестрами, которые, возможно, действительно ехали в Талды-Курган. Но через несколько лет я встретил на улице бывшего «крестоносца» Костю, которого потерял из виду после той ночи на пароходе. Костя мне сказал, что он тогда так и не достиг места назначения — сбежал по дороге, не доезжая до Семипалатинска, к знакомым казахам в степь, а потом пошел в красные войска и даже стал комсомольцем.

Омские озорники

Я не имею диплома. На вопросы об образовании отвечаю: незаконченное среднее — четыре класса гимназии. Но даже и тут преувеличиваю, ибо четвертого класса так и не закончил. То есть в двадцатом году я бросил ходить в классы, еще не дождавшись каникул. Я сказал директору гимназии Шефальде, что хочу стать художником, а общий культурный мой уровень повышать путем самообразования, и Шефальда, минутку подумав, ответил, что так и быть, он даст мне справку об окончании четырех классов, но с условием, что обещаю никогда и нигде не демонстрировать математических способностей, которых у меня нет. На том и сошлись. Родители мои, конечно, печалились, но не очень, думали, что я одумаюсь; негодовала только бубушка Бадя, видя, что я превратил дверь в импровизированный мольберт и ужасно замазал ее масляной краской. А я рисовал и рисовал. Я вовсе не готовился поступить в только что организованный тогда же, в двадцатом году, Художественно-промышленный техникум имени Врубеля. В этом техникуме главенствовали художники умеренных направлений, застрявшие в Сибири как беженцы, или военнопленные германской войны — поляк Эттель, латыш Прибе и, я уж не помню, еще кто-то. Они были преимущественно эстеты, а я «футурист». И я столкнулся с такими же футуристами, как и сам: с молодым Виктором Уфимцевым, бывшим трубачом военного оркестра, он был омичом; омичом же был Саша Осолодков, портновский подмастерье, о судьбе которого после я рассказал в поэме «Рассказ про мастерство». Омичом же из Нового поселка был Николай Мамонтов. Неизвестно

откуда взялся бородатый художник Шабля, ярый пропагандист Маяковского и Каменского. Ясно, что всех нас идейно объединял Антон Сорокин, он в эти дни писал свою книжку «Тридцать три скандала Колчаку», в которой рассказывалось и о знаменитом манифесте, обличавшем белогвардейских писателей, и о других действительных или вымышленных стычках с Колчаком и колчаковцами. Но, кроме этого, Антон Семенович занимался живописью, стараясь объединить вокруг себя молодых, еще не признанных художников.

Об Антоне Сорокине надо, конечно, писать особо, что я, возможно, когда-нибудь и сделаю. Это очень сложная фигура. Он писал в свое время памфлеты на павлоградских толстосумов, и эти люди наняли пристанских грузчиков бросить Антона для острастки в Иртыш. После этого Антон Семенович переехал в Омск, где, поступив конторщиком в управление железной дороги, занялся литературной деятельностью. Тут были удачи и неудачи. Так, например, его монодраму «Золото» ставила Комиссаржевская, и это произведение появилось отдельной книжкой. Воодушевленный успехом, Антон Сорокин написал после этого больше ста пьес, но ни одна из них уже не нашла ни постановщика, ни издателя. Написал он и множество рассказов, иные были напечатаны в сибирских изданиях, иные отвергнуты, и вот из-за этих отвергнутых рассказов он и вступил в непримиримую борьбу с редакторами, которые, в свою очередь, обвиняли его в саморекламизме и даже в плагиате. Дело в том, что, обличая редакторов в тупости и нежелании печатать что бы то ни было написанное Антоном Сорокиным вообще, он послал в одну из редакций не под своим, а под каким-то вымышленным именем рассказ Джека Лондона, который, кажется, и был напечатан. А затем он послал, кажется, в ту же редакцию, опять-таки рассказ Джека Лондона, но подписанный уже своим именем и полученной от редакции разносной рецензией хвастался на всех углах... Он объявил себя кандидатом на премию Нобеля, на том основании, что послал труды свои в Нобелевский комитет и заполучил почтовую квитанцию, свидетельствующую об этом: раз он выставил себя, пусть даже только сам, на Нобелевскую премию, значит, он и кандидат! Общеизвестно было и то, что незадолго до войны он разослал свои антимилитаристские книжки главам многих государств, в том числе Вильгельму II

и сиамскому королю. Когда же разразилась первая мировая война, он послал в «Огонек» свою фотографию с подписью о том, что-де Антон Сорокин, известный сибирский писатель, покончил жизнь самоубийством, протестуя против зверств немцев. Фотография появилась. Вот это он уж действительно сделал из чистой саморекламы, хотя и пытался подвести под свою проделку какие-то сложные, хитроумные идеологические основания. После революции, в восемнадцатом году, он склонился к футуризму. Правда, первый его футуристический дебют кончился неважно: какие-то проезжие футуристы — конечно, не Давид Бурлюк, а какие-то несерьезные футуристы-стрекулисты — выманили у него рассказ для своего сборника, который проездом вздумали отпечатать в омской епархиальной типографии. Но какое-то духовное лицо, проверяя деятельность типографии, обнаружило, что сборник, в ней печатающийся, есть не столько футуристический, сколько порнографический сборник. Духовные власти подняли тревогу, футуристам грозило привлечение к ответственности, и они прибежали к Антону Сорокину: «Мы уезжаем, бежим, а вы как знаете!» Но Антон Сорокин не побежал вместе с футуристами прочь из стольного града своего Омска, а отправился в редакцию «Омского вестника», в котором на следующий же день и появилось объявление: «Неизвестными графоманами похищено у писателя Антона Сорокина два пуда рукописей». Таким образом Антон Семенович отгородился от обвинения в сознательном и добровольном участии в порнографическом сборнике футуристов-стрекулистов. А когда в девятнадцатом году в Омск проездом явился Давид Бурлюк, Сорокин с Бурлюком взаимно понравились друг другу. Бурлюк причислил Антона к лику футуристов, Антон тоже выдал Бурлюку какое-то «удостоверение в талантливости, скорее даже в гениальности, я уж не помню. Во время колчаковщины Сорокин более или менее удачливо юродствовал, учинял свои скандалы Колчаку и в то же время скрывал в закоулках своего жилища подпольщика-поэта Александра Павловича Оленича-Гнененко, который после освобождения Омска занял пост председателя губисполкома, а потом стал редактором газеты «Рабочий путь». И таким образом Антон Сорокин в 1920 году оказался, вполне справедливо, в положении ничем не скомпрометированного, уважаемого и признанного писателя.

Однако Антон Семенович, старый вояка и скандалист по натуре, не сумел воспользоваться выгодами своего положения так, как это мог бы сделать какой-нибудь более расчетливый человек. Сорокин, вместо того чтобы стать солидным писателем или редактором, предпочел окружить себя непризнанными художниками кисти и пера, всяческой футуристической молодежью...

Кого только не было среди нас в этой «шайке», от которой такие серьезные люди, как Александр Павлович Оленич-Гнененко или даже молодой тогда Всеволод Иванов, держались в стороне. «Антон спятил с вами, ребята!» — говорил Всеволод Иванов, который, избежав всяких неприятностей колчаковщины, теперь мирно жил в общежитии редакции «Советской Сибири» и ожидал от Горького вызова в Петроград.

Точно так же, как Всеволод Иванов, держался в стороне от сорокинских эскапад и Петр Людовикович Драверт, имевший и обличье и повадки доктора Фауста и чинно отсиживавшийся меж метеоритов, колб и реторт в своем научном кабинете в здании бывшего коммерческого училища, что возле сада «Аквариум» у крепостных ворот. Но о Драверте надо бы написать особо, а в этой главе я расскажу о нашей буйной ватаге молодых «футуристов», которая, всегда в сопровождении Сорокина, появлялась в общественных местах, шумела и, как написал однажды в газете старый поэт Георгий Вяткин, «только компрометировала футуризм». Что мы делали? Во-первых, обструкция. Скажем, в каком-нибудь из многочисленных клубов ставилась какая-нибудь захудалая, с нашей точки зрения, пьеска, уцелевшая в репертуаре с дореволюционных времен. Мы незаметно проникали за кулисы, и затем кто-нибудь из нас выходил на сцену и впутывался в действие декламацией стихов — «Левого марша» Маяковского, либо «Сарынь на кичку» Василия Каменского, либо своих собственных. Ошеломив этим актеров и завладев вниманием публики, декламатор произносил краткую речь о старом и новом искусстве. Чаще всего дело кончалось аплодисментами и криками: «Читай еще!» Особенно умели овладеть аудиторией художники Уфимцев и Шабля.

Устраивались и просто вечера чтения стихов то перед студентами, то перед курсантами, допустим, школы ЧОН. На этих вечерах опять-таки читали стихи Маяковского, Каменского и, конечно, собственные. Но эти вечера портил ча-

ще всего сам главный их энтузиаст — Антон Сорокин, который, вспоминая старые обиды, начинал рассказывать публике о своих завершенных и незавершенных распрях с редакторами давно уже исчезнувших дореволюционных газет. Иногда, если он выступал перед подготовленной аудиторией, слушатели его наставляли на путь истины, крича: «Лучше расскажите о скандалах Колчаку». Но иногда поднимался просто шум и свист, и Антон Семенович от огорчения пускался на свои обычные трюки: зажигал свечу «для озарения умов» или начинал глотать на глазах у публики сырые яйца, показывая этим, как ему трудно перекричать дураков. Оратор он был плохой, и лучше всего он привлекал внимание даже не рассказами своими, а картинками, ясно и наглядно изображавшими то самого его, Антона Сорокина, в образе мыслителя, скорбно взирающего на муки страждущего человечества, то опять-таки его самого, Антона Сорокина, но в образе какого-нибудь символического паука, сосущего попавшую в его паутину девообразную муху, олицетворяющую то ли невинность, то ли порок. Смысла в его картинках часто не было решительно никакого, но этим-то они и смешили публику и привлекали. Другие художники тоже выставляли немало занимательных полотен, главным образом революционных по содержанию и кубистических по форме. Насколько мне помнится, Виктор Уфимцев там выставлял эскизы будущей своей замечательной картины «Зъркалщикъ».

Я тоже не отставал от других. И, помнится, выставил кое-что из своих «опытов», например, злую самочку с мешком за плечами, скорчившуюся на крыше теплушки; это должно было олицетворять хищницу, мешочницу-спекулянтку, фигуру, типичную для того времени. И еще помню кентавра, мчащегося на испуганной одушевленной мотоциклетке.

Конечно, все это было достаточно наивно, но зато пестро, броско и видно издалека. Одна такая выставка возле гостиницы «Европа» вызвала столь большое скопление публики, что создалась непосредственная угроза уличному движению,— появился наряд конной милиции.

— А кто тут Антон Сорокин? — закричал начальник отряда.

Но Антон Семенович не растерялся. Увидев в толпе Всеволода Иванова, иронически наблюдавшего за ходом событий, Сорокин указал на него пальцем:

— Вот он, мозг сибирской нации, этот кучерявый, который смеется!

И всадники, спешившись, устремились к Всеволоду Иванову... Вообще назревали осложнения. Но нас выручил не кто иной, как Емельян Ярославский, тогда, на наше счастье, редактировавший «Советскую Сибирь». В одной из статей, критикуя местных художников-профессионалов, он написал что-то вроде того, что омские озорники во главе с Антоном Сорокиным и его «пылающими клизмами» гораздо талантливее и живее этих художников-профессионалов. После этого отношение к нам, естественно, улучшилось, произведения наши были напечатаны в журнале «Искусство», который стал выходить на полиграфической базе Художественно-промышленного техникума имени Врубеля. И вообще нас стали уважать, и, кажется, именно в связи с отзывом Ярославского нам отвели для наших сборищ пустующую синагогу на Почтовой улице.

Затем начались мои странствования. Сначала я уехал в Балхашскую экспедицию, потом получил от Оленича-Гнененко пропуск и командировку в Москву, куда зимой и явился вслед за художником Мамонтовым, чтоб поселиться с ним в пустующей кухне на девятом этаже общежития ВХУТЕМАСа. В этом здании я и увидел наяву и Маяковского и Хлебникова. Лезть с разговорами к Маяковскому я не решился. Встречу с Хлебниковым впоследствии описал в стихотворении «Хлебников и черти». Дальнейшие события, связанные с пребыванием в общежитии ВХУТЕМАСа, опишу в одной из будущих глав, а сейчас скажу только о том, как следующим летом я снова оказался в Омске, где к тому времени еще более деятельно функционировала бывшая синагога, под чьим кровом собирался весь цвет «прогрессивной молодежи». Насколько помню, тут можно было встретить еще писавшего стихи, но уже ученика музыкального училища Виссариона Шебалина, строгого классика в поэзии, но новатора в музыке. Появлялся там вместе с моим братом Николаем, писавшим тогда стихи под псевдонимом «Семенов», почвовед Вадим Бердников, долговязый и длинноносый правнук автора «Конька-Горбунка» Петра Ершова. Хорошие, но зловещие стихи читал товарищ моего детства синеблузник Борис Жезлов: «Старик, похожий на Тютчева, наливает вино в стакан. Было бы много лучше, если бы я был пьян». Так и вышло — этот талантливый парень впоследствии

погиб от вина. Появлялся там попович Сережа Орлов, назло своему отцу примкнувший к футуризму. Не пропускал ни одного собрания не прочитавший нам ни одной строки из своих сочинений, но причислявший себя к имажинистам Иннокентий Черников. Однако он был таким же полноправным членом нашего литературного объединения, как и художники Мамонтов и Осолодков, тоже не написавшие ничего, кроме своих картин. Заглядывали к нам, конечно, и Драверт и Оленич, но скорее как старшие к младшим, а между нами, как мне кажется, самым талантливым тогда был Николай Калмыков, мой соученик по гимназии, а к тому времени, о котором идет речь,— типографский корректор.

Он охотнее общался теперь с моим старшим братом и с Виссарионом Шебалиным, чем со мной. Чем дальше, тем больше расходились наши вкусы. Меня тянуло к футуризму, его — к акмеизму, к парнасцам. И в начале двадцатых годов нас с ним объединяли отнюдь не заборные выставки Антона Сорокина, к которым Калмыков относился резко отрицательно — он не любил шумных сборищ и кубизма,— но затеянная моим братом и Виссарионом Шебалиным литературная игра в Эраста Чайникова. Эраст Чайников был вариантом Козьмы Пруткова. От имени Эраста Чайникова нами выдавались пародийные стихи, писались всевозможные буриме, сонеты на заданную рифму и т. п. Помню, однажды, когда на заданную рифму «цель — акварель» Калмыков выдал такую строфу:

Куда-то хочется уйти,
В чужом саду блуждать без цели
И радость позднюю найти
В осенней, блеклой акварели,—

я вдруг проникся безмерной симпатией к нему и сказал, что ведь это совсем настоящие стихи, а он ответил: «Ну, что ты!» — и стал читать другие, по его мнению, действительно настоящие стихи. И прочел целый цикл, из которого мне и сейчас, через пятьдесят лет, помнятся такие, например, строки:

Город и небо, как декорации,
И деревья четко черны,
Утром эвакуации
Вспоминаются старые сны.
Снег ложится тихо и ласково,

Как ложился он тысячу лет,
И все кажется старою сказкою
Театральных несчастий и бед.
А обозы все тянутся, тянутся,
И, быть может, час недалек:
В этих улицах узких останутся
Лишь следы от колес и от ног.

Тогда мне эти стихи показались чрезвычайно значительными. Эти стихи, как говорится, открыли мне внутренний мир Калмыкова. Не скажу, чтоб я был согласен с ним. Я был футуристом, я уже написал стихи о нежной девушке, пахнувшей овчиной, коломбине сегодняшнего дня с гранатой за поясом. Я вывешивал кентавров, мчащихся верхом на мотоциклетках, мне чужда была созерцательная позиция Николая Калмыкова, но в то же время я понял, что передо мной талантливый поэт, и, помню, все мы стали убеждать Калмыкова не пренебрегать литературными сборищами, чаще читать стихи, приходить на собрания.

Но там и стерегла его беда. Она явилась в образе девушки, студентки медицинского института. Эта девушка писала стихи, такие бледные по смыслу и по форме, что казалось — их еле видно на тех блокнотных листках, на которых они были написаны. Но сама она обладала явственно проступавшим на щеках румянцем, ясными, несколько неподвижными глазами и прелестными русыми волосами. И вскоре получилось так, что если она не появлялась на очередном собрании литературного объединения, то многие из нас, не сговариваясь, покидали эти собрания, не дожидаясь конца. И, сев в вагон железнодорожной ветки, соединявшей город с вокзалом, ехали туда, на Атаманский хутор, где высилось здание железнодорожного техникума, директором которого был ее отец. Техникум был в верхнем этаже, директорская квартира — в нижнем.

Правда, там у нее, у нашей поэтессы, собиралось по вечерам свое общество: какие-то ее подруги, дочери железнодорожников с Атаманского хутора; очень забавный длинноносый брандмейстер этой части города, князь Трубецкой, потомок декабристов; молчаливый студент сельскохозяйственного института Ваня. Но мы, быстро втершись в это общество, познакомились с ее родителями и заняли свое место за вечерним чайным столом. Ее отец, почтенный инженер, внешне похожий на шлиссельбуржца

Николая Морозова, с любопытством рассматривал нас, благосклонно слушал стихи Маяковского, Каменского, Северянина и даже мои, не говоря уже о Николае Калмыкове, который стал сразу пользоваться его уважением как молодой человек с определенным занятием: корректор. На мой же, например, образ жизни — я подрабатывал малую толику библиографическими заметками и хроникой в газете «Рабочий путь» — он смотрел более скептически. Но, помнится, благосклонее, чем на кого-либо, он поглядывал на молчаливого сельскохозяйственного студента Ваню.

Что было дальше? Дальше было то, что нам как-то расхотелось собираться вместе под этим гостеприимным кровом, а, наоборот, захотелось появляться там по отдельности. Я был, конечно, мальчишкой и ни о чем не мечтал. Мое увлечение было чисто платоническим. Другое дело Мамонтов — ему было лет двадцать. Калмыков тоже был на год старше меня. Но все равно надо было бы держаться вместе. Вместе являться туда в гости и, особенно — возвращаться в город пешком, ночью, когда поезда городской ветки уже переставали ходить. А Коля Калмыков однажды тайно от всей компании решил проводить эту девушку не с собрания литературного кружка, а из мединститута, с вечерних занятий. Проводив ее до дому, он отправился назад пешком по линии ветки, поезда которой уже не ходили после двенадцати. А на другое утро Калмыкова нашли застреленным на железнодорожном пути...

Эта трагедия послужила не только концом нашего домашнего знакомства с русой поэтессой (она вскоре вышла замуж за студента Ваню), но вообще как-то совпала с развалом всего нашего литературного сообщества. Объединение осталось, собрания его не прекратились, но исчезла из него не только поэтесса. Уехал в Москву учиться в консерваторию Виссарион Шебалин, уехали в Туркестан художники Мамонтов и Уфимцев, а в Петроград — Петя Осолодков; поступил в театральную труппу и отправился на гастроли Борис Жезлов; наконец, переехал на работу в Новониколаевск и наш высокий покровитель Александр Павлович Оленич-Гнененко, а вскоре явился из Новониколаевска и позвал меня туда Вивиан Итин, собиравший силы вокруг «Сибирских огней».

Конечно, не этот выстрел в Николая Калмыкова вспугнул всех нас, но вышло так, что в Омске, переставшем

быть даже краевым центром и превратившемся в самый обыкновенный окружной город, остался царить над поредевшей литературно-художественной организацией только «король писательский» — Антон Сорокин, который, впрочем, говорил, что лишь боязнь пространства мешает ему отправиться в Москву.

— Я бы приехал,— мечтал он,— под видом неизвестного киргиза, поднялся бы на трибуну Дома Герцена и стал бы читать рассказы. А когда спросили бы: кто этот гениальный неизвестный киргиз, я бы скинул малахай и разоблачил своего неблагодарного ученика Всеволода Иванова, который не хочет убедить Горького печатать полное собрание моих сочинений!

История одной вражды

Я не знаю, что обо мне думал Всеволод Иванов, да и думал ли он обо мне что-либо вообще. Но я всегда помнил о нем, всегда с радостью читал все им написанное и считал и считаю его одним из самых лучших наших писателей. Я полагаю, что Всеволода Иванова еще не прочли и не оценили по-настоящему, и такая оценка будет ему еще дана если не в конце нашего, то в начале будущего века.

С Ивановым меня познакомил, разумеется, не кто иной, как Антон Сорокин. Это было, кажется, в двадцатом году, вскоре после того, как Сорокин признал меня и вздумал объявить своим учеником.

— Удостоверение в гениальности, так и быть, от вас приму,— полушутя-полусерьезно сказал я, но учеником вашим быть не собираюсь. Я сам по себе, вы сами по себе.

— Хорошо! — сказал уязвленный Сорокин.— Пожалуйста, дело маленькое. Не хотите быть моим учеником, и не надо. Но пойдемте, я вас познакомлю с человеком, который является моим учеником, и вы увидите, какие замечательные у меня ученики. Это близко, почти рядом.

И, надев шубу и боярскую шапку, он повел меня в домик по соседству, на той же Лермонтовской улице, такой маленький, что внешне он скорее напоминал газетный киоск. Мне показалось, что, кроме рукописей, там больше

не было ничего. Ни мебели, ни вещей, ничего не было в этой бедной комнатке с окнами без занавесок, покрытыми морозным узором. А через открытую дверь на кухню виднелась одна только черная сковородка. Может быть, все это преувеличено, точнее преуменьшено, но именно на таком фоне и запечатлелся моим умственным взором курчавый плечистый человек, который открыл нам дверь.

— Знакомьтесь: Всеволод Тараканов, мой ученик,— заявил Сорокин, обращаясь ко мне, а Всеволоду Вячеславовичу пояснил: — А это Леонид Мартынов, не желающий быть моим учеником.

— У него все ученики! — пробормотал я, пожимая руку хозяину.

Всеволод Иванов только вздохнул.

— Подарите Мартынову ваши «Рогульки»! — сказал Антон Сорокин.

— Хорошо,— согласился Иванов и подарил мне маленькую беленькую книжку.

— Теперь пойдемте,— сказал Сорокин,— не будем мешать моему ученику Всеволоду Тараканову творить дальше!

— Извините, пожалуйста!— сказал я Всеволоду Вячеславовичу на прощанье.

Он махнул рукой.

Мы вышли.

— Вы видите, как он живет?— сказал Сорокин.— Он талантлив, но очень глуп, и если бы не я, он бы пропал. Я его подкармливаю арбузами и хлебом и наставляю на путь истинный, даю ему темы, и он пишет лучшие свои стихи и рассказы — и потому его заметил Горький и вызовет к себе. Вот и вы пишите на мои темы и тогда прославитесь. Но условие такое: половина написанного на мои темы вам, а другая половина — мне!

— Нашли дурака! — сказал я.

— Ну ладно, если не хотите так, то сговоримся по-другому,— предложил Сорокин.— Стихи, которые вы пишете по моему заказу, это вам не трудно, я буду оплачивать вам бумагой, перьями, карандашами, красками, тушью.

— Да идите вы к черту! — воскликнул я.

— Прелестно! — ответил Антон Семенович.— В таком случае я буду вставлять ваши стихи в свои рассказы без спроса, без вашего разрешения, раз вы не хотите согласиться ни на какие условия.

Написав все это, я хорошо понимаю, на что я иду. Я прекрасно представляю, как это встретят настоящие и будущие биографы Антона Сорокина, пытающиеся сейчас создать не живой, а благочестиво-иконописный образ этого интересного, странного, противоречивого человека. Быть может, скажут, что я клевещу на покойника. Но я пишу то, что было, и говорю о литературно-исторических фактах, которые ничем не могут быть опровергнуты, а подтверждены кое-чем быть могут. В рассказах Антона Сорокина, зачастую очень хороших, встречаются хорошие стихи, явно ему не принадлежащие, ибо он стихов писать не умел и не пытался. Каюсь, что однажды я все-таки, чтобы заполучить от Антона Семеновича то ли бумагу, то ли краски, написал, что отдаю сочиненный стих ему в полное пользование. Это стихи, кажется, о некоем Айдагане. Но меня всегда интересовало, чей прекрасный, прямо великолепный стих он вставил в один из более ранних своих рассказов:

На улицах пыль, да ветер,
Да плачь колокольного звона,
Никто почти не заметил,
Как пронесли икону.
Две старушки, перекрестясь,
Оправили полушалки.
Город — Ламанчский князь —
Смотрит смущенно и жалко.

Я пишу так, а там, помнится, все было в строку, как проза. Мне всегда казалось, что это стихи Всеволода Иванова. И вот уже недавно, когда вышли записные книжки Всеволода Иванова, я прочитал в них: «Вспомнил свои юношеские стихи из газеты «Согры», а то опять забуду:

На улице пыль, и ветер,
И треск колокольного звона.
Один только я заметил:
Пронесли чудотворную икону,
Две старушки, перекрестясь,
Оправили полушалки.
Город наш — нищенский князь —
Смотрит печально и жалко.

Словом, давай или не давай Антону Семеновичу согласье, он хватал понравившиеся ему стихи и вставлял их в свои рассказы. Он считал, что имеет на это полное право, поскольку мы все его ученики, вольные или неволь-

ные, а он король писателей, мозг поэзии, и всем нам хочет помочь, и двери его дома для нас широко открыты, и так далее и тому подобное. Я не знал, как ко всему этому относился Всеволод Иванов, и это меня не интересовало до той поры, пока Всеволод Иванов действительно не уехал в Петроград по вызову Максима Горького. Вот тут-то и началось все то, о чем я с прискорбием хочу поведать ниже.

Сперва Антон Сорокин очень радовался, всем и каждому рассказывал о том, что его любимый ученик Всеволод Иванов наконец получил заслуженное признание. Но вскоре, приблизительно так через полгода, начал усиленно толковать о неблагодарности Всеволода Иванова.

Причина такой перемены отношения Сорокина к Иванову была мне ясна. Иванов не напечатал, как надеялся Сорокин, его, сорокинские, рассказы в петроградских журналах, он написал Антону Семеновичу, что, мол, предлагал рассказы, да редакторы печатать их не хотят. Но главное было даже не в отдельных рассказах, а в том, что рухнула мечта Антона Семеновича срочно издать с помощью Всеволода Иванова собрание своих сочинений.

— Сам печатается, а меня печатать не хочет! О, я ему отмщу, и отмщу жестоко! — заявил мне Сорокин.

Я пробовал убеждать Антона Семеновича, что он не прав, что виноват не Иванов, а редакторы, вечные враги Антона Сорокина, что, по существу, повторяется старая история, длится старая распря его с редакторами.

— Но теперь вы в лучшем положении! — говорил я.— «Сибирские огни» вас охотно будут печатать. Зазубрин сказал об этом определенно.

— Что мне Зазубрин! Я хочу, чтобы меня печатал в центре Всеволод Иванов, мой ученик, переметнувшийся теперь к Горькому.

И Антон Семенович начал мстить, то есть сочинять и писать гневные письма как Всеволоду Иванову, так и о Всеволоде Иванове кому попало. То есть, во всяком случае, он говорил, что пишет такие письма.

— Если вы не врете, что пишете такие письма, я с вами вообще не знаком! — однажды сказал я. И то же самое сказал жене Антона Семеновича, добрейшей Валентине Михайловне. Я спросил ее: может быть, Антон Семенович фантазирует, только мечтает писать про Всеволода Вячеславовича разные пакости?

— Нет, он может! — ответила она, заплакав.— Он про брата своего, Семена Семеновича, профессора медицины. со злости написал, что тот вливает больным вместо сальварсана воду!

Я не знаю, что отвечал Всеволод Иванов на инсинуации Сорокина и отвечал ли он вообще. Но знаю, что, злясь все больше и больше, Антон Семенович стал выдумывать, будто Всеволод Иванов мечтает его уничтожить физически и подсылает наемных убийц.

— Поздравьте меня с избавлением от преждевременной гибели! — объявил однажды Антон Семенович.— Сижу у себя в Сибопсе, работаю, смотрю, кто-то ходит подозрительный у дверей. Караулит. Пошел домой, этот человек подкатывается: «Антон Семенович, вы любите сладкое, угоститесь конфеткой». Но меня не проведешь! Я бросаю эту конфетку собачке, она проглатывает, тут же на тротуаре вьется волчком и издыхает! А его уже и след простыл! Как вы думаете: заявлять или не заявлять? Но что тут заявлять, я и сам великолепно знаю, чьи это козни. Вот вы хохочете, Мартынов, а надо бы плакать!

Тем временем в печати появлялись все новые и новые прекрасные рассказы и повести Всеволода Иванова. И каждый раз Сорокин подымал шум, что все это украдено у него, что это его темы, его замыслы. Впрочем, то же самое он говорил и о других, например, о Кондрате Урманове, успеху повести которого — я забыл, как она называлась,— он страшно завидовал. Никто, впрочем, не принимал его злобствований всерьез. Все понимали, что Сорокин, при несомненных своих достоинствах, несколько неуравновешен, что он подтверждал и сам, говоря, что он маньяк: страдает болезнью боязни пространства. Кроме того, он не мылся и не ходил в баню, объясняя это патологической боязнью воды, появившейся после того, как по наущению павлодарских купцов грузчики бросили его в Иртыш. Таковы были его мании и фобии, но мне кажется, что многое он преувеличивал из хитрости, чтоб в случае чего, если привлекут к ответственности за оскорбление и клевету, сказаться психически неуравновешенным. А оскорблял и чернил людей он направо и налево. Однако ему охотно прощали: юродивый и все-таки талант, можно сказать, знаменитость!

Несомненно, он был остроумен и талантлив, и тем более неприятна была его кляузная и низкая вражда к Все-

володу Иванову, произведения которого я читал с восторгом. «Возвращение Будды», «Цветные ветры» и другие уж никак не были написаны под влиянием Антона Сорокина, это он нехотя, но признавал и сам. Одно казалось мне лучше другого, и я стыдил Сорокина за его недостойное поведение. И однажды, поехав в Москву, решил пойти к Всеволоду Вячеславовичу, выразить ему свой восторг его творчеством и как-то поговорить с ним, как быть с Антоном.

Я точно не помню, когда именно это было, но помню, что в это время Всеволод Вячеславович обитал в доме на Тверском бульваре, видимо, в одном из домов, примыкающих к Дому Герцена. Мне помнится, что вход был прямо с улицы. Дело было вечером, и я постучался либо позвонил. Мне открыла незнакомая женщина, я назвался и спросил, могу ли видеть Всеволода Вячеславовича. Она отступила на шаг, а потом, обернувшись в сторону другой комнаты, уверенно сказала, что Всеволода Вячеславовича нет дома. Правильно или неправильно, но я решил, что Всеволод Иванов, услышав мой голос, не захотел меня видеть. «Впрочем, так и должно быть! — подумал я.— Ему мало радости видеть человека, связанного с Антоном Сорокиным». Больше я не пытался вступить в контакт с любимым мною писателем.

Я высоко ценю творчество Всеволода Иванова и, где только могу, говорю об этом. Я уверен, что еще не оценен по достоинству и его роман об архитекторах, напечатанный уже после его смерти в «Сибирских огнях». Словом, я ценю все, что им написано, и горько сожалею, что контакта между ним и мною так и не было установлено. Правда, в последние годы его жизни мы несколько раз встречались и беседовали мирно и дружелюбно. Однако об Антоне Сорокине не было сказано ни слова. А ведь по воле судьбы именно ему пришлось хоронить Антона Сорокина. Антонова злоба обернулась злейшей чахоткой (а впрочем, может быть, и наоборот, эта чахотка и делала Антона Семеновича столь озлобленным), боязнь пространства обернулась нежеланием ехать лечиться вовремя, и, когда в 1928 году Антон Семенович почувствовал, что дело плохо, он поехал в Крым, но в санатории его не приняли, сказали, что поздно, и его жена, Валентина Михайловна, успела довезти Антона Семеновича живым только до Москвы, где он вместо того чтоб, поднявшись на три-

буну Дома Герцена, разоблачить Иванова, скончался чуть ли не на руках у Всеволода Вячеславовича. Во всяком случае, Всеволод Иванов был одним из тех немногих, которые провожали Антона Сорокина на Ваганьковское кладбище. Об этом мне рассказывала Валентина Михайловна. Так неожиданно кончилась и дружба и вражда Всеволода Иванова с Антоном Сорокиным.

Что думал Всеволод Иванов о своем в кавычках учителе, в таких же кавычках разоблачителе? Может быть, в архивах Иванова остается еще какая-то повесть об Антоне Сорокине, вовсе не похожая на эту мою повесть? Единственно, что мне известно на этот счет,— воспоминания Всеволода Вячеславовича, напечатанные после его смерти в «Огоньке». Там, между прочим, насколько я понял, говорится, что юный Иванов встретил у Сорокина самого адмирала Колчака. Я думаю, что это был один из сорокинских трюков. Полагаю, что Антон Семенович, издеваясь над Всеволодом Вячеславовичем, выдал какого-нибудь шутника за адмирала Колчака. Не знаю точно, как было в данном случае, я был еще мал и не вхож к Сорокину, но позже, в двадцатых годах, мне не раз приходилось «встречать» у Сорокина известных поэтов и писателей, которые никогда не были в Омске, а во время «встречи» с ними у Сорокина находились в Москве. А потом я и сам, раскусив, в чем дело, «приводил» к Сорокину то Асеева, то Пастернака. Антон Семенович охотно входил в такую игру.

Я так и не знаю, что думал об Антоне Сорокине добрейший, талантливейший и, как мне кажется, сохранивший до последнего своего дня свойственную талантам юношескую наивность Всеволод Иванов, которого я ценю так высо́ко, как только может ценить литератор литератора. А мы, как известно, не весьма склонны к взаимовозвеличиванию.

Аллея причуд

Роясь в старых книгах, я обнаружил белый квадратный томик Лидии Лесной — «Аллея причуд». Эта книга забытой ныне поэтессы напомнила мне о многом. Напомнила,

в сущности, очень немногим: названием и одним стихотвореньем. Перелистав «Аллею причуд», я удостоверился, что вкусы у меня остались те же, что были и в юности. Конечно же: как мне правилось тогда, в сущности, только одно ее стихотворение, так и теперь нравится только одно, то же самое, в котором говорится:

Где вы, где вы,
Милые девы?
Голос ответил:
— Молчи!
Они теперь зубные врачи.

Вот эти-то стихи и название книги и пробудили во мне воспоминания о целом ряде лиц.

Прежде всего — о врачах. Не о девах-дантистках, а о врачах-терапевтах, лицах мужского пола, отцах семейств, но тем не менее, оказавшихся причастными к поэзии. Потому-то я и вспомнил о поэтессах: о двух, имеющих отношение к этим врачам, и о прочих, отношения к этим врачам уже не имеющим.

Тут я должен оговориться: представив себе мысленно дальнейший ход повествования, я было решил заменить имена подлинные вымышленными, но затем раздумал. Конечно, я могу вызвать недовольство тех, о ком упомяну, но, в сущности, ничего предосудительного рассказывать не собираюсь, я вовсе не хочу над кем-нибудь посмеяться, кого-нибудь обидеть, а просто-напросто чувствую потребность воссоздать обстановку, атмосферу событий юности, объяснить смысл некоторых собственных стихов. Впрочем, пусть читатели рассудят сами, что важнее — имена или факты. Факты же теперь на склоне лет рисуются мне так.

Доктор Лейбович был нашим домашним врачом. Это был очень симпатичный и опытный медик. Он успешно лечил меня и от коклюша, и от кори, и от свинки. Помню, как, болея одной из этих болезней, я беседовал с ним о том, что собираюсь в Африку, которая, по моим детским представлениям, лежала где-то близко за Иртышом. И позднее у меня с доктором были самые дружеские отношения: то он заглядывал к нам, то мы к нему. И поэтому уже после событий войны и революции, уже в двадцатом или двадцать первом году, я знал хорошо, как найти дорогу в салон Маруси Лейбович, докторской дочки, ощутившей в себе поэтический дар и пригласившей меня как футуриста к себе на чашку чая.

Нарисовав у себя на щеке опрокинутую собачку, нехитрый символ будетлянства, я отправился на файф о'клок. В тесной докторской квартирке на тесном диванчике теснились мальчики и девочки из окружения поэтессы. В уголке орал граммофон. При появлении меня, футуриста, пластинку остановили, но тем не менее я, любезно улыбнувшись, сделал вид, что плюю в граммофонную трубу и пояснил собравшимся, что делаю это в знак протеста против пассеистической музыки. Спор, разгоревшийся по поводу моего поступка, прервала хозяйка, заявив, что она прочтет свои новые стихи.

И она их прочла. Начало этого стихотворения и его продолжение как-то не дошли до моего сознания, и ясно воспринял я лишь две последние строчки, звучавшие приблизительно так:

И я пойду гулять в аллею при́чуд,
В которой ночью совы звучно зычут.

Это было произнесено столь мило и выразительно, что я не стал критиковать неправильность ударения в слове «при́чуд» и не стал толковать о влиянии Лидии Лесной, книгу которой я знал прекрасно. Я только сказал, что это кажется мне очень удачной пародией на гривуазное дамское творчество, и после этого все мы направились пить чай. Однако на следующий день, мучимый угрызениями совести за свою снисходительность, я сочинил стихотворение «Зацелованный футурист и обласканный графоман».

У этих стихов была своя судьба, о которой читатели узнают из дальнейшего. Что же касается их вдохновительницы Маруси Лейбович, то я как будто бы не встречался с ней больше. И не знаю, жива ли она и кем стала. Возможно, даже, что подобно героине того, лучшего, по моему мнению, запомнившегося мне стихотворения ее любимой поэтессы Лидии Лесной, стала зубным врачом.

Так или иначе, первая лично мне известная поэтесса двадцатых годов исчезла с моего горизонта. Но вскоре появилась другая, причем по какому-то таинственному и странному стечению обстоятельств тоже на врачебном фоне, однако на этот раз была не дочь врача, а вроде бы его родственница, а может быть, и просто знакомая. Шершевский был тоже очень хороший врач-терапевт, человек преклонных лет, работавший в лучших клиниках города. Разумеется, он давным-давно уже не принимал на дому

никого, но иногда по старой памяти заходил к старым своим пациентам, к числу которых принадлежали и мы. Когда занемогала мама, я отправлялся к этому доктору Шершевскому, звонил в парадную дверь, называл себя, после чего меня провожали в приемную, усаживали в глубокое кожаное кресло. И когда из кабинета слышалось «Войдите, пожалуйста!», я входил, здоровался со стариком и усаживался в такое же глубокое кресло напротив доктора, сидящего за письменным столом. Осведомившись о здоровье моих родителей, Шершевский указывал час, когда он зайдет, и являлся обычно минута в минуту.

И вот однажды среди литераторов распространился слух, что в город приехала петроградская поэтесса Черемшанова и живет она у доктора Шершевского, то есть на углу Красных Зорь и Учебной, за квартал от нас.

— Вы знакомы с Шершевским, так идите же к Черемшановой! — сказал мне Антон Сорокин.— Это известная поэтесса, ее признал сам Михаил Кузьмин!

— Ну, и идите к ней сами! — ответил я.— А я подожду, когда она меня пригласит!

Но несмотря на это гордое заявление, я все же стал чаще, чем обычно, проходить мимо докторского особняка, в некоторой надежде, что вдруг на парадном крыльце появится или сам Шершевский, или его гостья и таким образом состоится знакомство. Но случилось не совсем так. Старый доктор действительно сошел с крыльца в сопровождении молодой, невысокого роста незнакомой мне девушки или дамы, одетой довольно пестро. Я раскланялся, доктор любезно ответил, но не сделал никаких попыток познакомить меня со своей спутницей, глядевшей надменно. Я был уязвлен до такой степени, что, когда через некоторое время кто-то показал мне книжечку Черемшановой (в каком она издательстве вышла и как она называлась, увы, я не помню), я, бегло просмотрев ее, сказал с облегчением: «Не понимаю, что в этих стихах понравилось Кузьмину!» Может быть, я был неправ и стихи были вовсе не плохи, не знаю, может быть, роль сыграла мальчишеская обида на надменную петроградку, но факт тот, что мне ничего не запало в голову, видимо, стихи были не в моем духе, а, действительно, может быть, в духе позднего, стареющего Кузьмина, который мне нравился гораздо меньше раннего Кузьмина, Кузьмина «Александрийских песен». Все может быть. Каких-нибудь новых книжек

Черемшановой я никогда не видывал, новых ее стихов в печати не встречал и не знаю, что с ней сталось после того, как она уехала,— ни один из знакомых ленинградцев не мог мне ничего сообщить о дальнейшей судьбе поэтессы. Но краткое знакомство, вернее — встреча с ней, все-таки сыграла некоторую роль в моей жизни. Разочаровавшись в надменной гордячке, я стал много мягче, сочувственней, терпимей относиться к поэтессам, своим согражданкам, которых и без исчезнувшей куда-то с горизонта Маруси Лейбович хватало с избытком. И в таком настроении я не то чтобы особенно сблизился душевно, но все чаще и чаще стал сталкиваться с очень милой и скромной, сдержанной и даже угрюмой с виду поэтессой, школьной учительницей Зинаидой Корнеевой. И вот однажды осенью она пригласила меня зайти к ней.

Насколько мне помнится, я вступил на порог ее дома с некоторым предубеждением. Я заподозрил, что она усадит меня слушать свои стихи, не казавшиеся мне особенно увлекательными. Однако дом, в котором она жила — одноэтажный старый домик, в самом конце Первого взвоза близ Наплавного моста через Омь,— этот домишко чрезвычайно элегично вписывался в ансамбль Мокринского форштадта, и я не без любопытства вошел в обиталище поэтессы. Внутри было чисто и пусто, только серая листва крушины из палисадника липла к пыльным оконным стеклам, создавая сумрак внутри большой комнаты, в которую ввела меня Зинаида. Пригласив меня сесть, она застыла у деревянного стола, и я с унынием ждал, что она вынет из ящика этого стола тетрадь, чтобы начать чтение.

Но она сделала вовсе не это. Помолчав, она наконец сказала:

— Скоро уж заморозки, ледостав. Может быть, еще покататься на лодке? Правда, она уже на дворе, но братья ее спустят на Омь.

— Спасибо,— ответил я, пристыженный,— большое спасибо, только не сейчас, а как-нибудь в ближайшее время.

Я торопился куда-то по делам, то ли по газетным, то ли по личным... Но вот как возникла, откуда пошла «Река Тишина», правда, законченная года через три-четыре после этого разговора, а напечатанная лет через двадцать и давшая столько хлеба критикам и литературоведам, вы-

звавшая столько толкований, нареканий, восхищения и даже возмущений.

Между прочим, моя жена Ниночка упорно утверждает, что я не прав, разоблачая в этих своих воспоминаниях, в этой книге комментариев к своим стихам, столько иллюзий и даже легенд... Она говорит, что стихи без объяснений причин их возникновения звучат все же значительнее, давая простор для самого разнообразного истолкования, кому какое по нраву и по настроению. Но мне кажется, что есть смысл и в том, что я нынче делаю. Мне кажется, что «Ворон» Эдгара По ничуть не потерял своей прелести и значительности оттого, что безумный Эдгар Аллан деловито и прозаично описал обстоятельства и технику создания своей поэмы. И вообще, надо вносить в рассказы о себе как можно больше ясности, человеколюбия, внимания к окружавшим тебя людям, так или иначе помогавшим формироваться твоей личности. А особенно надо быть внимательным к людям забытым, непрославившимся, канувшим в Лету, говорить и вспоминать о которых нам мешает чаще всего оглядка, глупая неуверенность, опасение, как бы из этого чего-нибудь не вышло. В сущности, что я плохого сказал и о Марусе Лейбович, и об Ольге Черемшановой, и о Зинаиде Корнеевой? Что я сказал о них, кроме того, что они так или иначе наряду со многими другими помогали, как могли, моему творческому становлению. Да ничего плохого я не сказал и о виновнице этого очерка Лидии Лесной, с которой позднее не однажды вместе печатался на страницах журнала «Сибирские огни», об этой поэтессе, которая из «Аллеи причуд» почему-то попала в сибирскую тайгу, а затем на Рижское взморье, а оттуда уже я не знаю куда...

Нет, на старости лет у меня появилась уверенность в том, что уж если хочется о чем-нибудь поведать, так надо незамедлительно это делать, пока жив.

Правда, все-таки не всегда я считаю нужным называть имена, особенно женские. Не назову, например, по имени одну встретившуюся мне поэтессу — не поэтессу, но, во всяком случае, юную литераторшу тех далеких лет, тщившуюся мне что-то сказать, объяснить, познакомить меня с ее внутренним миром, но вместо этого нашедшую в себе силы только признаться:

— Я хочу, чтоб меня высекли!

И, вспоминая об этом испугавшем и смутившем меня ее желании, я вижу в нем не проявление мазохизма, а просто смятение духа прелестной девы, настолько заблудившейся в какой-то «аллее причуд», что ветви ее древес показались ей желанными розгами.

Зеленая рука

Несмотря на все мои переживания и всевозможные приключения, я к 1920 году не превратился в некоего малолетнего старичка, а был чем мне и полагалось быть — большим и достаточно наивным ребенком.

Да, я бросил учиться, считая школу скучной и надеясь больше на себя, чем на моих доброжелательных, но перепуганных педагогов. Я писал стихи, но, так как этим нельзя было еще прокормиться, занимался и сочинением заметок для газеты. Обо всем этом рассказано, но не рассказано о том, как я мешал спать Оленичу-Гнененко, солидному взрослому человеку, председателю губисполкома. Впрочем, был ли тогда Александр Павлович предгубисполкома или редактором газеты «Рабочий путь» (я уж не помню, что было позднее, что раньше), для меня он оставался главным образом поэтом. Поэтом и мужем Жени Явельберг, аптека отца которой была известна мне с детства,— эта маленькая аптека Явельберга, приют революционной молодежи, была поблизости от нас, на Учебной. Именно на нее с угла Волковской улицы указывала зеленоватая металлическая рекламная рука с надписью: «Здесь аптека». Я еще с малых лет знал, что Александр Павлович — жених Жени Явельберг. А с установлением Советской власти старая явельберговская аптека стала одной из многих горздравовских аптек, а Женя Явельберг стала директоршей большой аптеки на Лермонтовской, в квартире при которой и поселилась с Александром Павловичем, уже чуть ли не председателем губисполкома. На эту-то их квартиру достаточно часто я и заявлялся по вечерам. Я читал ему дикие свои стихи, он чаще всего иронически поругивал меня за них. Иногда, наоборот, я читал ему не свои, а его стихи. Это были, по-моему, хорошие стихи, я до сих пор помню наизусть такие, например, стихи о каликах

перехожих: «Шли калики перехожие от двора и до двора. Голубые и погожие золотились вечера»; или замечательный, посвященный Антону Сорокину и превратившийся в заглавие его книги сонет «Тюуп-Боот»: «В глухой тайге, где трав бледнеют лица, на берегу заржавленных болот, в угрюмом одиночестве ютится цветок отравленный Тюуп-Боот». Или, наконец, стихи «Старая Русь», о Петре Великом: «Он в Голландии был, там с матросами пил, с ними трубку курил, ихних девок любил, вас и знать позабыл». Насколько помнится, Александр Павлович ругал меня и за них, за эти свои стихи, которые он считал устаревшими и потерявшими всякий смысл. Как и всякий настоящий поэт, он не удовлетворялся содеянным, а всегда замышлял что-то новое, по его мнению, лучшее. Словом, Александр Павлович склонен был в какой-то мере резонерствовать и поучать, как бы указуя пальцем на некий не всегда достижимый для него самого идеал. И в одно из таких посещений Оленича-Гнененко у меня по ассоциации с его указующим перстом возник этот блестящий, как мне казалось, план — украсть и употребить в дело ту зеленую металлическую, уже порядочно заржавевшую руку, которая все еще указывала на бывшую аптеку Явельберга с угла Учебной и Волковской улиц.

Я рассуждал так: конечно, эта рука и теперь служит свою службу, указывая на аптеку. И возможно, что Александр Павлович и Женя Явельберг не одобрят моего поступка: рука вместе с аптекой стала достоянием народа, достоянием Наркомздрава. Но гораздо лучше, думал я, если эта рука послужит на пользу литературы. Для этого стоит сорвать эту руку с забора и притащить к Сорокину. Затем, перекрасив ее из тускло-зеленого в ярко-зеленый цвет и сделав на ней какую-нибудь эффектную и поучительную надпись, может быть, цитату из Маяковского или Хлебникова, воткнуть эту руку где-нибудь в центре города, допустим, у Железного моста! «Вот это будет здорово!» — подумал я и, не теряя времени, отправился за зеленой рукой.

В поздний вечер Учебная улица была пустынна. Забравшись на забор, я убедился, что рука только и ждет, чтобы ее похитили. Прикреплявшие ее гвозди были ржавее, чем она сама, и мне не стоило большого труда помочь ей тихо рухнуть наземь. Я взвалил ее на плечи и понес к Антону Сорокину. Антон Семенович еще не спал, он

молча открыл дверь и, взглянув на мою ношу, без удивления сказал:

— Я знаю, откуда вы ее взяли.

В нескольких словах я изложил Сорокину свой план.

— Придумайте надпись! — сказал я.

— Дело маленькое! — ответил Антон Семенович, развел краски, взял кисть и, почему-то печально вздохнув, вывел на металлической руке хорошо знакомую мне формулу: «Лучше быть идиотом, чем Антоном Сорокиным!»

Весь следующий день рука сохла, а поздно вечером мы, вооружившись лопатами, унесли ее в скверик у Железного моста и, пользуясь полным невниманием дежуривших на мосту милиционеров, вкопали в клумбу посреди скверика, прямо напротив входа в книжный магазин Сибкрайиздата.

Эффект, конечно, был потрясающий. Утром толпа народа созерцала наше произведение. А вечером я направился к Александру Павловичу, но он в тот вечер меня не принял; Женя Явельберг сказала, что он занят, а вслед затем заявила, что его нет дома. Возможно, что он рассердился на нас за нашу проделку... Но, впрочем, никаких мер принято не было, и рука торчала в сквере до тех пор, пока ветры ее не свалили и мусорщики не унесли ее на свалку.

Словом, все забылось, а с течением времени и Оленич вернул нам свою благосклонность, но тут разразились события, не имевшие никакого отношения к зеленой руке, но имевшие прямое отношение к Антону Сорокину: его арестовали. И арестовала его не милиция за обычные его безобразия вроде нарушения правил уличного движения путем устройства заборной выставки футуристических картин, а арестовало ГПУ...

Как выяснилось, Антон Сорокин был взят в связи с петропавловским восстанием, крестьянским восстанием, спровоцированным белогвардейцами и эсерами. Эти негодяи воспользовались известным сорокинским манифестом, обращенным им к колчаковским писателям в 1919 году: Мы, король писательский, Антон Сорокин, повелеваем вам, петербургским и московским литераторам, сбежавшимся в стольный град наш Омск со всей России, не отбивать хлеб у газетчиков, чернорабочих слова. Вот этот-то антиколчаковский манифест Сорокина и использовали повстан-

цы, распустив среди темных крестьян слух, что в Омске Советская власть уже свергнута и провозглашен король Антон I, то есть Антон Сорокин. И в результате Антон Семенович оказался в ГПУ, а все мы, друзья Сорокина, ходили растерянными, а Александру Павловичу Оленичу-Гнененко пришлось затратить порядочно времени, чтобы выручить Антона из узилища.

Впрочем, Антон Семенович вышел из заключения как ни в чем не бывало. Он рассказывал, что чекисты, поначалу суровые, затем обращались с ним очень любезно, а конвоиры даже любовно возглашали ему: «Антоша, топай на допрос!»

Но зато хмуро и нелюбезно вспоминал обо всей этой истории Александр Павлович. Конечно, ему было очень много хлопот с нами всеми, включая и собственного его отца. Старый отец поэта, бывший переселенческий деятель и либерал Павел Павлович, в советское время ставший сперва энергичным редактором железнодорожной газетки «Сигнал», а потом добрейшим начальником уголовного розыска, был к тому же и поэтом. И когда Оленич-сын сделался редактором «Рабочего пути», Оленич-отец являлся к Оленичу-сыну с требованием: «Сашка, печатай мои стихи!» Надо полагать, в кабинете происходили бурные сцены. Увы, я недостаточно осведомлен, чтобы написать историю этой славной семьи, возможно, что я тут многое путаю, но твердо знаю одно: Павел Павлович был милейшим человеком и достойно окончил свою жизнь.

Возвращаясь же к описываемому мною времени, я должен лишь повторить, что Александр Павлович, несмотря ни на что, относился к нам всем терпеливо, воистину по-товарищески. И я помню, как снова и снова я появлялся по вечерам у них на Лермонтовской, в квартире на задах аптеки, которой заведовала Женя Явельберг, и как Александр Павлович, лежа на узкой кровати в узкой комнате, в полутьме и отдыхая, слушал мои дикие стихи, изредка вставляя иронические свои замечания, порой даже, казалось мне, и невпопад. Конечно, он думал о своем. Как я теперь понимаю, ему было о чем подумать и как председателю губисполкома, и, поздней, как редактору губкомовского органа печати, если я правильно помню последовательность его служебных перемещений. Но в той или иной роли он, разумеется, всегда был озабочен теми делами, о которых я, только поэт, даже и не подозревал. Сей-

час я это хорошо понимаю. Ведь, например, следом за обширным ишимско-петропавловско-тобольско-березовско-обдорским восстанием зимы 1921 года, нити которого тянулись в Западный Китай, к бандам Бакича и Анненкова, назрела еще и базаровско-незнамовская авантюра 1922 года, когда были обнаружены и обезврежены заговорщики на громадной территории от Новониколаевска до Борового. Я узнал об этом по-настоящему только сейчас, из ныне опубликованных сведений, в новых книгах, вроде, например, книги «Крах вражеского подполья» Д. Голинкова, а Александр Павлович, не сомневаюсь, отлично знал обо всех этих делах и тогда, когда они происходили. И если мне казалось, что я живу в мирном и относительно спокойном Омске, то Оленич, беседуя со мной по вечерам о литературе и искусстве, знал, что он ведет эти вечерние беседы в городе, окруженном враждебными, еще не окончательно выявленными силами. Вот в какой обстановке Александр Павлович Оленич-Гнененко замышлял и осуществлял издание журнала «Искусство» на базе вновь организованного Художественно-промышленного техникума имени Врубеля, при сотрудничестве местных и наезжих художников и писателей.

В этом журнале были и стихи Александра Павловича: «Я сегодня посетил полюс. В озарении полярных созвездий там два медведя боролись. Два полярных больших медведя». Теперь, вспоминая эти стихи, может быть, и не точно, я представляю себе, тоже, может быть, не очень точно, но достаточно ясно, о чем мог думать Оленич, сочиняя их. Бог ты мой, о чем только не приходилось ему думать! Ведь в числе всего прочего ему приходилось думать и обо мне, укравшем ржавую руку с аптеки, а затем требовавшем дать командировку в Москву для продолжения образования. Он, как председатель губисполкома, дал мне эту командировку за всеми штампами и печатями. Он относился ко мне хорошо, насколько хорошо мог относиться ответственный партийный работник к юноше-поэту, поэту-футуристу. Конечно, сам будучи поэтом, он не мог относиться ко мне иначе. Да и как иначе ко мне, будущему переводчику Петефи, Мицкевича и Тувима, мог относиться он, будущий переводчик Эдгара По и «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Я мог бы, конечно, рассказать и еще кое-что о наших дальнейших отношениях с Оленичем-Гнененко, о встречах с ним в Москве, куда он при-

езжал уже из Ростова-на-Дону. Интересно, что, когда мы встречались, он чаще всего принимал для беседы со мной, будто по инерции, ту же позу, что и раньше, то есть ложился на кровать и, снисходительно слушая меня, изредка прерывал мою речь своими саркастическими замечаниями. Все шло нормально, но вроде как бы раздружились мы с ним уже после войны, когда он пригласил меня стать участником крымской писательской коммуны, которую он замышлял. Я сначала дал согласие, но потом передумал, и, хотя из этой коммуны у него ничего не вышло, он все-таки долго еще сердился на меня. Но ведь речь-то в данной главе идет не столько о дальнейших наших судьбах, сколько о временах становления Советской власти, о тех временах, когда поэт Александр Оленич-Гнененко был более известен населению большого города как лицо сугубо официальное, а я, легкомысленный, писал о себе:

Ветер мел снег, клубил песок,
И, кепи на затылок сдвинув,
Багроволиц, угрюм, высок,
По Лермонтовской шел Мартынов!

Дом на Почтовой

«В доме Хлебникова (ул. Почтовая, № 27), сохранившемся до наших дней, любили бывать молодой поэт Петр Драверт, писатель Леонид Мартынов, первый нарком путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров, работавший **в то время** (выделено мной.— *Л. М.*) инспектором страхового общества «Саламандра». Особенно желанным гостем Хлебникова был будущий автор оперы «Укрощение строптивой» Виссарион Яковлевич Шебалин, чье имя носит сейчас Омская музыкальная школа».

Так повествует в своей статье «Аккорд «Марсельезы» («Омская правда» от 29 апреля 1972 года) председатель общества охраны памятников Ленинского района (очевидно, охраны памятников старины) В. Шакурова. «Странички истории» — гласит подзаголовок статьи. По статье этой, вероятно, где не надо, порядочно погуляли редакционные ножницы, а где надо, увы, не прошлось вдумчивое редакторское перо, потому что из текста получается, будто я,

писатель Леонид Мартынов, наряду с упомянутыми выше лицами, бывал в доме Хлебникова еще до революции, в то время, когда Елизаров работал агентом страхового общества «Саламандра». Ведь уж после упоминания обо всем этом сказано:

«Утро 1917 года, когда в Омске стало известно о победе Великой Октябрьской социалистической революции, Арсений Илларионович встретил восторженно, и, когда по улице Лермонтова шла демонстрация, он раскрыл настежь окна своего дома, сел за рояль и громко, вдохновенно, с удивительной радостью начал играть «Марсельезу». Играл он долго, с улыбкой, первый раз в жизни открыто наслаждаясь этой мелодией».

Тут будет уместно заметить, что наслаждаться этой мелодией открыто в первый раз в жизни Хлебников мог и более чем на полгода раньше, то есть с весны семнадцатого года, со дней Февральской революции. Впрочем, я не знаю. Но как бы то ни было, а я стал бывать в доме Хлебниковых, по крайней мере, лет на пять позже, и, говоря, например, о встречах моих там с Дравертом, правильнее было бы сказать, что здесь встречались не молодой поэт Драверт с писателем Мартыновым, а молодой Мартынов и если не старый, то, во всяком случае, вдвое старший Драверт, потому что во время наших там встреч я был еще совсем юнцом, а Петр Людовикович Драверт — почтенным бородатым профессором минералогии. Потому что это было уже в середине двадцатых годов, когда, кстати сказать, Виссарион Шебалин учился в Москве в консерватории, а от страхового общества «Саламандра», в котором когда-то работал Елизаров, бывавший гостем Хлебникова, когда-то раньше, от этого страхового общества оставалось разве лишь лепное изображение саламандры над кариатидами подъезда старого здания в бывшем Гасфортовском переулке.

Но довольно ворконти по поводу мелких хронологических неточностей, свойственных почти каждой, самой что ни на есть старательной попытке молодых исследовательских глаз заглянуть в седую старину. В общем-то, конечно, все верно. И больше того — я узнал из этой статьи молодой исследовательницы очень много не известных мне до сих пор данных о хозяине того дома, чьим гостем я бывал, действительно, не однажды, но уже после смерти Арсения Илларионовича Хлебникова, который в последние годы

своей жизни был юрисконсультом ряда советских учреждений и губземотдела, и рабоче-крестьянской инспекции, и Сибопса, то есть Сибирского округа путей сообщения.

Вдова Арсения Илларионовича и ее дочери, Галя и Люся, две эти девушки, в силу знакомства с которыми я и вошел в этот дом, и их брат, все они или по скромности своей или полагая, что я, как газетный сотрудник, знаю об Арсении Илларионовиче и без них все сам, ничего мне подробно не растолковывали. А если и говорили вскользь, то это пролетало мимо моих ушей, в которых свистел ветер мальчишества.

Конечно, я в общем-то знал: отец Гали с Люсей — адвокат, когда-то пострадавший от царизма и, само собой разумеется, не от хорошей жизни попавший в Сибирь откуда-то с юга. Но я не знал, например, что еще на юге, на Кубани, в екатеринодарском обиталище отца своего Иллариона Хлебникова юный Арсений Хлебников встречался с революционерами, с такими значительными общественными деятелями как, например, писатель Серафимович. Я не знал, что, будучи еще воспитанником Кубанской военной гимназии, Арсений Хлебников стал членом кружка народного учителя Концевича. Я не знал об этом, а быть может, и слышал, но не заинтересовался — какое дело мне, росшему в буйной атмосфере двадцатых годов, участнику буйной ватаги футуристов, какое мне было дело до кружка народного учителя Концевича и вообще до революционеров-семидесятников, народников, или как их там звать! И я, приходя к Хлебниковым, не расспрашивал о былом и не узнал даже о том, что, будучи уже студентом Петербургского университета, Арсений Хлебников стал членом подпольной группы Александра Ульянова. Все это я узнал только нынче из статьи Шакуровой, подробно рассказывающей об участии Хлебникова в целом ряде революционных акций того времени — и о том, в частности, как после неудачного покушения на царя, когда группа Ульянова была полностью разгромлена, Арсений Хлебников был сослан в Восточную Сибирь и что, оказывается, Хлебников в пути по этапу познакомился в арестантском вагоне с П. Ф. Якубовичем-Мельшиным (Меньшенным, как ошибочно набрали в статье Шакуровой), то есть поэтом, прекрасно известным мне не только своим оригинальным творчеством, но и переводами бодлеровских «Цветов зла».

После пятилетней ссылки Хлебников вернулся в Екатеринодар, на тридцать седьмом году жизни получил разрешение сдать экстерном экзамены на юридическом факультете Казанского университета, а затем, утомившись жить под надзором полиции в Европейской России, счел за благо перебраться за Урал. И поселился в Омске, получив там только через три года право заниматься юридической практикой. Это было уже в революционном 1905 году, году моего рождения. С этого года в городе, где я родился, он и занялся адвокатурой, участвуя в целом ряде политических процессов, защищая многих, в том числе и большевиков. Спас, например, в 1906 году от смертного приговора военного суда слесаря железнодорожных мастерских Ф. Плюхина. Об этом процессе пишет Шакурова. Думаю, что отец мой, железнодорожник, хорошо знал об этом процессе. Хлебникова-то он знал наверняка, но я ничего не знал ни об этом процессе, ни о ряде других событий времени моего младенчества — ни от Хлебниковых, ни от отца. Сейчас я говорю об этом с сожалением, но не столько за себя, сколько за некоторых современных подростков и молодых людей, которые зачастую поражают меня своим легкомысленным отношением к действительности и недавнему прошлому, будто бы это все их не касается. Я самокритически вспоминаю и свою молодость, и свое недостаточное внимание к многим событиям, о которых я мог когда-то узнать из первых рук, из рассказов очевидцев и участников, но, увы, только жалею теперь, что в свое время не сделал этого.

Я отчетливо помню этот скромный домик на Почтовой, окаймленный скрипучими и шатучими деревянными тротуарами, зимой тонущими в сугробах, а весною и осенью как бы виснувшими над слякотью немощеной дороги, как над свинцовою бездной. Это был довольно захолустный перекресток без тени зелени, ибо считалось, что древонасаждения не прививаются на солонцеватой степной омской почве. Постучав в парадную дверь с Почтовой — эти двери обычно открывала третья сестра Хлебникова, еще совсем девочка, кажется, Зиночка,— я шел по темному коридору в комнату направо, где обитала уплотненная семья покойного адвоката. В комнате было тесно. Стараясь не задеть за мебель и, главное, за рояль, я обычно протискивался на диван, откуда и слушал игру Галины. Она была в отца, который когда-то (об этом-то говорилось!) не только самозабвенно играл на скрипке и на рояле, но и сочинял му-

зыку. И дочь его Галина музицировала вдохновенно и умела с толком поговорить о музыке вообще и, в частности, о музыке уехавшего уже в Москву Виссариона Шебалина. Но несмотря на то, что Галя, музыкант-профессионал, была как будто бы и ближе мне, как поэту и как приятелю близкого ее душе Виссариона, я гораздо теснее контактировал со старшей сестрой Галины — Люсей, которая зарабатывала на хлеб насущный стрекотом на пищущей машинке, не помню в каком советском учреждении. Контакты наши создались главным образом на почве спорта. Спортсменками, конечно, они были обе — и Люся и Галя, но Галина любила парусный спорт и украшала своим присутствием иртышский яхт-клуб, где было немало лихих капитанов, а вице-командором которого был профессор Александр Львович Иозефер, эффектный худощавый математик, похожий одновременно на Шерлока Холмса и на Мефистофеля. Но если Галина любила паруса, гики, шверты и оверкили, то Люся предпочитала весла, греблю. И я часами катал Люсю на шлюпке или на остроносой стерляжеобразной тоболке, качая на пенистых гребнях волн и презирая при этом Галину, пассажирку больших и комфортабельно-безопасных, по сравнению с утлыми лодчонками, парусных яхт. И вообще я критиковал Галину с ее вкусами и устремлениями. А когда она однажды, к ужасу больной матери своей, задумала, покончив с пыльной омской житейской прозой, уехать на работу в экзотически-сказочное царство Комсеверпути в Арктику, я даже написал насмешливые стихи под названием «Бросьте!»:

Я противник лютых зим, тяжко севера проклятье!
Разве девушка и ним совместимые понятья!
Знаю: заработок мал, вечно по урокам рыскай!
Но стремиться на Ямал радиотелеграфисткой!
Бросьте! Вечные снега только издали Вам любы!..

Я даже напечатал эти стихи в газете, у меня до сих пор сохранилась пожелтевшая вырезка. Но Галина все-таки действительно уехала, только не на Ямал, а в Ленинград. И затем, уже в Москве, я как-то раз неожиданно встретил ее возле Камерного театра. Шел дождик, мы поговорили минуту и разошлись по своим делам. Однажды, приехав в Омск, я нашел мать этих девушек уже в другой комнате домика на Почтовой, в комнате, глядящей окнами не на двор, а на улицу, еще более тесной, хотя спокойная болез-

нениая женщина и не имела никаких претензий ни к кому и ни на что не жаловалась, даже на одиночество, ибо и Люся тоже переехала в Ленинград. А еще позднее, уже в шестидесятых годах, в Коктебеле, мы с женой встретили отдыхавших там в качестве «дикарей» Люсю и ее мужа, ленинградского инженера-кораблестроителя Гирса. После этого мы не однажды говорили с Люсей по телефону, а потом она неожиданно и безвременно умерла. И впоследствии я еще несколько раз говорил по телефону с Галиной по разным поводам — и о том, что надо бы как-нибудь повстречаться. Но встреча не состоялась. А переписка (праздничные поздравительные открытки) и телефонные разговоры с тех пор прекратились. И казалось бы, что все на этом и кончилось и даже воспоминания о нашем старом знакомстве потонули в потоке текущих дел и суеты житейской. И, вероятно, я бы даже и не написал этой главы воспоминаний, ибо мои придирчивые читатели ждут от повелл этой книги острой сюжетности, привыкли к тому, что в этих новеллах всегда что-то такое неожиданное случается, происходит, а мои смутные воспоминания о знакомстве с Хлебниковыми, в сущности, были до последнего времени как раз лишены этой самой динамики событий.

Но вот теперь этой газетной вырезкой, этой скромной статьей «Аккорд «Марсельезы», будто самой жизнью, самой современностью, внесен этот необходимый, недостающий элемент. Разве не драматически сюжетна посмертная судьба хозяина домика на Почтовой, судьба этого революционера, общественного деятеля, адвоката, музыканта, о котором, казалось бы, все забыли, а вдруг да и вспомнили. И с радостью, но и с некоторым сожалением, что не сделал этого сам, я думаю: «Вот вспомнили, да, может быть, найдут еще — едва ли, впрочем, на чердаке до сих пор уцелевшего домика на Почтовой! — его адвокатские архивы, его наверняка исторически ценные деловые бумаги, письма, а может быть, даже и записки, и мемуары, и ноты, музыкальные произведения...» Все возможно, коль уж о человеке все-таки вспомнили, заговорили, написали через полвека со дня его смерти, хотя и с некоторым опозданием, но как бы к столетию со дня рождения. Вот он, сюжет этой пусть и не особенно связной главы скромного моего повествования.

Врубель —
мой земляк

Врубель — мой земляк.

Правда, его увезли из Омска еще младенцем, но я, будучи подростком, не однажды заглядывал на Тарскую улицу, в одном из домов которой, по предположениям краеведов, жили когда-то Врубели. Я искал. Но чего? В палисадниках и на дворах я искал не обломки врубелевской колыбели, не остатки каких-нибудь его детских игрушек, но я искал ту сирень, вернее, прообраз той сирени, которая могла породить впоследствии образ сирени, глядящей с врубелевского полотна. Конечно, я понимаю, что едва ли может уцелеть за три четверти столетия именно тот самый куст, который, возможно, в свое время попался на глаза младенцу Врубелю. Но вообще говоря, я не отрицал и не отрицаю такой вероятности. Откуда мы знаем, что и с каких пор человек помнит? И почему бы у младенца Врубеля не могла бы запечатлеться за окном их обиталища какая-нибудь весенняя сирень, расцветшая фиолетовыми звездами на омских задворьях?

Да и только ли сирень? Мне кажется, что в творчестве Врубеля отразилось и немало других его самых ранних воспоминаний, допустим, о дороге из пыльного Омска в миазматическую холерную Астрахань. Почему бы и не могли запечатлеться младенцу воспоминания об этом долгом пути по степям, где солончаки белеют, как снег, а снега, как солончаки, а затем через красные горы, торчащие из сизой земли? Даже врубелевское видение Демона, казалось мне, навеяно не только лермонтовским Кавказом, но и собственным скитальческим детством. Мрачно одухотворенный лик Демона возвышается над фиолетовожильною мускульной плотью, как бы подвергнутый нечеловеческой пытке сдиранья кожи с живого тела. Само собой разумеется, что это мотив общечеловеческий, но, может быть, гамма красок вобрала в себя не только отблески азиатских зорь и костров, но и отзвуки преданий о старинных распрях и расправах в степи и горах над врагами? А может быть, фиолетовые скалы вокруг Демона напоминали мне красные скотские туши на омских базарах и ярмарках? Все это, как мне чудилось, могло быть знакомо и моему земляку Врубелю и так или иначе могло отразиться в его будущем творчестве. Хотя, впрочем, я знал тогда все эти полотна лишь по

репродукциям, и далеко не первосортным, делавшим, например, его сирень подчеркнуто серой, а Демона — сизым. Пожалуй, только «Пан» никак не смыкался с окружающей меня суровой азиатскою явью: от Пана, его флейты и тусклого мутного серпика веяло на меня, наоборот, лишь далеким Западом, тем далеким Западом, куда, думал я, ушел и сам Врубель и откуда явились те художники, при участии которых и был создан в 1920 году в пыльном Омске, на родине Врубеля, Художественно-промышленный техникум его имени.

Что это были за художники?

Надеюсь, что об этом расскажут подробно, а может быть, уже и рассказали сибирские искусствоведы. Я, к сожалению, не имею в своем распоряжении всей новой литературы по этому вопросу. Но, например, в попавшейся мне под руки очень любопытной, изданной в прошлом году Институтом истории филологии и философии Сибирского отделения Академии наук книге В. Л. Соскина «Культурная жизнь Сибири в первые годы нэпа» я хотя и нашел краткое упоминание о Художественно-промышленном техникуме имени Врубеля, но, увы, не нашел имен его деятелей. Вот и я так же не могу указать,— не только не помню, а просто не знаю,— кто был директором этого единственного в Сибири художественного техникума, кто были преподаватели. Думаю все же, что там должную роль играли старые почтенные омские художники, в том числе, вероятно, и мой бывший гимназический учитель рисования и чистописания желчный Куртуков.

Но я общался с художнической молодежью. Может быть, это была не только учащаяся молодежь, а и молодежь, не учащаяся, а просто толкущаяся вокруг врубелевского техникума как некоего объединяющего центра. Тут я боюсь ошибиться. Конечно, учился в техникуме Петя Черный, подмастерье мужского и дамского, военного и партикулярного портного Шахина, красавец, любитель танго и заика, кубист по убеждениям, воспетый мной впоследствии в поэме «Рассказ про мастерство». Разумеется, он был студентом техникума, ибо на каких же других основаниях мог бы он продолжать свое художественное образование в Ленинграде, куда уехал затем и Петин товарищ, нежный и мечтательный акварелист Бибиков! Почти нет у меня сомнения в том, что учился в техникуме и талант-

ливый прикладник Федотов или Федоров, резчик по дереву, добрый молодец, чье широкое, покрытое ранними морщинами простодушное крестьянское лицо, как сама резьба по дереву, выглядывало из-под традиционной художнической шляпы.

Но явно не учились в техникуме такие орлы, как Мамонтов, Уфимцев, Шабля, эти бунтари, которые, несмотря на свою молодость, предпочитали не учиться, а учить, поучать крайнему импрессионизму, футуризму, словом, новаторы в большей мере, чем это признавалось допустимым в техникуме. Это была, я бы сказал, боевая молодежь, если и связанная с техникумом, то лишь на почве дискуссий с ее почтенными руководителями, и если дружившая, то не с учителями, а с учениками. Вот что я помню. Но опять-таки положительно не помню, кто именно присутствовал и, так сказать, задавал тон торжеству, которое было организовано в техникуме имени Врубеля под Новый, если не ошибаюсь, 1921 год. И если кто-нибудь из участников этого торжества жив поныне и, прочтя эти строки, скажет, что в одном из упомянутых, но не поименованных он узнал себя, а на самом деле, он в этом не участвовал, то я заранее снимаю с себя ответственность, заявляя, что, может быть, это были какие-то вовсе другие ребята, фамилии и облики которых я позабыл за полвека.

А вспоминается мне только вот что.

Было сказано: «Приходи сегодня вечером в техникум Врубеля на елку».

И я помню, как я вошел в белое приземистое здание техникума имени Врубеля напротив Ильинской церкви. Ведь это было здание бывшего технического училища, того самого, в котором когда-то учился мой отец. Канцелярии были пусты, директорский кабинет — на замке, но дух искусства витал в этих темных коридорах. И мне даже почудилось, что я слышу голоса муз, покровительниц живописи и прикладного искусства. Но это были просто девические голоса: естественно, среди приглашенных на елку должны были быть не только мужчины. И действительно, войдя в аудиторию, или класс, озаренный несколькими толстыми кондукторскими железнодорожными свечами, вставленными вместо подсвечников в какие-то дореволюционные ликерные бутыли, я увидел, что, кроме мертвых серых гипсов и живых лохматых художников, здесь присутствуют и два бескрылых овчинных ангела — две девы, одна

в светлом, а другая в темном полушубке, и обе в длинноухих заячьих шапках, как это было в обычае в те суровые времена. Но от созерцания ангелоподобных существ меня отвлекла сама елка, большущая елища, лежащая поперек класса на полу. Вокруг нее громоздились банки с красками, змеились гирлянды, мерцали серебристые, позолоченные и ядовито-зеленые стереометрические фигуры, воплощающие различные символы современности. Ангеловидные девы поглядывали на все это с любопытством, но без восторга.

— А дед-мороз? — спросил девичий голос.

— Возьми ваты и сделай! — ответил художничий голос.

— А танцы будут? — спросила другая.

— Вот когда установим елку, то вокруг нее и пляшите!

— А как вы ее установите? — спросила другая девушка.— У вас нет креста!

— Действительно, о подставке мы не подумали,— воскликнул кто-то.— Но вот что: мы елку просто подвесим! К люстре!

— А не оборвется? Не произойдет замыкания? — спросил я.

— Чему замыкаться? Люстра недействительная. Видишь — свечи! — сказал один из устроителей.— Девушки, ищите веревки!

— Сами ищите,— сказала одна.

— А мы лучше пойдем в клуб на танцы! — надменно добавила другая.

И они упорхнули.

А мы, раздобыв в кладовке веревок, забросили петлю на люстру и стали подтягивать ель. Но дело не ладилось, верхушка ломалась, узел соскальзывал. И тогда родилась идея подвесить ель вверх тормашками, зацепив за могучие нижние лапы. И это блестяще удалось нам.

— Смотрите, она даже вращается! Развешивайте игрушки! Они будут блистать!

Но, завершив дело рук своих, мы все же ощутили и некое чувство неудовлетворения — на дикую красоту, неожиданно созданную нами, на эту елку, глядящую на нас как бы из поднебесья, некому было полюбоваться, кроме нас самих. Меховые ангелицы улетели, время шло к ночи, вернее, к полуночи. И тот автоконьяк, или авиаконьяк, словом, ту техническую, но годную и для иного употребления

смесь, которая была в нашем распоряжении, нам хотелось допить до конца не в одиночестве, а с кем-нибудь вместе. Но кого позвать? Если Антона Сорокина, жившего неподалеку на Лермонтовской, так он уж давно спит, и жена не пустит его шататься ночью! Кого же позвать еще?

— А мы выйдем на улицу да пригласим первого встречного!

Это предложение было принято без дискуссий: вот это по-нашему! Общение с самыми широкими слоями населения! Искусство в массы!

И под эти лозунги мы, наскоро облачившись в свои разномастные богемно-разбойничьи одежды, ринулись в путь.

К ночи мороз окреп до отчаянности. Под азиатскими звездами кристаллически мерцали как бы гипертрофированные наросты инея на кустарниках скверика перед Ильинской, изумрудно-зеленой от лунного сияния церковью. Над Омью цепенела промерзшая до корешков своих книжных переплетов Пушкинская библиотека. А слева мерцал своими оледеневшими окнами бывший генерал-губернаторский дворец, преображенный Советской властью в краеведческий музей. Смахнув с ресниц мгновенно намерзшую на них изморозь, я убедился, что на всем видимом пространстве не просматривается ни одного человека. Даже на Железном мосту через Омь, когда мы к нему приблизились, казалось, не было и дежурного милиционера, который мог бы обратить внимание на нашу ватагу. Словом, в этом морозном рождественском мире не ощущалось ничего живого, кроме скрипа наших сибирских пимов и американских буц.

Но тут послышалось фырканье коня.

— Пегас, Пегас! — воскликнул кто-то из нас, и мы увидели, что на биржу, то есть на извозчичью стоянку поблизости от памятника Героям Революции, медленно подкатил тонущий в исходящем из конских ноздрей дыхании одинокий извозчик. И мы, не сговариваясь, ринулись к нему всей компанией и закричали вразнобой, приглашая к нам на елку погреться, повеселиться. Но он, сперва не поняв, в чем дело, а после, видимо, испугавшись: не попытка ли это его ограбить,— хлестнул конягу и ускакал.

— Паршивый Пегас унес от нас гостя! — захохотали мы, возвращаясь в техникум.

И там-то, в сенях, встретив сторожа, сонно спросившего нас, чего мы тут шарашимся, вместо ответа мы затащили

его в класс. Но, остановившись в дверях и взглянув на нашу елку, он плюнул и воскликнул:

— Креста на вас нет!

И ушел, не захотев выпить нашей авто- или авиасмеси.

В рассуждении насчет креста он, как я теперь соображаю, каким-то образом сошелся с покинувшими нас меховыми ангелами, хотя девушки и указали на отсутствие креста совсем как будто бы в другом смысле.

И все же, я считаю, что елка была неплохой. Это была чудовищная елка, возникшая как буйственное отрицание старинного обычая, елка, еще не превратившаяся из своего отрицания в грядущее отрицание отрицания, то есть в свое будущее, не мистически-религиозное, но тем не менее победоносное возвращение в быт. Ведь и игрушки на ней олицетворяли хоть еще и не в духе социалистического реализма, но символически, экспрессионистически и кубистически, эмблемы и символы новой яви и пятиконечные, хотя и не геометрически точно выполненные звезды, и серпы с молотами, и богатырки, и какие-то сложные, почти что индустриальные конструкции, которые, я думаю, оценил бы и сам Татлин, приезжавший, как я узнал позже, как раз в те годы в Омск в качестве инструктора Всероссийского совета не расформированного еще тогда Пролеткульта для обследования деятельности рабочих театров.

Татлин, если это был тот, а не какой иной Татлин, я думаю одобрил бы нашу елку.

Но как бы отнесся к ней Врубель, чей бессмертный дух несомненно витал под кровлей художественно-промышленного техникума его имени?

Впрочем, это вопрос пустой.

И мне теперь в связи с этой нашей врубелевской елкой вспомнилась снова все-таки не столько елка, сколько сирень. Мне кажется, что в ту морозную ночь оледенелые, заиндевелые до фиолетовости кусты за окном врубелевского техникума блистали, черт побери, именно как отсутствовавшая на Тарской улице врубелевская сирень. И, может быть, вспомнить обо всем этом меня заставило мое недавно написанное и напечатанное стихотворение «Сирень». Привожу его с некоторыми вариантами, оставшимися в черновике:

Корявая сирень.
Я из твоих ветвей
Не выдолблю свирели!

Нет ничего кривей
Изогнутых ветвей
Сиреневой сирени.
Нет ничего немей
Ветвей твоих скрещенья.
Пусть прелесть веток-змей
Поют не Фет, так Мей,
А ты цвести умей
До звездоизлученья:
Нет ничего прямей
Прямого назначенья.

Мне следовало бы написать эти стихи еще тогда, сразу, в ночь под Новый год, но почему-то я написал их, как говорится, несколько позднее упомянутых событий.

Как я начал печататься в «Сибирских огнях»

Началось это с одной встречи с Василием Никоновым, заведующим книжным магазином Сибкрайиздата в Омске, у Железного моста.

Я познакомился с Никоновым не столько даже как поэт, сколько как газетчик. Я приходил к Василию за информацией о книжной торговле, а также за новинками, которые брал с тем, чтоб, аккуратно прочтя и возвратив в целости и сохранности, написать о них библиографические или даже критические заметки в газету «Рабочий путь». Никонов охотно доверял мне книги. С удостоверением от Никонова я даже отправился однажды книгоношей по Заиртышью, но об этом, как и об издательской деятельности Василия, я поведаю особо и в другой раз, а в данном случае я расскажу о той памятной встрече, когда Василий протянул мне небольшую книжку, отпечатанную на грубой, чуть ли не оберточной бумаге.

— Обрати внимание на обложку,— сказал Никонов.— В такую синюю бумагу упаковывались сахарные головы. Но, как видишь, нынче даже в наших сибирских захолустьях хоть на такой бумаге, а печатаются фантастические романы! И тут ты найдешь кое-что и по своей части, в смысле поэзии. Вот, например:

Мир исчезал, но мы летели дальше,
И сердце не хотело возвращенья.

Так мне в руки попала «Страна Гонгури», повесть Вивиана Итина, изданная в Канске. Эта книжка, еще и тогда, почти сразу по выходу в свет, ставшая библиографической редкостью, не случайно оказалась у книголюба Василия Никонова. И, конечно, он сразу понял, какое на меня впечатление произвела «Страна Гонгури».

— Возьми, возьми ее себе насовсем! — сказал он.— Понятно: рыбак рыбака видит издалека!

И я унес книжку, и если о ней моя рецензия и не появилась в газете, то только лишь из-за ее длины, а сокращать ее мне не хотелось по мальчишеской гордости.

Мне шел восемнадцатый год, я был горд и бескомпромиссен и писал, как мне нравилось: хотите — печатайте, хотите — нет! В ту осень я писал особенно много, хотя в печать попадало далеко не все, особенно не везло со стихами. Что из стихов у меня было напечатано к этому времени? Пожалуй, только два стихотворения «Цирк» и «Циклон» в «Рабочем пути», который редактировал Александр Павлович Оленич-Гнененко, да еще маленький цикл «Мулен Руж» в журнале «Искусство», издававшемся Омским художественно-промышленным техникумом имени Врубеля, да еще — самое главное! — два диких стиха в сборнике «Футуристы». Этот замечательный сборник, я думаю, стал еще большей библиографической редкостью, чем отпечатанная в Канске «Страна Гонгури». Выпустил ее пламенный живописец Виктор Уфимцев во время поездки на агитационном пароходе по Оби. Виктор отпечатал это издание в пароходной типографии, вырезав на линолеуме всякие рисунки и портреты участников сборника — художников и поэтов, поэтов, чьи стихи набрал на память... Вот, пожалуй, и все стихотворное, что было у меня напечатано к тому времени, когда я, не закончивший среднюю школу юнец, деятельно работал в трех омских газетах — «Рабочем пути» у Оленича-Гнененко, в редактировавшейся отцом Александра Павловича — Павлом Павловичем — железнодорожной газетке «Сигнал» и «Сибирском воднике». Но, сочиняя заметки хроники, библиографию и поставляя происшествия, я писал все больше и больше стихов. Это были фрагменты того, что затем составило «Адмиральский час». Помнится мне и баллада «Золотой легион», в которой речь шла о чешских легионерах,— о том, что пароход, на котором уехали из Владивостока легионеры, оставив там обманутых русских жен, настигла в океане заплывшая

: южные широты ледяная гора. Было у меня и еще много стихов на самые разные темы — современные, исторические, лирические. И в том числе я написал однажды стихотворение «Провинциальный бульвар». Это было стихотворение отнюдь не на локальную местную тему. В Омске того времени вообще не было бульваров, если не считать небольшого участка уличных древонасаждений на задах медицинского института, начиная от старого здания музея до здания бывшего коммерческого училища, а затем — рабфака. Но вовсе не об этом подобии бульвара шла речь в моих стихах. А это был бульвар с афишными тумбами и с извозчичьими стоянками, большой, настоящий, но не похожий ни на московские, въявь мне известные, ни на парижские, известные по книгам и картинам, бульвар, некий провинциальный бульвар, на котором «извозчики балагурят, люди проходят, восстав от сна», ибо так и бывает: проходят бури, и наступает тишина, обманчивая, неверная тишина перед новыми бурями, перед новыми событиями, большими и малыми.

Это была, как мне кажется, простая и здравая мысль. И действительно, события большие и малые шли своим чередом, и среди них произошло для меня и такое.

Однажды, когда я работал за столом против окна, в окошко кто-то постучался. Я протер стекло — дело было зимой — и увидел за окном человека в полушубке и, кажется, кожаной шапке. Он улыбался. Войдя в дом, он произнес медленно и гортанно:

— Я слышал, что тебе понравилась «Страна Гонгури». А я читал твои стихи в журнале «Искусство». Мне нравятся. Здравствуй!

Это был Вивиан Итин, который работал уже не где-то в Канске по линии Наркомюста, а уже в Новониколаевске, создавая вместе с Зазубриным и Басовым журнал «Сибирские огни». О том, что мне понравилась «Страна Гонгури», он узнал то ли от Никонова, то ли от уехавшего в Новониколаевск Кондратия Урманова. И вот, приехав зачем-то в Омск, он явился ко мне.

Он был старше меня лет на десять. Под дубленым полушубком он носил аккуратный костюм. Был медлителен и застенчив. Сказав что-то вежливо-невнятное моей маме, которая предложила ему чашку чая, он увлек меня от чайного стола к письменному.

— Покажи стихи.

И отобрал несколько стихотворений, в том числе «Провинциальный бульвар».

И ушел. И, видимо, в тот же день уехал.

А через некоторое время я получил от него письмо о том, что стихотворение «Провинциальный бульвар» идет в «Сибирских огнях». А вслед за этим в руках моих оказался и этот номер журнала, в котором я не нашел стихотворения, хотя в оглавлении оно было обозначено. И почти одновременно пришло известие от Вивиана, что один из членов редколлегии ударил в набат и добился изъятия моих стихов, перепечатки этого листа, но в оглавлении мое имя и название стихотворения остались.

Сгоряча я написал ругательное письмо этому члену редакционной коллегии. И вскоре пришел ответ не от него, а от Вивиана. Смысл ответа сводился к тому, что все недоразумения улажены. «Приезжай как можно скорей,— писал Вивиан,— и привози новые стихи!»

И я поехал в Новониколаевск.

Помню, приехал я рано утром, часу в шестом. Потолкавшись на неказистом новониколаевском вокзале, я медлительно углубился в деревянный, незнакомый мне город. Идти быстро, чтоб разбудить Вивиана в такую рань, я не хотел и поэтому шел не спеша, раздумывая о разных вещах, о том, как держаться с обидевшим меня членом редакционной коллегии, и так далее и тому подобное. И погруженный в размышления, я сам не заметил, как вдруг очутился на главной улице города. И, взглянув на нее, я осознал, что эта улица, Красный проспект, является не чем иным, как бульваром, обрамленным с обеих сторон невысокими кирпичными, а то и деревянными домами и домиками. И сев на скамейку на этом бульваре и осмотревшись, поглядев на редкие и ветхие афишные тумбы, на дремлющих кое-где извозчиков, я понял, что этот самый провинциальный бульвар со всеми его атрибутами я и описал в стихотворении, вырезанном из «Сибирских огней». Не зная еще этого бульвара, не имея конкретного представления о нем именно,— в Омске таких бульваров не было!— я как бы предвидел его, попал прямо в точку, чем и смутил, вероятно, того члена редакционной коллегии, который, поняв меня не по-хорошему, забил в набат.

«Бывают же такие чудеса в решете!» — подумал я.

Вот с какими мыслями я и пришел часов в восемь утра к Вивиану. Я постучал в окно флигеля на дворе старого

новониколаевского домовладения. Как я в Омске через окошко, так и он теперь разглядел меня через свое окно и впустил в дом. Бреясь перед маленьким зеркальцем, выслушал мой взволнованный рассказ и сказал:

— Ладно. Выпьем чаю и пойдем в редакцию!

Так я познакомился с бородатым, иронически улыбающимся Зазубриным, с розовощеким Басовым, с Ваней Ерошиным, похожим на Сократа и на Верлена зараз, со старым политкаторжанином Вегманом, который показался мне похожим на Карла Маркса, и со многими другими — хорошими, интересными, талантливыми людьми. Встретил я в городе на Оби и старых своих знакомых по Омску — Александра Оленича-Гнененко, Георгия Вяткина, Кондратия Урманова. В облике репортера метался по городу Сергей Марков, русоволосый и легкий. Любитель поэзии и друг поэтов, мечтательный полиглот Ховес водил меня к огнеглазому редактору Шацкому договариваться о сотрудничестве в «Советской Сибири». И впоследствии я действительно ездил, летал, плавал и даже ходил пешком в качестве специального корреспондента «Советской Сибири» и «Сибирских огней» чуть не по всему Зауралью, но куда бы я ни отправлялся, возвращаясь в Новониколаевск — позднее в Новосибирск,— я неизменно стучался в окно к Вивиану, а если дело было летом, особенно летней ночью, то просто влезал в открытое окно его комнаты.

Я хорошо помню эти свои проникновения через окно. Бывало так, что Вивиан при моем появлении даже и не отрывался от работы и лишь что-то мычал вместо приветствия. А я, чтоб не мешать ему, сразу ложился в углу, на медвежью шкуру. Через некоторое время Вивиан все же отрывался от работы, чтобы принести мне простыню, подушку и одеяло. Иногда он задумчиво произносил что-нибудь вроде: «Погоди спать, я тебе кое-что прочту».

Впрочем, однажды он спросил меня все-таки:

— А почему ты не останавливаешься, Ленька, в гостинице, как все люди? — на что я ответил так же просто:

— Потому, что я предпочитаю твое общество обществу гостиничных стен.

Так мы с ним объяснились однажды раз и навсегда. Вопрос был исчерпан. Ведь действительно не из экономии же средств я лез в окно к Вивиану, да я уверен, что и ему было небезынтересно поговорить со мной о том, о чем мы говорили. А тем для бесед у нас всегда хватало. Как-пикак,

а именно в Вивиане я находил терпеливого слушателя своих рассуждений, например, о подземных морях Сибири и Казахстана, то есть о проблеме, за разрешение которой реально взялись лишь теперь, через полвека. Только с Вивианом я мог толково побеседовать о гипотезе Вегенера насчет плавучести материков или о солнечных пятнах и о их влиянии на климат. Словом, нам находилось, о чем потолковать. Я не скажу, что мне не о чем было говорить с другими деятелями «Сибирских огней», но если я договаривался с Зазубриным о поездке на тот или иной объект строительства — в Кузбасс, на Турксиб или куда-нибудь еще, то и с Зазубриным я предпочитал договариваться через Итина.

А однажды мы осуществили поездку совместную.

— Поедем в Ленинград! — сказал Вивиан.— У меня там дела: выпускаю книгу.

— У меня тоже найдутся там дела! — ответил я.— Во-первых, искупаться в Неве, во-вторых, попытаться поступить в университет. На географический факультет.

Эта мысль возникла у меня внезапно.

— Чудак! — сказал Вивиан.— Кто же тебя примет? Ведь у тебя нет и законченного среднего образования. Впрочем, попробуй!

И мы поехали.

В Ленинграде мы приютились на Миллионной, у Сейфуллиной. Она и Правдухин приняли нас неплохо. Вивиан повел меня в вечернюю «Красную газету» к Чагину. Там я увидел много народу. В том числе живого Потапенко, известного мне еще по старым комплектам «Нивы». Петр Иванович Чагин напечатал несколько моих очерков. Потом мы пошли с Вивианом в «Звезду», где Тихонов принял моего «Безумного корреспондента». А затем я пошел к профессору Тану-Богоразу, чтоб он меня принял в университет, но Тан в университет меня не принял: выслушав мои стихи, которые я предъявил ему вместо справки об окончании средней школы, он сказал, что нужные для меня знания я могу получить и путем самообразования. Впрочем, наш разговор с Таном я позже пересказал в одном из стихотворений.

Из Ленинграда мы с Вивианом поехали в Москву, где и расстались. Он вернулся в Новосибирск, я остался в Москве.

У Вивиана в Ленинграде вышла книга «Высокий путь». Через несколько лет у меня вышла в Москве книжка очерков «Грубый корм». Я упоминаю об этих книгах, потому что в обеих из них говорится о нашей молодости, о сибирских делах, и если не прямо, то косвенно, и о «Сибирских огнях», чья редакция поначалу ютилась еще в старом доме на старом провинциальном новониколаевском бульваре-проспекте. Давно нет этого Новониколаевска, этот городок, слава богу, не превратился ни в какой сибирский Чикаго, а преобразился в великолепный, современный Новосибирск.

Но, возвращаясь в воспоминаниях туда, где:

Только один, о небывалом
Крича, в истрепанных башмаках
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках,—

я не могу не вспомнить и других стихов:

Нансен, норвежцы. Норильские горы,
Берег волнами холодными вспенен,
Мы не разбойники-конквистадоры,
Мы моряки с ледокола «Ленин».

Цитирую на память, может быть, не точно, но помнится мне так:

Сердце стучало, моторы работали,
Ветер наваливался, как медведь...
Снова, как в дни Себастьяна Кабота,
Можно воскреснуть и умереть.

Это стихи одного из редакторов журнала «Сибирские огни», стихи моего друга Вивиана Итина.

Теорема бытия

В предыдущих главах на ряде примеров я обрисовал свои взаимоотношения с церковью, рассказал о странных ассоциациях, возникающих у меня при соприкосновении с византийской ортодоксальной церковностью, упомянув о своей бунтовщицкой солидарности с Иисусом Христом Владимира Маяковского и о неприемлемости блоковского

культа Прекрасной Дамы. Теперь я хочу информировать читателя о своих личных контактах с представителями церкви, вернее сказать, с их детьми, моими ровесниками и соучениками. Может быть, это будет интересно не только для историков церкви, таких, как, например, мой знакомый А. И. Клибанов, воинствующий атеист, но и просто для людей, которым не безразлична та атмосфера, та обстановка, в которой росли мы, люди старшего поколения, видевшие крушение старого и становление нового мира.

Первым священником, с которым я столкнулся и соприкоснулся, был отец Леонид Покровский, крестивший меня в Казачьем соборе под знаменем Ермака, которое, как я уже писал, впоследствии было похищено атаманом Анненковым. Отец Леонид нарек меня Леонидом не потому, что был Леонидом и сам, а потому, что так пожелали мои родители, ожидавшие вместо меня девочку и заранее решившие, что она будет Елена, Леночкой. Раз не оказалось Леночки, было решено — быть Леониду. Дети отца Леонида оказались впоследствии моими соучениками по 1-й гимназии, но законоучителем оказался не он, белокурый, с мягкими чертами лица, а чернобородый, с орлиным носом отец Орлов, миссионер, бывший крестителем инородцев как будто бы Обского Севера, человек суровый и мрачный, которого гимназисты не в шутку боялись.

Однако я не боялся угрюмого законоучителя, в сущности, так же как не боялся никого на свете и, как уже сказано, даже не скрывал от отца Орлова своего равнодушия к его предмету.

Я, конечно, не знал, что отец Орлов, изучая мою мятежную натуру, беспокоился, может быть, не столько за меня, сколько за своего сына Сережку, который, видимо, уже высказывал какие-то признаки того, что разразилось позднее.

Но тогда, в девятнадцатом году, я еще и в глаза не видел Сережки и если общался со священническими детьми, то не с сыном законоучителя, а с сыновьями отца Богоявленского и с сыном отца Ливанова. Это были в общем не глупые мальчишки, Ливанов не прочь был меня обратить в ортодокса, Богоявленские были циниками, но не в области религии, а так, вообще; все трое были сыновьями вдовцов, в домах у них было тоскливо, неуютно и пусто, дружбы толком у нас не состоялось, так что первым сыном священнослужителя, с которым я сошелся ближе, был все-таки Сережка Орлов.

Он жил в доме своего отца, неподалеку от нас, на Никольском проспекте. Но до двадцатого года, того года, когда я стал футуристом, он как-то не попадался мне на глаза. Я замечал не его, а скорее его старшую сестру, черную, горбоносую в отца, красивую худощавую поповну в черных пышных мехах, невольно привлекавшую мое внимание. Она часто проходила мимо наших окон по другой стороне улицы или величественно следовала на извозчике. А иногда какие-то военные, видимо, ее поклонники, мчали ее даже на автомобиле. Когда я пялился на нее, она не поворачивала головы, зато братец ее пришел к нам сам.

— Я Сергей Орлов, сын вашего законоучителя,— сказал он.— Здравствуйте! Я тоже хочу стать футуристом. Прошу вас, зайдите ко мне, я почитаю вам свои стихотворения.

Так я оказался гостем в доме Орловых. Сережкина сестра взглянула на меня равнодушно, едва ответив на мой поклон. Отец семейства, мой бывший законоучитель, сидевший в своем кабинете, читал какую-то книгу, кивнул мне через двери с деланным равнодушием, а Сережка быстро провел меня в свою комнату, приступил к делу. Он торопливо и смущенно пропел мне небольшой стих о дождливой весне, когда «загара, жара хочется! Дорожной пудры пыль глотать и в зное пить. А тут природа мочится, марая радость жить». И, видя, что этот стих не произвел на меня особенного впечатления, прочел еще другой, из которого мне запомнились следующие строки:

В стихии современности
Я искажен, я так изломан,
Как будто с зверем древности
Озвучен и срифмован.
Как гвоздь, свой крик я вколотил
В проклятья стариков.
Смиренье схоронил
И восприял буйство моряков.

И как ни тихо он читал, но я заметил, что чернобородый отец Орлов — или мне это только почудилось — беспокойно заворочался в своем кабинете. А Сергей, как бы тоже почувствовав это, прочел уже громче:

Иная, еще не тронутая тема
Стихирует безумства увлеченье
И безобразное дитя — поэма —
Услада кривонеопенья.

И, не дожидаясь моей реакции на прочитанное, он воскликнул:

— Теперь еще одно: «Теорема бытия»!

«Мир — теорема бытия» — так начиналось третье его стихотворенье. Я забыл, что уж там было дальше, но эта строка так понравилась мне, что дальнейшего я уже, видимо, не слушал.

— Здорово завинчено! — воскликнул я.— Мир — теорема бытия! Пойдем, я поведу тебя в нашу банду. К Уфимцеву.

Нашей бандой мы назвали меж собою наше общество разрушителей старых устоев, лигу футуристов — художников и поэтов. Виктор Уфимцев, все же несколько подозрительно отнесшийся к Сергею, сказал:

— Ты должен доказать свою непримиримость к старикам. Что ты можешь сделать решительное?

— Не знаю точно,— ответил Сережка.

— А я знаю! — возразил Уфимцев. И, окинув взглядом Сережку, худенького, невысокого, с длинным носом и большим кадыком, крикнул своим домашним:— Женщины! Ножницы и иглу с толстой ниткой!

Мать принесла иглу с ниткой, а Лия, сестра Виктора, ножницы.

Виктор схватил три листа ватманской бумаги, прищурился и с поразительной быстротой и ловкостью вырезал из них подобия крестов с чуть загнутыми крайчиками. Затем он согнул и склеил их так, что получились кубики. Вслед за этим он молниеносно раскрасил сотворенные им кубики, пронзив их иглой, сделал подвески и укрепил свои произведения на пуговку рубашки Сережи Орлова.

— Вот! Ты кубофутурист и носи кубические знаки, а если тебя спросят, что это значит, отвечай: — Это кубофутуристические пасхальные яйца для эпатации духовенства.

— Хорошо,— упавшим голосом сказал Сережка Орлов.

И действительно, он появился с таким украшением на одной из эстрад во время одного из наших хулиганских выступлений. А после этого прибежал к нам и взволнованно продекламировал:

И наконец
Меня проклял отец!

Дальше говорилось что-то вроде того, что это и лучше и что он уйдет бродягой, засунув клин за онучу. Он стирал пот со лба и первически дрожал.

— Куда же ты пойдешь? — спросил я.

— Домой,— ответил он как ни в чем не бывало.

— Но тебя же проклял отец?

— Ничего,— уныло ответил он.

Я чувствовал какую-то вину и перед Сережкой, и перед его отцом, как чувствую ее, надо сказать, и посейчас: в глубине души мне и тогда не нравилась вся эта затея с кубическими яйцами, словом, я нашел необходимым, раз он идет домой, пойти с ним и в случае чего заступиться за него, что ли. Мы благополучно вошли в дом, открыла дверь Сережкина сестра, выказывая при этом не более презрения, чем раньше, бывший законоучитель не вышел из своего кабинета. Все было спокойно, и я ушел.

Дальше все вошло в норму. Сережка появлялся на людях, читая стихи, больше — философские, вернее, философические, мы бывали у него, причем отец-миссионер, встречавший нас сухо, не вступал с нами ни в какие разговоры. «Видимо, учитывает обстановку, наличие Советской власти, не хочет прослыть деспотом»,— думал я. Может быть, и ругает сына, оставшись с ним один на один, ведь и мне все-таки деликатно, но выговаривали родители за мои футуристические похождения, что это дурь, граничащая с хулиганством. Так думал я. Но отношения отца с сыном, оказалось, были гораздо сложнее. И это выяснилось неожиданно и сразу вскоре после того, как Сережка на время пропал из виду, и мы не знали, куда он девался. Вдруг однажды вошел Виктор Уфимцев и сказал взволнованно:

— Собирай банду! Пошли в кладбищенскую церковь. Там Сережку венчают, он уже поп! Необходимо устроить ему обструкцию!

— Ни в коем случае! — воскликнул я.— Это его дело. Кто мы такие, чтобы мешать ему жениться? Но как это быстро все случилось!

У Виктора были свои источники информации по женской линии, через мать и сестер. В сущности, все было просто. Бедного поэта-футуриста обезоружили не проклятием, не отлучением от родительского дома, а железной логикой бытия. Отец-миссионер недаром хранил невозмутимое спокойствие, он выжидал своего часа, и этот час настал. «Выбирай,— будто бы сказал отец-миссионер сыну-футуристу

и философу,— дилемма такова: либо женитьба, посвящение в священники, либо военная служба, от которой тебе, поповичу, нечего ждать хорошего». И бунтарь сдался.

— Вот тебе и теорема бытия! — сказал Виктор.— Все очень просто.

Но через некоторое время выяснилось, что все далеко не так просто. Дошли сведения, верные или неверные — судить тоже не могу,— что наш Сережа, сделавшись новоцерковником, подвергся в Чите нападению старух, привержениц патриарха Никона, и они якобы вырвали ему бороду.

— Вот тебе и теорема бытия! — еще раз сказал Виктор.

Забытые стихи

В Армавире зимой, в балагане убогом
Познакомился с девушкой я осьминогом...

Это мои стихи, которые так и остались незаконченными. Там было еще несколько строк, но я их забыл.

Когда у меня просят стихи, я говорю:

— Приезжайте и выбирайте сами, что найдете.

Мое дело показать перепечатанные на машинке стихи. И потому иногда в журнальных подборках со стихами, написанными нынче, оказываются и стихи пятнадцатилетней, тридцатилетней, сорокалетней давности. Но есть у меня немало стихов, даже не перепечатанных на машинке. Стихов незаконченных, вернее, как вот это, про Армавир, только начатых. Сколько раз я ни пытался завершить эти стихи, ничего не получалось. Может быть, еще не пришло время, и когда-нибудь я их еще завершу. Но мне все-таки хочется, чтобы и сейчас они стали читательским достоянием, такие, как есть, а там уж посмотрим, что будет дальше. Но пока я расскажу о том, как писались некоторые из них, наиболее запомнившиеся мне, может быть, именно своей незавершенностью, и я не скрою цели этой затеи. Они, эти стихи, меня мучают своей незаконченностью, и я разделаюсь с ними, поставив их на свои места такими, какие они есть.

Прежде всего, вот это:

Гиперборейские туманы,
Приюты нечисти и зла,

Вы порождаете обманы,
Сплин и недобрые дела.

Так я написал в году двадцать четвертом, не позже. Что я имел в виду? Вероятно, то же самое, о чем говорилось и в моих стихах «Проказа смерти», и в «Зеваках», и в «Голом страннике»,— тут была некая неудовлетворенность медлительностью преображения бревенчато-кирпичной, папахо-малахайной, шубно-меховой яви, однако были тут и элементы того, о чем я толковал в стихах о нежности, которую надо спрятать на чердак, чтоб ее не нашли беспризорные дети, и о девушках и женщинах, которые оказывались не такими, какими я их романтически представлял:

Тебе сражаться было не с кем,
Так даже нежную любовь
Ты выражала долгим, резким,
Неженским скрежетом зубов.

Видимо, это как-то относилось и к тем северо-восточным львицам, с которыми меня пытался знакомить для моей же пользы, чтоб сделать меня взрослым и таким, как все, мой беспутный друг, циничный студент-медик Серафим Рудник-Цунзор. Убедившись, что я не хочу иметь дело с завсегдатайшами китайских кабачков на улице Республики, он пытался, например, свести меня со стерильно-чистым лицом медицинского персонала, но и с этой милой и скромной особой у меня альянса тоже не получилось.

Такие хилые вампиры
В несвежем кружевном белье
Еще до сотворенья мира
Существовали на земле.
И человеческая маска
Над столиком перед трюмо
Сказала мне довольно ясно,
Что значило твое письмо,
Написанное полудетским,
Наивным почерком спроста:
Тебе сражаться было не с кем,
Твоя душа была пуста.

Как видно из текста, я обвинял не эту особу, но гиперборейские туманы. И у меня возникла внезапная потребность сбежать от них, от зимы, сбежать от того, что мне казалось снежно-шубной обыденностью, в экзотическую южную сказку. Тут мне помогли и старшие мои това-

рищи по перу: Тихонов и Мстиславский. Тихонов — не лично, но своими стихами о Вамбери:

«Кто это там, кто это там, кто это там,— спросил барабан.— Кто пришел в наш край?» — «Гость пришел из дальних стран»,— так ответил караван, караван-сарай».

Манила меня на этот путь и только что прочтенная книга Мстиславского «Крыша мира». В этой, одной из самых лучших книг, которые я знаю, Мстиславский описывает переживания петербургского студента-геолога, попавшего на Памир, где в него влюбилась пери, приняв за Александра Македонского. Кроме того, меня манила близость Индии, в будущей дружбе с которой я не сомневался, так же как не сомневался в коварстве английских империалистов. Все это вместе взятое и привело к тому, что, заработав стихами и заметками нужную мне для путешествия сумму денег, я объявил родителям, что еду в гости к Товстухе в Ташкент. Михаил Иванович Товстуха был маминым сослуживцем по горздраву. Она там работала счетоводом, а он — бухгалтером. Женившись на нашей соседке, черненькой, курчавой, эфиопообразной полечке Варе Цимбровской, Михаил Иванович увез ее в Ташкент. Я и поехал туда, снабженный редакционным удостоверением, свидетельствующем, что я командируюсь в Среднюю Азию для написания очерков о советском строительстве в Туркестане. По дороге я читал взятые с собой книги о Туркестане, так что и не заметил, как очутился в этой стране. Впрочем, это было и трудно заметить — даже и на берегах Аральского моря, и за Арысью лежал снег, прямо как в Сибири, и снегом встретил меня и Ташкент, в котором я что-то не приметил никаких индусов, никаких памирцев, никаких афганцев, а только снег, снег и снег.

Снег висел на деревьях столь увесисто, что под его тяжестью кое-где поломались ветки чинар. Узбеки, кутаясь в свои халаты, грели ноги и руки у жаровен.

— Зима, как в Сибири! — сказал мне Товстуха.— Варька простудилась и чихает. А ты чего явился?

— Проездом в Самарканд и дальше,— сказал я.

— Зачем?

— Бегу от гиперборейских туманов,— ответил я.

— Беги, беги,— сказал Товстуха.— Если ты говоришь про дурную погоду, то получше она только в Ашхабаде. Туда я могу дать тебе рекомендательное письмо к одному

пареньку. Хочешь? А пока купи себе калоши снег месить. Все азиаты в калошах ходят!

Я на всякий случай взял письмецо и, помесив талый снег в Ташкенте купленными калошами, уехал в Ашхабад.

В Ашхабаде на базаре я купил лепешек и еще весьма приглянувшуюся мне книжку на туркменском языке, которого я не знал, но знания которого и не требовалось, чтоб оценить покупку: книжка привлекла меня прекрасными иллюстрациями, убедительно доказывающими, что эта книжка — об открытии Америки Христофором Колумбом. Она, кажется, цела у нас и по сегодня.

И вечером, рассматривая картинки, я ехал уже в направлении Красноводска. Город встретил меня на следующий день ясной, зимней погодой. Не было ни снега, ни дождя, было лишь холодновато. Пароход на Баку шел только на следующий день. И прежде чем отправиться в гостиницу, я решил пообедать в харчевне. В этом заведении было лишь несколько посетителей, говоривших на непонятном мне языке. Но вышло, как и с книжкой о Христофоре Колумбе. По часто повторяемым словам «контрабандит» и «юрисконсул» я понял, о чем шла речь. Речь шла о контрабанде и ее последствиях.

— Что кушать будешь,— подозрительно спросил меня, незнакомого человека, хозяин заведения.

— Самое вкусное, что у вас есть,— ответил я.

Услышав эти мои слова, люди, говорившие о контрабанде, прервали свою беседу, обернулись ко мне и закричали хором:

— Хаш! Хаш! Хаш! Ешь хаш!

И мне подали хаш. Мне кажется, в этом хаше было все, вплоть до петушиных гребешков, а может быть, я ошибаюсь, ведь так давно это было.

В пустой гостинице хозяйка, или администраторша, отвела мне пустую комнату и потом долго ходила по другим пустым комнатам, проверяя, закрыты ли окна и двери. Затем со свечой в руках появилась у меня на пороге, постояла, посмотрела на меня и ушла. А на следующее утро в ожидании парохода я ушел из города на меловые скалы, лег на них и, отламывая пласты породы, смотрел, как они шлепались в море, окрашивая зеленую воду в мутно-белый цвет. Но затем мне показалось, что, мутя воду в бухте, я могу вызвать неудовольствие красноводцев. Вернувшись в порт, я заметил, что порядочно измазался глиной, и это

меня еще больше смутило. Словом, я шел, несколько сторонясь других людей, что, видимо, и сыграло некоторую роль в дальнейшем. Но это уже случилось позже, а пока что я дожидался парохода, на который вместе со мной село около сотни каких-то оборванных людей и около десятка людей, прилично одетых. Один из последних, молодой человек в штатском, объяснил мне, что в плату за билет входит и питание, табльдот, но ресторан откроется, только когда выйдем в открытое море.

— Понимаешь,— объяснил он мне,— они затягивают обед до тех пор, пока не начнется как следует качка и половина пассажиров не свалится, а от этого им, буфетчикам, экономия. Так что пока пойдем пить коньяк за свои денежки, это в табльдот не входит.

И мы пошли пить коньяк, а потом вышли на палубу, где разместились, закутавшись в ватные одеяла, оборванные пассажиры четвертого класса.

— Это персы,— сказал мне мой новый знакомец, перешагивая через лежащих.

Ветер крепчал. Позвонили наконец к обеду. Пассажиры с правом на питание ели торопливо, чтоб поглотить все полагающееся ранее, чем одолеет морская болезнь, так, по крайней мере, объяснял мне мой спутник. Только снова оказавшись с ним на палубе после обеда и, само собой разумеется, после все новых и новых порций коньяка, я понял наконец, какой он большой шутник.

— Смотри! Видишь, настала темная ночь! — сказал он таинственно.— Знаешь, что такие дела в такие ночи и делаются. Я знаю капитана и команду, я тебе скажу, это инвалидная команда, и капитан — инвалид, и очень легко завладеть браздами правления. Стоило бы нам с тобой захотеть, и мы бы повернули этот пароходишко прямо на Персию! Ну что ты скажешь на это?

— Ты нарезался до зеленых чертей, вот что! — сказал я.— Идем-ка спать.

Но он не пошел.

— Нет! Повернем на Персию! — вцепившись в поручни, кобенился он.

— Идем спать! — твердил я.— Я не могу оставить тебя здесь одного! Тебя смоет!

Мне показалось, что ему трудно идти. А волны, действительно, уже дохлестывали до палубы. И кое-как я утянул его в каюту.

Наутро мы были в Баку. Мой дружок любезно помог мне добраться до гостиницы и куда-то исчез. Но через час-другой я увидел его в ресторане. На нем был уж не штатский костюм, а военная форма. Он улыбнулся мне дружелюбно:

— Служба,— сказал он,— надо было проверить, что ты за птица.

Но, кажется, я ему был уже вовсе не интересен. В общем, это был очень славный парень, он и вдохновил меня на это вот незаконченное стихотворение, которое я нашел сейчас в старой тетради.

«Из Красноводска в Баку переход по расписанию длится всего восемнадцать часов. Пароход. Качка. Хмурые лица. Грузные птицы с персидской границы, нахохлясь, в буфете сидят и, точно птичник, пограничник — веселый высокий солдат... Я вышел на палубу. Алая мгла дрожала алыми пятнами, и тысяча персов вповалку спала под одеялами ватными. «Плывут вот так,— сказал мне моряк,— всегда столетья, века, без будущего, без денег, без пачки табака. О, фонари желтоглазы, качающийся покой и мокрые водолазы с жемчужиной за щекой!»

Это кусок стихотворения, которое начал я писать уже в поезде, идущем из Баку на север. Я так и не дописал этого стихотворения до конца: начало творческого процесса было прервано самой обыкновенной с виду, но, в сущности, весьма необыкновенной обезьяной, которая украла мои ташкентские калоши. Обезьяна ехала со своими хозяевами-циркачами, они сходили раньше, и она незаметно прихватила мои калоши. Я заметил это, когда они уже сошли на перрон. Поезд пошел дальше, и я, оставшись без калош, почувствовал даже некоторое облегчение: так они тяготили меня в Туркестане. Тем более что чем становилось севернее, тем становилось суше, и когда поезд достиг Армавира, погода стала прямо прекрасной.

В Армавире почему-то была пересадка, и мой новый поезд уходил поздно ночью. Естественно, я пошел шляться по городу, и столь же естественно было то, что я зашел в балаган, куда зазывала таких, как я, зевак, нехитрая музыка. И тут наконец случилась действительно занятная история.

Если все предыдущее: и снег в Ташкенте, и мой пароходный спутник-искуситель, если все это было мне, юноше, только любопытно и поучительно, то существо, увиденное

здесь, в армавирском балагане, было просто очаровательным, восхитительным, ибо оно не напоминало ни хилых вампиров в несвежем кружевном белье, от которых я бежал из Гинербореи, ни волооких закаспийских красавиц,— это была милая, чудесная, голубоглазая, русоволосая девушка-осьминог. Да, осьминог!

Она сидела, вернее, колыхалась в позолоченном и посеребренном бассейне со свежей водой, отталкиваясь изумрудно-зелеными щупальцами от его днища. Погруженная в воду по пояс, она как бы танцевала в этой воде. Ее взор был доверчив и чист. Блондинка, она привлекала меня своей явно русской красотой. Но тут я вспомнил вдруг совсем другое:

— А где же госпожа Вампир? — спросил я девушку-осьминога.

В балаганчике толкались одни ребятишки, наивно дивясь необыкновенному существу. Девушка-осьминог повернула ко мне головку, и наши взгляды встретились.

— Какая госпожа Вампир? — спросила она у меня.

Мне показалось сложным и неуместным объяснять ей и кто такой Морис Роллина, и читать ей целиком хорошо мне известный сонет этого французского поэта «Магазин самоубийства», поэтому я прочел ей только заключительные его строки:

Но лучшее из средств покинуть дольний мир,—
Он указал на дверь, заделанную в стену,—
Ему научат вас за небольшую цену
Девица-осьминог и госпожа Вампир.

— Никакой госпожи Вампир у нас нет,— сказала мне девушка-осьминог и добавила: — Это вы стихи прочли? Вы поэт? Как Демьян Бедный?

— Нет, не как Демьян Бедный,— сказал я.— А вам не холодно?

— Что вы! Вода подогретая.

— Прошу вас,— сказал я умоляюще,— не откажите мне пообедать с вами вместе. У вас балаган до скольки?

— Я кончаю в шесть,— ответила она.

— Где вас ждать?

— У ресторанчика и ждите,— ответила она тихо-тихо.

И действительно, в назначенный срок она, уже на собственных ножках, появилась у ресторана.

Мы сытно и хорошо пообедали. Она сначала рассказывала о нехитрых тайнах своей профессии. Но не это оказа-

лось для нее главным. Выслушав мой рассказ о том, как обезьяна украла у меня калоши, она сказала:

— А, это наши циркачи! Я их всех знаю. Но я не думала, что дошли до такой подлости. Учить обезьяну воровству. Хотите, я выясню, только, конечно, не сразу.

— Нет,— ответил я.— Этих калош мне теперь и даром не надо. Я ведь здесь проездом.

— А куда вы едете?

— В Москву.

— В Москву? — переспросила она.— В таком разе скажите мне вот что: как вы думаете, что я должна делать, чтобы поступить в медицинский институт, а если не в институт, так хотя бы в техникум?

— Во-первых, надо горячо пожелать этого,— ответил я, подумав.— А какое у вас образование?

— Как это называется... домашнее,— сказала она смущенно.

— Ну так вам прежде всего надо подготовиться за среднюю школу,— уже уверенно сказал я.— Кстати, в профсоюзе вы состоите?

— Да,— ответила она неуверенно.

Она была очень милой и доброй девушкой. Скромной. Не чета тем вампирам, которые норовили из медичек превратиться в паучих. Наоборот, она хотела превратиться из осьминога в доктора. И я, несмотря на то, что у Мориса Роллина тоже есть стихотворение о девице-осьминоге, начал писать стихотворение об этой девице — ведь у меня-то все было по-другому. Но вот беда — стихи эти затерялись, и до сих пор не могу их найти. Помню только, какими они начинались словами:

В Армавире зимой, в балагане убогом,
Повстречался я с девушкой-осьминогом.

Кто знает, может быть, теперь она уже профессор медицины, а я остался тем, чем был,— всего-навсего стихотворцем и новеллистом.

Необыкновенные превращения

Чтоб покончить с детскими воспоминаниями, я расскажу сейчас о том, как в последний раз встретился со своей няней Дуней. Дуню я подробно описал в поэме «Северное

сияние», поэтому не буду повторяться и добавлю только, что, в отличие от традиционных классических нянь, Дуня не рассказывала мне сказок, а наоборот, рассказывал всякие дикие сказки ей я сам, а ее излюбленной песней была шансонетка «Коля и Оля бегали в поле», которой она научилась, слушая наш граммофон:

Выросли вместе, дорог невесте
Коля-жених, парочка их!

И — я забыл сказать в предыдущих главах — она в начале 1917 года покинула нас, вышла замуж за симпатичного молодого мыловара. Русая, голубоглазая, румяная, она без труда составила себе такую выгодную партию. Прачка наша, добрейшая Августа, после революции и смерти своего мужа-пьянчуги, столяра Старкова, вышла снова замуж за пленного австрийца, который ее обобрал и бросил, а ее племянница Грушка — та вышла за китайца и погибла совсем. Милая же моя Дуня, лелеемая своим мужем, превратилась из бедной девчонки в солидную домовладелицу. Правда, Октябрь незамедлительно разрушил благополучие мыловара, но разрушил его все же не настолько, чтобы Дунин муж не стал деятелем нэпа, впрочем, уже не в Сибири, а на Кубани.

И вот уже в эти годы Дуня однажды прислала моим родителям письмо, письмо тревожное и печальное, но все-таки пригласительное, приглашающее побывать у них в Краснодаре, или еще Екатеринодаре, я не помню точно. И я решил съездить. Я избрал себе маршрут не прямой, а сложный — на Кубань через Москву, Севастополь, Ялту, Новороссийск.

В Севастополе я задержался недолго, побывав только у какого-то старого знакомого моего отца, ни фамилии, ни местожительства которого я не помню. Помню другое: милиционер помешал мне лезть в море с Графской пристани, и наперекор ему я вынужден был уплыть от его назойливых свистков куда-то чуть ли не на другую сторону бухты. Плавал я хорошо, но меня чуть не занесло там на камни. Чудом не раскровянившись, я благополучно уплыл от штрафа, а вечером того же дня уже плыл на колесном пароходе из Севастополя в Ялту. То, что он был колесным, днепровским, казалось мне и хорошо и плохо. Плохо потому, что малоромантично, хорошо потому, что почти не качало, он только расшлепывал волны.

В Ялте было пасмурно, грязновато и, как мне показалось, скучно. Стояла осень. И я решил задержаться в Ялте лишь на сутки, до ближайшего парохода в Новороссийск. Зайдя в портовую столовку, харчевню, таверну — я не знаю, как ее назвать, я заскучал, задумался, как убить время. Тут я заметил компанию моряков за соседним столиком. Они напоминали моряков из морских романов. И вдруг меня осенило.

— Не знаете ли вы здесь, в Ялте, какого-нибудь писателя,— спросил я.— И в ответ на недоумевающие взгляды добавил: — Я писатель. Путешествую. В гостиницу не хочу! (я тогда действительно не любил одиночества и серости гостиниц).— А хочу к писателю какому-нибудь заглянуть, если он тут есть.

Моряки посмотрели на меня уже с любопытством.

— Писатель есть,— задумчиво ответил один из них.— На горе, за дворцом эмира Бухарского, живет один, Жданов его фамилия, Лев. Он старый писатель. Не знаю, подойдет ли тебе по возрасту.

— Спасибо,— ответил я.— Подойдет!

Мне сразу же вспомнились белые привлекательные обложки Лондона, Грина и меж них, выходившие в том же издательстве «Прометей», исторические романы Льва Жданова. И, расставшись с моряками, я пошел, куда они показали.

Были уже сумерки, когда я достиг цели.

— Да, я действительно Лев Жданов,— сказал мне низенький и, как мне показалось, очень старый человек.— Но что вам угодно?

Тон его был сух и официален. И я, собственно, сам точно не знавший, что мне угодно, сказал гордо:

— Я литератор. Я не выношу одиночества гостиниц. Не укажете ли вы мне хозяйку, у которой я бы мог заночевать. А кроме того, услышав, что вы живете здесь, что вы Лев Жданов, которого я знаю...

— Да, я Лев Жданов, вы не ошиблись,— как-то истерически прервал меня он.— Что ж, пойдемте, я укажу вам хозяйку. Это поблизости, пожалуйста!

И, надев что-то вроде крылатки, он повел меня в один из соседних домиков. Что-то пошептал хозяйке, и она молча проводила меня в комнатку с пышно взбитой постелью на громоздкой кровати.

— Вот здесь.

Жданов, идя за нами вслед, не вошел в комнатку, но, молча раскланявшись с порога, исчез. Я посидел минутку у стола, а потом лег спать.

Заснул. Но вскоре проснулся. Показалось, что кто-то заглядывает в окно. Но это были качающиеся от ветра ветви. И я снова заснул. До утра. Хозяйка уже возилась на кухне. Я рассчитался. Вдалеке, под горой, грохотало море.

— Пойду,— сказал я,— в порт. А по пути искупаюсь.

— В такую погоду никто не купается,— сухо заметила хозяйка.

Я забрал свою сумку, сказал: «Прощайте»,— и отправился под гору к морю. К Жданову зайти не решился, но, по счастью, увидел его в окне.

— Спасибо вам за помощь,— сказал я,— и прощайте, я пойду сейчас выкупаюсь, а потом сразу в порт!

— Всего лучшего! — ответил он и скрылся за занавеской.

Море было хмуро, холодно и беспокойно. Я разделся, наскоро выкупался и, быстро одевшись, вспомнил, что в сумке есть бутылка вина. Купил ее вчера, направляясь к Жданову,— на всякий случай, и вот теперь, подумал я, она пригодится на резком ветре, чтоб не простыть. Температура воды была не больше четырнадцати градусов, и море пенилось, как шампанское со льда. В два приема опорожнив бутылку, я швырнул ее за пену прибоя. И пока она кувыркалась, я затылком почувствовал, что с берега на меня кто-то смотрит. Обернувшись, я понял, что на горе стоит Лев Жданов. Глядя на меня недоверчивым взором, он как бы в сомнении покачал головой, но затем, махнув мне рукой почти благосклонно, повернулся и ушел восвояси.

А я, веселый от вина и купанья, пошел по Ялте, зашел в ту харчевню, где был вчера, уселся за столик и, в ожидании завтрака, набросал стихотворение про Черное море, каким оно открылось мне в те дни:

Хмурый берег, римской ссылки область,
Лишь старинных адмиралов доблесть
Возвеличила его на час.
Только мы, пришельцы из России,
Трепетные данники зимы,
Берег бурь и города сырые
Называем югом, только мы.

После завтрака я долго шлялся по молу, пока наконец с моря не появился большой черный горбоносый пароход Добровольного флота, кажется, «Тобольск», тот самый, за билетом на который я и стал в очередь, неожиданно большую и шумную.

Народу было много. Среди этого многолюдия внимание мое привлекла шумная компания молодых людей, провожавших в путь девицу, как мне показалось, легкого поведения. В руках отъезжающей была гитара. Я не был поклонником этого инструмента. Но девушка эта, порядочно пьяная, запела песню, которую я тогда слышал впервые:

При солнечной погоде
На турецком пароходе
Прогуляться я поехала в Батум.
Откуда ни возьмися
Вдруг турок, словно крыса,
У ног моих нашел себе приют.
Меня смутил его коварный вид,
А турок мне тихонько говорит:

И тут вся компания подхватила:

Разрешите, мадам,
Заменить мужа вам,
Если он уехал по делам!

Началась посадка. Вся ватага, подхватив багаж отъезжающей, с визгом и воем понеслась по трапу, и я потерял их из виду.

И когда пароход вышел в море, я, пассажир четвертого класса, блуждая по палубе с подветренной стороны, увидел: не эта ли девица с кучей своего багажа сидит на скамейке у окна салона. Я прошел мимо нее раз, другой. И вдруг услышал:

— Чего вы бродите? Садитесь, тут найдется местечко.

И хотя это было сказано вовсе не тем голосом, каким пелась песня про турка, я решил, что, конечно, это и есть та самая девица. И мне захотелось поближе узнать, какими они бывают на Черном море.

— Благодарю вас,— сказал я, присаживаясь возле груды ее багажа.

— Скучно ехать по морю в такую погоду,— произнесла она.

— В особенности после таких веселых проводов,— ответил я.

— Почему веселых?

— Вас провожала такая веселая компания.

— Меня? Меня никто не провожал,— возразила она.— Я одна.

Я не нашелся, что ответить. «Раз ты хочешь, чтоб я думал, что ты одна,— пусть будет так»,— сказал я про себя.

— Куда вы едете? — спросил я.

— Пока что в Новороссийск. У меня там пересадка на поезд. Я еду в Белорецкую к маме и папе.

«Врешь ты!» — подумал я и спросил несколько раздраженно:

— А где же ваша гитара? Ах, вот она, в этом чехле,— добавил я, увидев под скамейкой нечто длинное.

— У меня нет гитары,— возразила она.

— А что же это? — спросил я, указывая под скамейку.

— Это корыто! — сказала она.— Я везу корыто.

— А зачем вам корыто?

— Тете в подарок,— ответила она и, подумав, добавила: — Я учительница, еду в Белорецкую к своим, там и хочу теперь работать в школе! — И, заметив мою усмешку, спросила: — За кого вы меня принимаете?

И тут я вдруг понял: возможно, я принял ее за другую. И тут же у меня мелькнула догадка, что точно так же вчера поздно вечером мог ошибиться и Лев Жданов, так же приняв меня за кого-то другого, черт знает за кого.

Вот после каких приключений, подсобив моей новой знакомой сесть в поезд в Новороссийске, я наконец приехал в Краснодар, или еще в Екатеринодар, к своей няне Дуне, в дом, где меня уж никак не должны бы были принять за кого-нибудь иного.

Но и там, как я вскоре убедился, меня все же считали не тем, кто я есть, то есть Евдокия Борисовна обращалась со мной по старой памяти, как с маленьким ребенком, не понимая, что я ясно вижу все то, что происходит: почему в этом собственном доме почти не осталось мебели — распродали, распихали по знакомым, ибо боялись, что вот-вот опишут, нэп шел к концу, борьба с тем, что называли лжекооперацией, была в полном разгаре. По этой причине неважно выглядел хозяин дома — традиционная новокупеческая бородка его поседела, да и сама няня Дуня стала уж не той золотоволосой, бархатно-лисьей, наивной красоткой, которая, выйдя замуж, покинула наш дом.

Я просто не узнавал ее, так невыгодно для себя она похудела, поблекла после недавнего расцвета. Такое уж было время неузнаваний, непонимания, путаницы, время трансформаций, непрерывного изменения обличий, когда многие принимали друг друга не за тех, кто они есть.

Воздушные фрегаты

Капитаны
Убекосибири,
Вы, наверно, меня позабыли —
Миновало полвека!

Капитаны Убеко,
За снежной пустыней
Вы в море качались
На суденышках «Орлик» и «Иней»
И с Ямала потом возвращались
Зимовать в глубину континента,
В мир землистости плоской,
По фарватерам узким, как ленты
Бескозырки матросской.

Капитаны-ямальцы,
По меридиану скитальцы,
Дивны были ваши владенья!
Не на Оби ли
Вы лицезрели виденья
Грядущего изобилья?
О каких Мангазей возрожденье
Вам полярные ветры трубили?

Но вещать не любили,
Подобно Сибилле,
Вы в своей штаб-квартире,
В своем учрежденье,
Именуемом:
«Управление
По обеспечению
Безопасности кораблевожденья
В устьях рек и у берегов Сибири».

Так написал я в 1970 году, и эти стихи абсолютно достоверны. Все так и было, как это рассказано в стихотворении, опубликованном в «Юности». В. И. Ленин подписал 2 июля 1918 года постановление Совнаркома об отпуске миллиона рублей на нужды Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, а затем, видимо, в 1920 году, последовало решение об ассигновании еще сорока од-

ного миллиона рублей на расходы по обеспечению безопасности кораблевождения в Арктике.

Однако все эти даты, цифры и факты стали мне достоверно известны лишь теперь, когда я нашел их в разных справочниках. А тогда, в начале двадцатых годов, я и знать не знал обо всех этих постановлениях и решениях и в глаза не видел документов, все это удостоверяющих. А видел я самое главное, то есть только корабли! Корабли, черные, маленькие, но, несомненно, морские, высоконосые корабли, появившиеся, как по волшебству, в глубине континента, заплывшие с желтого Иртыша в коричневое омское устье. Они покачивались, как черные лебеди, на фоне белой громоздкой неуклюжести речных пассажирских пароходов. Конечно, глядя на эти романтические корабли, я в общем-то имел некоторое представление и об истории вопроса, знал, кто такие Сибиряков, Норденшельд, Вилькицкий, барон Толль. Я слышал об идее вывозить хлеб в восемнадцатом году из Сибири именно Северным морским путем, и я понимал задачи Комсевпути, о которых писалось все больше и больше в тех газетах, в которых я и сам сотрудничал. Все это было так, но, будучи вовсе молод, я мыслил все-таки более широко, меня интересовали не столько товарообменные операции Карских экспедиций, чьи лихтера приводились на зимовку туда, в Омск, сколько вопросы незамедлительного освоения всей Арктики, способы радикального освобождения океана от его ледяных вериг, методы превращения полярного ада в фруктово-парниковый Эдем на базе использования подземного тепла под Полярным кругом. Осмелюсь признаться: даже еще в те далекие времена я мечтал о полярных ателье, то есть о диктующих миру новые полярные моды меховых красавицах возрожденных Мангазей, полноправных наследницах Златой Бабы, великолепной идолицы со старой сибирской полулегендарной карты данцигского сенатора Антония Вида.

«В Арктике, где поднялися города наперекор природе, огневые лисы нынче в моде. Сочетается с узором малиц огнепламенная их окраска, где вздыхает океан-рыдалец. А за полюсом дрожит Аляска, видя, как, морозами пресытясь, поднимая мерзлое забрало, на нее былинный смотрит витязь с лунных круч Полярного Урала. Такова Гиперборея! В писке всевозможных зарубежных раций радиотелеграфистки замирают в позах снежных граций».

Что делается на Ямале? Вопросы и перспективы освоения Приполярного Урала? Возможно ли сооружение канала от устья Оби в Байдарацкую губу, чтоб сократить пути грузов из Европы в Сибирь и обратно? — вот с какими вопросами я являлся в двухэтажный кирпичный домик на территории тихой старой Омской крепости, в это скромное зданьице, отведенное под Управление по обеспечению безопасности кораблевождения в устьях рек и у берегов Сибири... Но:

вещать не любили,
подобно Сибилле,
капитаны Убекосибири.

Я не помню, с кем именно я имел там дело. Во всяком случае, не с самим Неупокоевым, начальником Убекосибири, который, как я узнал позже из книг, плавал на кораблике «Иней» для обследования фарватеров в устье Пясины и в пролив Малыгина. И не с Осиповым, который подыскал место для Нового Порта, погрузочно-разгрузочной пристани Карских экспедиций. И даже не с рыжим капитаном Петранди, который, будучи вечно занят своими делами, отмахивался от меня, грешного. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что все эти люди были совершенно не склонны беседовать с газетчиками, да еще такими молодыми, как я. Словом, мне удавалось только получать короткую информацию у вежливых, но немногословных, скромных управленческих сотрудников, да и то с напутствием, чтоб чего-нибудь не написал лишнего, не переврал бы ненароком, чего я и старался не делать. Я с великим уважением глядел на вернувшиеся поздней осенью с севера или уходящие по весне на север суденышки «Орлик» и «Иней», на эти отважные скорлупки, совершившие в свое время «тяжелый и невиданный в истории Арктики переход по морю из Архангельска в устье сибирских рек». Я беру последнюю фразу в кавычки потому, что это цитата из книги, в которой, к сожалению, не написано, почему именно местом зимовки судов Убекосибири был Омск, а не Тобольск, например. Этого я не знаю, да, собственно, и пишу я не историю полярного мореплавания, а попросту стараюсь выяснить, хотя бы только и для себя, как зарождаются стихи, почему одни стихи выходят, а другие не получаются, и почему, когда порой задумываешь одно, получается вовсе другое.

И вот тут, пожалуй, я и подхожу к самой сути своего рассказа. Наличие Убекосибири, этой морской базы в глубине континента, конечно, было для меня более чем отрадным фактом. Какой юнец не бредит морем? Биологи говорят, что это вообще у человека в крови. А для меня, выросшего на семейных воспоминаниях о романтическом Владивостоке, моря и океаны были особенно заманчивы, и я всей душой тянулся к морю. В детских рисунках моих торчком стоящий «Титаник» сменялся торпедированной «Лузитанией», и, отражая дальнейший ход мировых событий, то и дело взрывались дредноуты. И я не мыслил, что стану не моряком, и оставил намерение поступить в мореходную школу лишь после того, как меня убедили, что не буду принят туда по близорукости. Но и после этого океан, разумеется, не исчез из моего воображения, и я с превеликой охотой увязался в Балхашскую экспедицию Комгосоора Уводстроя (так называлась экспедиция, исследовавшая водные ресурсы Казахстана) в казахские степи, где, как мне казалось, «море из пластов известняка ухмылялось челюстью акулы». Вскоре после моего возвращения из казахских степей, когда уж я написал свои элегические полудетские стихи о том, что «море было и назад вернется», оно и вернулось в Сибирь и объявилось в самом Омске в образе моряков Убекосибири, подымающихся с Ледовитого океана по Иртышу, превращающемуся в Иппокрену. Увы, эти моряки не были похожи на веселых, благожелательных ко мне моряков из Комгосоора Уводстроя,— суровым убекосибирцам как будто бы не было дела ни до Иппокрены, ни до меня, и мне было обидно, что своя своих не познаша. Я, конечно, ни намеком не выдавал этого, не хвастался перед ними своей кратковременной причастностью к Балхашской экспедиции, но стремился показать, что и я кое-что понимаю в морском деле и — что греха таить! — стремился и внешне кое в чем походить на моряка, что и отметили, правда, не они, а мои новосибирские (тогда еще новониколаевские) литературные друзья сначала устно, а затем в печати. Причем, если Зазубрин съязвил, что, мол, юнец-романтик стремится даже ходить вразвалку, как морской волк, то Вивиан Итин построил на этом параллель сходства моего с Джеком Лондоном. И на основании моего хвастовства, что я сын владивостокского мещанина (каковым по паспорту являлся мой отец и как было сказано в моих метриках), Вивиан на-

писал, что два Джека родились по двум сторонам Тихого океана: один в Сан-Франциско, другой — во Владивостоке.

Так, в полосатой тельняшке вместо нижней рубахи, гулял я по континентальному Омску, регулярно заглядывая в Убеко. И однажды, идучи докучать убекосибирцам расспросами об их подвигах, я заметил в сквере, напротив управления, сидящую на деревянной скамеечке скромную фигурку. Это была женщина в сером. Молодая. Привлекательная. «Чем именно привлекательная?» — спрашиваю теперь я себя. А в ней привлекало меня, я бы сказал, сочетание вроде бы противоположных свойств: некая неподвижность, но в то же время целеустремленность. И какая-то неявная, но несомненная причастность к Убекосибири.

Женщина сидела спиной к управлению, глядя совсем в другую от него сторону, но тем не менее сливалась с ним как бы в одно целое. На фоне Убекосибири она показалась мне похожей на деревянную резную фигурку, украшающую форштевень то ли какого убекосибирского, то ли какого-то другого, может быть, старинного корабля. Такого корабля, который, находясь у нее за спиной, будто и не причастен к ее бытию.

Задумчивый, я прошел мимо. Но, появившись в крепости снова через несколько дней, я вновь заметил эту женщину на той же скамейке, в той же позе. Так повторялось еще и еще раз. И наконец, совершенно естественно, однажды я попросил у нее разрешения присесть с ней рядом, и мы после некоторого молчания заговорили.

Речь зашла об Омской крепости, о том, что нас окружало. То есть сперва я распространился обо всем том, что занимало меня: вот, мол, не случайно мы сидим рядом с Убекосибирью, не случайно в континентальный Омск поднимаются морские корабли. Корабли, мол, знают, свою дорогу, корабли чуют море, даже то море, которое было. «Да, да, это не фантазия, я имею в виду реальность, геологическую реальность! И здесь, на месте современных ковыльных степей и березовых колков, было море. Море было, море выло... Понимаете ли вы?»

Но мою собеседницу этот вопрос как будто бы не заинтересовал вовсе. И она, вежливо улыбнувшись, сказала мне:

— А скажите, пожалуйста, где здесь был Мертвый дом Достоевского?

— Мертвый дом?

И, оглянувшись кругом, как бы оглядев заново крепость с ее гауптвахтой, которую я принимал за кордегардию, военным собором, лютеранской киркой, из-за шпиля которой выглядывала труба новой электростанции, я осознал, что очень и очень мало знаю о столь хорошо мне знакомой Омской крепости, новые казармы в которой, для запасных, призванных во время недавней германской войны, строил не кто иной, как мой отец, зачисленный по мобилизации в местную инженерную дистанцию. Эта дистанция была вот тут рядом, между кордегардией и киркой. Это я знал точно. А что касается Достоевского, им я и вообще интересовался тогда очень мало. Конечно, в доме у нас был Достоевский — полное собрание сочинений, приложение к журналу «Нива», но, в общем, я разделял довольно неопределенное мнение родителей, что Достоевский — автор довольно тяжелый. Чтоб покончить с этим вопросом, скажу только, что в те времена, о которых здесь идет речь, я не только не был большим знатоком Достоевского и всего того, что с ним связано, а даже не читал «Мертвого дома», о котором задала мне вопрос моя новая знакомая. Я открыл для себя Достоевского позже. А тогда я сказал моей собеседнице так:

— Вы знаете, я, конечно, узнаю, где был Мертвый дом, и расскажу вам в следующий раз. Надеюсь, мы еще встретимся.

— Возможно,— ответила она.

Но и на следующий раз, насколько мне помнится, я ничего толкового не мог ей рассказать о Мертвом доме, ибо и те местные краеведы, к которым я обратился за справкой, не были точно уверены, на каком именно месте находилась когда-то пресловутая каторжная тюрьма. Но, ища с краеведами следы Мертвого дома на старых планах и картах, я освежил в памяти свои прежние и получил некоторые новые сведения о старом Омске и выложил их при первом удобном случае своей собеседнице. Я так и не знал, кто она, она тоже ничего не спрашивала обо мне, и я только рассказывал ей, что знаю об Омске, и вроде как бы рассказывал не только ей, но и самому себе, причем и сам не заметил, как в эти дни написал довольно бледные стихи про старый Омск, которые, впрочем, вскоре напечатал в «Сибирских огнях». Но ей этих стихов не показал. Вообще, может быть, она и не догадывалась, что я за птица,— о поэзии у нас не было и речи, разве только

что я, рассказывая об Омске, упоминал и о Тобольске, где когда-то издавался журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрепу». Рассказывая о Тобольске, я свернул опять-таки на море, то есть стал толковать и об Обском Севере, куда уходили корабли Убекосибири,— о том севере, о котором я знал главным образом по экспонатам краевого музея, по старым книгам и картинам из прекрасной библиотеки Западно-Сибирского отдела Географического общества. Я рассказывал об удивительных северных зарисовках художников-моряков, участников старых морских, еще доубекосибирских, походов, например, о великолепной узорношубной и демонокудрой шаманке с бубном, причем рассказывал о ней так, как будто бы сам зарисовал ее при лучах северного сияния, а не перерисовывал в свой альбом из старинной книги. Я говорил еще о многом другом, что вычитал и высмотрел. И вот так однажды я, поведав ей о блистательной северной идолице Златой Бабе и обо всяких иных северных чудесах, упомянул об интересной книге Пьера Мартина де ля Мартиньера, датского корабельного лекаря, проникшего когда-то с Печоры через Русскую щель на восточные склоны Приполярного Урала.

— Ведь это, в сущности, так близко от нас,— воскликнул я, кивая на штаб-квартиру Убекосибири.— Моряки Убекосибири, идучи на Обскую губу, вероятно, видят слева по борту вершины Полярного Урала!

Но моя собеседница не обернулась вместе со мной взглянуть на штаб-квартиру Убеко, а продолжала смотреть на меня, как мне показалось, загадочно или бессмысленно. Несколько смущенный, я опустил глаза, но все-таки продолжал свое повествование о Пьере Мартине де ля Мартиньере, моем почти что однофамильце. И помню: я испытывал некое удовольствие повторять эту почти мою фамилию, не называя себя, но почти что называя, как бы ища повода назваться, но и не находя этого повода, говоря почти будто бы о себе — ведь я так и не представился ей! — но будто и не про себя, а так, о книге, найденной в библиотеке музея, которым, как и прочими омскими достопримечательностями, интересовалась моя собеседница.

И вот, когда я заканчивал этот рассказ о Пьере Мартине, произошло следующее:

— Представьте себе,— сказал я,— этот де ля Мартиньер, перевалив Урал, удивился, что сибирские люди, оче-

видно, русские зверобои, под медвежьими шкурами, шерстью вверх, носят белье!

— Неужели? — воскликнула моя собеседница.

— Да! И на этом основании он сделал вывод о более высокой образованности этих людей...

— Что вы говорите,— прошептала она.

И тут-то наконец, подняв на нее глаза, я по тону ее шепота и по выражению ее лица вдруг понял, что она вовсе не вникает в смысл рассказываемого, а, думая о чем-то совсем ином, сидит уже не спиной к Убеко, а смотрит именно на парадные двери этого учреждения — Управления по обеспечению безопасности кораблевождения в устьях рек и у берегов Сибири.

Но, заметив, что я уловил и осознал направление ее взгляда, она поспешно и как бы испуганно подняла свои серые очи ввысь, в осенние, укутанные тучами небеса над старой Омской крепостью. Вот куда возвела свой взор моя собеседница. И я не знаю, что увидела там она, но я увидел в этих небесах то, что и можно увидеть, когда переносишь свой взгляд с одного на другое: предметы и лица тогда как бы всплывают вслед за взором. Так вышло и в данном случае, то есть в небеса вслед за моим взглядом как бы переместилось, поднялось все Управление по обеспечению безопасности кораблевождения с его сотрудниками, капитанами, матросами и кораблями. Но там, в небесах, все это стало несколько иным. Словом, я увидел в небесах то, что оказалось не позже чем на следующее утро выраженным в написанном мною стихотворении «Воздушные фрегаты».

Померк багровый свет заката,
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над нашим городом прошли.
Сначала шли они, как будто
Причудливые облака,
Но вот поворотили круто,
Вела их властная рука,
И через рупор закричали
Мне капитаны с высоты:
— Большие волны нас качали
Над этим миром! Видишь ты —
Внизу мы видим улиц сети,
Вот мы беседуем с тобой,
Но в призрачном зеленом свете
Твой город как бы под водой.
Пусть наши речи долетают

В твое раскрытое окно.
Но карты, карты утверждают,
Что здесь лежит морское дно!
Смотри: матрос, лотлинь распутав,
Бросает лот во мрак страны.
Ну да! Над вами триста футов
Горько-соленой глубины!

Мокрый форштадт

Недавно одна поэтесса прислала мне книжечку, в которой упоминается современный Омск с его старинными фортами. Тут явное педоразумение. Во всяком случае, на моей памяти Омская крепость не имела никаких фортов. По-видимому, речь идет не о фортах, а о форштадтах. Действительно, вокруг Омской крепости были форштадты, то есть предместья, ставшие затем частями города Омска,— название форштадтов сохранялось за его районами. Мы жили на Казачьем форштадте, кроме того, были форштадты Слободской, Ильинский, Кадышевский, Бутырский и Мокринский, в просторечье — Мокрое.

Как раз о нем и о некоторых событиях, с ним связанных, я хочу рассказать.

Мокрое тянулось вверх по правому берегу Оми, начиная от Любинского проспекта, то есть почти от крепости, до предместья с романтическим названием Волчий Хвост. Там, на Мокром, были четыре параллельные, но как бы путающиеся своими переулочками улицы и, не считая опять-таки переулочков, две поперечные улицы, поднимающиеся в гору,— Первый взвоз и Второй взвоз.

Первый взвоз, выводящий задами военного госпиталя на унылую Бутырскую улицу, был, в общем, ничем не примечателен, но на Втором взвозе, как помнила моя бабушка Бадя, спокон веков были безобразия, гнездились питейные заведения, приюты золоторотцев и босяков. И вся эта шантрапа подымалась на гору в Обжорный ряд, на зады Театральной площади, когда еще никакого театра на ней не было, а бывали разве только ярмарочные балаганы во время зимних ярмарок, и во время этих ярмарок шантрапа грабила купцов, гуляющих в мокринских трактирах.

Таково было старое Мокрое, известное мне только лишь по преданиям, ибо у меня лично о дореволюционном, до-

советском Мокром никаких особых воспоминаний не было. Мои личные воспоминания о Мокром начинаются с двадцатого года, когда старые мокринские заведения прикрылись, а если и уцелели, то уже в виде советских столовок, а наилучшая мокринская гостиница «Деловой двор» превратилась в редакцию и общежитие сотрудников «Советской Сибири», газеты, редактируемой Емельяном Ярославским. Туда привел меня Антон Сорокин слушать, как Всеволод Иванов читал «Фарфоровую избушку», а Ваня Ерошин — идиллические стихи «Заиграй, рожок ты мой пастуший». У меня до сих пор сохранилась пожелтевшая вырезка с этими стихами. А когда «Советская Сибирь» переехала в Новониколаевск, бывшая гостиница стала общежитием рабиса, но возникший вместо «Советской Сибири» «Рабочий путь» тоже разместился на Мокром форштадте вблизи руин, оставшихся от бурных лет «Земли и воли». Кстати, созданный много позже ОМГИЗ, областное издательство, заняло дом тоже поблизости от этих руин, напротив того здания, в подвале которого когда-то была «Берлога». Так, согласно законам диалектики, Мокрое, из угла глухого и пьяного, преображалось в собственную противоположность. Но, само собой разумеется, преображение это шло весьма медленно, и я, как молодой сотрудник молодого «Рабочего пути», имел возможность наблюдать и фиксировать немало трагических или комических фактов этого процесса. Большинство новостей для отдела «Происшествия» поставляло все то же Мокрое; тут были и драки и ограбления. Тут, на Мокром, за косыми заборами, в глубине дворов, обнаруживались серые баньки, приспособленные для самогонокурения. И помню, как в одном из мокринских таянгонов, то есть притонов курильщиков опиума, куда я проник с сотрудниками уголовного розыска, старый китаец с косой, бормоча: «Моя не кули таян!», пускал в чашку коричневой пивообразной бурды какие-то шарики, превращавшиеся в цветочки, бабочки и рыбки. Это должно было удостоверить, что он занимается честным трудом фокусника, хотя приторный запах макового зелья свидетельствовал о противном.

Но все эти открытия, вся эта хроника событий, как и рассказы бабушки Бади о старине, были для меня только подступами к познанию сокровенных тайн Мокринского

форштадта, и по-настоящему открыл мне на них глаза только Николай Аренс.

А произошло это так.

Однажды, идя по своему обычному репортерскому маршруту, я зашел в магазин Сибкрайиздата. Этот книжный магазинчик у Железного моста тоже, в сущности, был на Мокром, то есть в начале Вагинской. Эта узкая, довольно короткая, но, не в пример многим другим омским улицам, мощеная улица, тесно застроенная двухэтажными домами, казалась мне тогда похожей на парижскую. Настроенный урбанистически, я любил эту улицу, столь отличную от блинообразности Омска. На этой улице был зубоврачебный кабинет Круковской, чья фамилия смутно ассоциировалась с некоторыми литературными фактами, как увидит читатель, имеющими отношение ко всему тому, о чем я расскажу далее.

Но тогда, направляясь в магазин Сибкрайиздата, я еще вовсе и не догадывался о многом. Итак, я вошел в кабинетик директора магазина Василия Николаевича Никонова. Этот просвещенный книжник, подаривший мне ранее книгу Вивиана Итина, на сей раз протянул мне брошюрку в пестроватой обложке.

«Похождение Евгения Сталь. Кинороман,— прочел я.— Читайте второй выпуск — «Смертельный поединок», третий выпуск — «У зверя в лапах». Издательство «Новая Сибирь».

— Посмотри, где издано,— сказал Никонов.

И я увидел, что издательство «Новая Сибирь» печатает свою продукцию в типографии ДОПРа.

— Тюремная типография,— сказал я.

— Да. И тюремный автор,— подтвердил Никонов.— Талантище превеликий и хулиганище еще пуще. Он артист. И посажен вот за что. В общежитии рабиса, вот тут, на Мокром, он в номер одной артистки привел татарина и продал ему весь ее гардероб, а деньги тут же на Мокром и пропил. Вот и очутился в ДОПРе, но, видишь, что написал. Его вот-вот выпустят досрочно, так ты уж позаботься о нем, окажи на него хорошее влияние.

И действительно, недели через две Аренс очутился на свободе.

— Иди к нему, мы его поселили на Семинарской улице,— сказал мне Никонов.— Запиши номер дома.

— А номер квартиры? — спросил я.

— Не нужно. Надо зайти через парадное крыльцо со стороны Старомогильной улицы и сойти в подвал. Он занимает целый подвал,— ответил Никонов.

Пойдя по указанному адресу, я понял, что прекрасно знаю этот дом, хотя и позабыл его номер. Это был тот самый знакомый мне с детства дом с привидениями, в котором никто не хотел жить, так как в нем якобы танцевала мебель, и жил в этом доме только ссыльный студент, мой репетитор. Словом, это был тот дом, который мной описан в стихотворении «Дом с привидениями».

По хорошо знакомой мне лестнице я спустился в подвал, прежде захламленный, но теперь превращенный в артистическое жилище. На драной софе возлежал молодой атлет, в котором я безошибочно угадал Аренса, а на табуретке рядом восседал небольшого роста крепыш, отрекомендовавшийся Шурой Бельским, другом Аренса и антрепренером. На обоих были, согласно моде того времени, рубашки апаш, пестрые брюки и тупоносые американские ботинки.

— Вы не боитесь жить в этом доме с привидениями? — шутливо спросил я.

— Я сам призрак! — серьезно ответил Аренс.— То есть не призрак, но вы спросите меня, кем только я не был в предыдущих своих воплощениях. Я был и майским жуком, и фараоном! Вот послушайте:

Когда Египту грозила гибель
От диких гиксов, сынов пустыни,
Жрец храма Солнца, премудрый Зибель,
В короне белой с змеею синей...

— Погоди, Коля, ты прочтешь это свое воспоминание позже,— прервал его Шура Бельский,— а сейчас мы спросим товарища Мартынова, когда он сможет дать в газете хотя бы маленькую заметку о готовящейся нами постановке «Человек, который был Четвергом». Вы знаете, конечно, это произведение Честертона?

Так я познакомился с этими славными молодыми людьми. Я б мог подробно рассказать о стихах Аренса и о приключениях красивого разведчика Евгения Сталя в белом тылу, и о том, как Николай Аренс поставил-таки на летней сцене сада «Аквариум» «Человека, который был Четвергом»,— и как во время этого представления он поранил шпагой другого актера, вымогая у него во время сцены

дуэли какую-то мелкую сумму денег в счет вовсе не относящегося к пьесе карточного долга, и как после этого спектакля, уже перед рассветом, Аренс вскочил на милиционера,— но все это не имеет прямого отношения к данному повествованию, и мне важно поведать теперь о том, что несколько поздней случилось на Мокром.

Николай Аренс, он же Коля Аристов, беспутный сын порядочных родителей и, если он не врал, бывший студент Казанского университета, почему-то крепко ко мне привязался и не однажды приходил в гости поговорить по душам, выпить стакан чая, вскипяченного не на керосинке в подвале дома с привидениями. И вот как-то раз он явился, чуть нетрезвый, со свертком под мышкой.

— Пойдем,— сказал он,— распить бутылку хорошего вина.

Я думал, что он ведет меня к себе в подвал, неся в свертке обещанное вино, но он провел меня мимо дома с привидениями и через Деревянный мост вывел на Мокрое. Я понял, что мы пришли в одно из тех заведений, которое существовало, по словам моей бабушки Бади, спокон веков. Оно походило на чудом уцелевший трактир старинных времен. Аренс, пройдя зальце, уверенно увлек меня в темноватую комнатку на задах, где мы и уселись за стол. Затем события протекали приблизительно так: официант, видимо неплохо знавший Аренса, деловито сказал, что подаст вино и закуску, лишь получив деньги вперед, во избежание недоразумений. Аренс замер в благородном негодовании, а я, воспользовавшись этим, во избежание возможных недоразумений выложил на стол какую-то сумму денег, после чего официант убежал подавать, а Аренс, обретя дар речи, упрекнул меня в ненужной поспешности.

— Ведь я же тебя пригласил, я и угощаю,— сказал он.— У меня есть чем расплатиться.

Тем временем официант подал, мы выпили, и Аренс крикнул официанту подать еще.

— Но теперь ты не бери с него,— сказал он официанту, указывая на меня,— а расплачиваться буду я — и вот чем! — И тут он развернул сверток, в котором оказались прекрасные шерстяные брюки.

Я не стану расписывать дальнейших подробностей этой тяжелой сцены: официант отказался принять брюки в уп-

лату за вино, возник спор, появился заведующий... Скажу только, что мне, как газетному сотруднику, было просто невыносимо участвовать в этой истории и я употребил все свои силы, чтоб увести Аренса прочь из трактира.

И вот когда мы уже очутились на улице, Аренс, обернувшись на заведение, пробормотал поразившую меня фразу:

— Ну что ж, прав Карл Маркс, действительно, трагедия если и повторяется, то повторяется уже как фарс!

— О чем ты? — спросил я.

— А о том, как Трифоны Борисычи встречают Дмитрия Федоровича.

— Какого Дмитрия Федоровича?

— Карамазова,— шепотом ответил мне Аренс.

И тогда я вдруг понял.

Я уже рассказывал о том, что Достоевский отнюдь не был кумиром моего детства. Разрозненное собрание сочинений Достоевского так и валялось среди других приложений к «Ниве» у нас на гардеробе. И, подросши, я в общем разделял мнение моих родителей, что Достоевский тяжелый писатель. Конечно, я бегло просматривал его творенья, особенно после того, как моя собеседница, случайная знакомка, морская убекосибирская дама, обнаружила интерес к Достоевскому и я в угоду ей разыскивал место нахождения Мертвого дома, в старой Омской крепости. Вот каков до некоторых пор был мой интерес к Достоевскому. Но как ни слабо знал я Достоевского, а все же, выслушав бормотания моего беспутного друга Коли Аренса, я довольно явственно вспомнил, что Митя Карамазов трагически съездил не куда-нибудь, а именно в Мокрое. Не на Мокрое, а в Мокрое, которое чернелось твердой массой строений в двадцати верстах от Скотопригоньевска. И хоть смутно, но мне припомнилось и то, что прообразом карамазовского Скотопригоньевска почиталась литературоведами Старая Русса. Но ведь степной Омск с его киргизами на верблюдах, с его конским базаром, с его бесчисленными стадами рогатого скота, гонимого на неблаговонные бойни, а ныне на мясокомбинат,— этот Омск, подумал я, более соответствует названью Скотопригоньевска, чем какой-нибудь иной город! И Достоевский не мог не знать об этом. И даже будучи узником Мертвого дома, он, конечно, не мог не слышать, не знать о Мокром, о Мокринском форштадте, почти примыкающем к крепости, в которой он томился, дробил але-

бастр и разбирал ветхие баржи в омском устье. Но были ли тогда трактиры, кабаки и прочие заведения на Мокром? «А почему бы им не быть даже и в те времена,— подумал я,— ведь бабушка Бадя утверждала, что они были испокон веков».

Но тут мои мысли вернулись к Аренсу, к его горькому замечанию, что трагедия повторяется, как фарс, и вообще к бормотанию о Дмитрии Карамазове.

— Не воплощался ли ты и в Дмитрия Карамазова? — спросил я.

— А как же! — ответил он.— Разве я тебе не рассказывал? Конечно, воплощался!

И этому я, безусловно, поверил. Если его воплощения в жука и фараона и были бесплодной фантазией, то воплощение актера и как-никак поэта и романиста в литературного героя было вполне естественным. Это свидетельствовало только лишь о том, что беспутный бродяга Аренс успел к своим двадцати пяти годам ощутить и прочувствовать Достоевского, чего не сумел, не удосужился сделать я, двадцатилетний премудрый книжник. И это задело меня за живое. К тому же, вероятно, именно в этот миг я и осознал еще одну важную истину, впоследствии много помогшую мне в моей журналистской и вообще литературной деятельности, а именно, что люди не часто умеют свежим глазом увидеть то, что их окружает. И нечто удивительное и неповторимое, увы, кажется им самой будничной, самой серой обыденностью. «А этот забулдыга,— подумал я,— открыл мне глаза на Мокрый форштадт!»

Впрочем, может быть, я и не подумал, а только почувствовал это. Может быть, все это я как-то додумываю только сейчас? И я ловлю себя на том, что чуть-чуть не поддался сейчас соблазну беллетристически написать нечто вроде того, что будто перед глазами моими вдруг сразу прошла целая вереница видений, что вдруг я увидел своим умственным взором, как из крепости на Мокрое скачет сам степной генерал-губернатор Гасфорд, кавалер золотого оружия за битву под Лейпцигом, человек, придумавший проект синтетической религии для казахов, совмещающей начала христианства и ислама, а из-за угла выходит красивый потомок казахских ханов, блестящий офицер, ученый и путешественник Чокан Валиханов, этот обитавший действительно на Мокром друг Достоевского. И появляется, гремя кандалами, и сам Федор Михайлович Достоев-

ский, может быть, марширующий на каторжную работу, а может быть, идущий в баню, принимая подаяния от сердобольных форштадтских мещанок.

Нет, скорей всего, ни один из этих эпизодов не возник перед моим умственным взором в тот день, когда я шел с Аренсом, скромно и буднично заверявшим меня, что он был не только майским жуком, но и Дмитрием Карамазовым. Я не прочел еще внимательно ни «Братьев Карамазовых», ни «Преступления и наказания», в котором Свидригайлов говорит о возможности того, что вечность похожа на тесную баньку с паутиной на тусклом оконце, то есть на одну из тех серых банек, какие я многократно наблюдал не только на Мокринском, но и на всяких других форштадтах Омска. Я не знал тогда ныне ставшие столь общеизвестными рассуждения Ивана Карамазова о геометрах и философах, даже о самых замечательнейших, которые осмеливаются мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и слились бы где-нибудь в бесконечности. Теперь я понимаю, что Достоевский, несомненно, мог думать обо всем этом, будучи еще в Омской крепости. Конечно, он, как инженер и математик, знал о трудах Лобачевского и ранее, и не пришли ли ему на память сходящиеся параллели при виде тоскливых рытвин от колес на Сибирском тракте, и бог знает какие дали он видел с берегового обрыва над устьем Оми, там, где еще будущая железная дорога и не обрывалась у порога деревянного острога.

Но тогда, идя с Аренсом, я подумал, пожалуй, только об одном: а не имеет ли зубной врач Круковская с Вагинской улицы какое-нибудь отношение к Корвин-Круковской, по мужу — Жаклар, приятельнице Достоевского, и к сестре ее Софье Ковалевской? Да, пожалуй, насколько помню, я подумал только об этом. А все остальное, видимо, додумалось только сейчас, в семидесятых годах, когда я с нетерпением жду выхода в свет очередного тома тридцатитомного полного собрания сочинений Достоевского.

Нет, я вовсе не собираюсь и не собирался обогащать юбилейную литературу своими соображениями о влиянии Мокринского форштадта на творчество Достоевского и о фонетическом, этнографическом и зоологическом соответствии Скотопригоньевска со старым Омском, а не со Старой Руссой. Пусть это останется даже и при мне, так же, как и эта полуанекдотическая, но тем не менее правдивая

история о беспутном актере-перевоплощенце. Однако следует ее досказать до конца. Кончилась эта история так: вышеназванный Николай Аренс увязался за мной в Новосибирск. То есть я уехал туда по журнальным делам, и вдруг в редакцию «Сибирских огней» ко мне явился Аренс, заявивший, что ему без меня скучно.

— Убери этого типа куда хочешь! — заявил мне Зазубрин.— Он, этот Аренс, надоел нам еще в позапрошлом году.

И тогда мы, кажется, с Ваней Ерошиным или с какими-то иными приятелями, предварительно напоив Аренса в столовке на Красном проспекте и заманив вслед за этим в вокзальный ресторан, сказали ему:

— Тут тебе не жизнь! Выбирай, куда тебе купить билет на наши деньги: хочешь — во Владивосток, хочешь — в Москву!

Погадав на пальцах, он выбрал Москву. И помню, как, ввалившись в плацкартный вагон и грузно занимая свое место, он кричал пассажирам о том, что он селенит, только что прилетевший с Луны!

Как я был книгоношей

Мне было около двадцати лет, и я был полон энергии. Мне надоело делать одно и то же, то есть писать стихи, заметки и очерки. Отмечу и другое немаловажное обстоятельство: я не был влюблен в сестру Виссы Шебалина, балерину Галю, но, когда выяснилось, что старики Шебалины чуть не насильно, чтоб она лучше отдохнула от балета и поклонников, упрятали ее на заимку за Иртышом, где-то в березовых колках, между кочевьями киргиз-кайсацкой орды и владениями немецких колонистов, и что к ней туда никого не пускают,— вот тогда-то я и решил заделаться книгоношей.

Я пошел к Василию Николаевичу Никонову и сказал, что хочу попробовать поторговать книгой в районе меж казахских аулов и немецких колоний.

— Так у меня же нет ни казахских, ни немецких книжек,— сказал Никонов.

— Не беспокойся, я сделаю нужный выбор,— ответил я. И подобрал календарей, детских книжек с картинками, но не позабыл взять и Бенуа, и Берроуза, и Клода Фаррера, ибо именно с такими книжками-новинками я и рассчитывал проникнуть на заимку, куда никого не пускали и где жила, по моим сведениям, Галя Шебалина.

— Надо же чего-нибудь дать и сельской интеллигенции, разным шкрабам,— пояснил я Никонову.

— Валяй! — согласился он.

Заправив клетчатую рубаху в штаны и напялив соломенную шляпу, я пустился в дорогу. Книги понес в фанерном чемоданчике. Переправился через Иртыш, заглянул в аул Каржас, по виду мало чем отличавшийся от разных переселенческих глинобитных селениц, но оседлые пригородные казахи, выходцы из Баян-Аула, не проявляли интереса к книге. Тогда я дошел до станции Куломзино и, сев там на поезд, доехал до известного мне разъезда и оттуда углубился в лесостепь. В полдень я достиг березовых рощ, под сенью которых сохранились еще хутора и заимки. Во второй половине дня я оказался у цели. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что меня сразу узнали и какая-то злющая баба пригрозила спустить собак, а те будто того и дожидались, бешено лая.

И я побрел восвояси. В нескольких деревеньках я продал несколько книжек с картинками. Между тем приближались сумерки, после жаркого дня надвигались грозовые тучи, от железной дороги было уже далековато, и я решил где-нибудь заночевать. В деревне, я уж забыл, как она называется, зашел в сельсовет и, объявив дежурившему там старому сторожу, кто я такой, спросил, где бы заночевать.

— А вот иди в избу, к избачке,— ответил он.

Изба избачки оказалась мрачным, довольно большим домом, принадлежавшим, как выяснилось, бежавшему с колчаковцами сельскому богачу, помещику, как его называли, хотя в Сибири помещиков не было. Все это мне объяснила вышедшая на мой стук в ворота юная худощавая избачка-комсомолка. Она улыбнулась, как мне показалось, какой-то слишком спокойной улыбкой и ввела меня в пустую большую комнату, посреди которой стоял стол с газетами и кое-какими журналами и брошюрами.

— Вот и вся наша читальня,— сказала избачка.— Не столько читают, сколько на цигарки уносят. А вы будете

спать на печи, нет, не на печи, а на моей кровати, а я на печи.

— Ну зачем же,— сказал я.

— Так надо, потому что вы гость.

— Я принес интересные книги,— сказал я.— Посмотрите.

Но она взглянула на мои сокровища равнодушно. Ее не заинтересовал ни Бенуа, ни даже Берроуз.

— Тарзан,— улыбнулась она.— Давайте чай пить.

Мы пили чай, как полагается, жидкий и, как полагается, с сахаром вприкуску.

— Угощайтесь,— говорила она. Тогда еще не вошло в обиход слащавое словечко «кушайте». «Угощайтесь,— говорила она.— Ешьте!»

И, улыбаясь, как прежде, уклончиво отвечала на мои расспросы о сельском житье-бытье. Она так неинтересно рассказывала: люди как люди, жизнь как жизнь, сами знаете,— что я ничего не уяснил, пожалуй, кроме того, что в ее жизни, которая, по ее словам, тоже была жизнь как жизнь, произошла какая-то трагедия, о которой она меньше всего склонна рассказывать. Довольно вяло она расспросила меня и о городских новостях, как будто бы заранее знала, что я ей ничего путного не отвечу. После чая она резкими движениями сменила на своей кровати постельное белье, а то, которое было, закинула на печь, куда и забралась, пожелав мне спокойной ночи. Затем, как бы спохватившись, соскочила с печи в одной рубашке и потушила стоявшую на столе лампу.

Вслед за этим разразилась гроза, как будто бы только и ждала того, чтоб избачка потушила лампу. Молния озарила стол, на котором от ветра, ворвавшегося сквозь разбитое окошко, зашевелились газеты. А на печи молча шевелилась избачка.

Хлынул ливень, но быстро затих. И все уснуло.

Утром, напоив меня чаем, избачка сказала:

— Пойду запрягу коня. Вас отвезу на станцию.

День был теплым и сумрачным. Мы ехали по дороге меж мокрых трав. Избачка сначала понукала коня, а потом, приспустив вожжи, облокотилась на меня и запела.

Она пела старую песню: «На нас напали злые турки, село родное полегло», но пела на новый лад.

— «На нас напали злые чехи, село родное полегло»,— пела она, но пела как-то механически, будто думала совсем о другом.

Так мы доехали до станции Марьяновка, близ которой в 1918 году произошел бой между омскими красногвардейцами и чешскими легионерами.

— До свидания,— сказала она насмешливо, когда довезла меня до этой станции.— Вы очень приятный и обходительный молодой человек. Может быть, привезете еще книжек?

И хлестнула коня, не взглянув на меня.

Полет
над Барабой

Получил письмо от племянника одного из героев моих стихов, запрос о том, что́ я знаю о дальнейшей судьбе Николая Мартыновича Иеске, летчика, описанного мной в стихотворении «Полет над Барабой». О дальнейшей судьбе Николая Мартыновича ничего толком не знаю, кажется, он умер где-то в Арктике, по подробности нашего полета вспоминаются мне что ни день, то яснее. И быть может, я что-нибудь и напутаю, но все-таки постараюсь восстановить со всей возможной точностью эту смутно-отчетливую картину былых вьюжных дней.

«Вьюжные дни» — так назывался сборник стихов сибирских поэтов, вышедший в Новосибирске в те годы, а может быть, именно в тот самый год, о котором пойдет речь. И, возможно, сборник потому именно так и назывался, что все кругом происходило под знаком бурана, пурги и вьюги.

...В одно очень метельное омское утро я получил телеграмму от Вивиана Итина: «Если хочешь лететь ищи Иеске Европе». Я не сомневался в том, что речь идет не о континенте, а о гостинице, в которой останавливался незадолго перед тем и Вивиан. Через занесенный снегом Казачий сад я вышел на улицу Республики, к подъезду мрачной, так и не оправившейся после революционных бурь и давно уже официально переименованной гостиницы «Европа». И чуть ли не в том же номере, где прежде оби-

тал Вивиан, я и нашел Николая Мартыновича Иеске, пьющего утренний кофе с бортмехаником Брянцевым.

Авиаторы отнеслись к моему появлению почти что безразлично: очередной пассажир-газетчик, обслуживающий полет агитсамолета Осоавиахима.

— Сегодня не полетим — метет! — сказал мне Иеске.— Но завтра, пусть метет еще пуще,— дела не ждут! — все равно будь на летном поле к девяти!

И на следующее утро, хотя мело не меньше, я уже месил сугробы летного поля. Я еще никогда не летал и действительно стремился как можно скорее подняться в воздух. Но агитюнкерс «Сибревком» что-то капризничал, не хотел заводиться и кашлял. Иеске мрачновато понукал Брянцева: «Не копайся, не копайся!» Затем почему-то меняли пропеллер. В общей сложности все это затянулось далеко за послеполудни. Но в конце концов мотор заработал как следует, и Иеске сказал, чтоб я лез в кабину и пристегнулся. Когда мы все заняли свои места, самолет взревел, двинулся, но как-то очень нехотя, и снова замер. Выяснилось, что он не хочет отрываться от мокрого снега. И вот тогда-то Николай Мартынович и высадил меня с бортмехаником, чтоб мы, облегчив самолет, раскатывали его сами и забирались в него уже на бегу, почти на лету: я — в пассажирскую кабину, а Брянцев с другого бока, прямо по крылу,— к летчику, как это и описано в стихотворении «Полет над Барабой».

Но вот что было дальше и о чем не рассказано в этом стихотворении: согревшись коньяком после взлетной эквилибристики, я расстегнул куртку и развалился в кресле. Иеске, взглянув на меня через оконце из командирской в пассажирскую кабину, послал мне записку (устная речь из-за рева мотора была немыслима): «Застегнись и пристегнись!» Я застегнулся и пристегнулся, хотя это казалось мне излишним, мы летели против встречного восточного ветра так медленно и туго, что казалось, просто висели на месте. Но очень вскоре стало покачивать, меня разморило, и, борясь со сном, как самолет с ветром, я предался смутным соображениям о том, что̀ именно я напишу о первом своем взлете в воздух. И вообще о полете.

«Мы летим над трассой Великого Сибирского пути,— соображал я.— Вот мы, должно быть, пролетели не только Калачинск, где на станционном базарчике не продают никаких калачей, а одни только шаньги, но пролетели, долж-

по быть, и станцию Колония, где продают бисквиты, потому что станция Колония названа так в честь эстонской колонии, не доезжая Чанов. И вот почему Сашка Вальс, беспутный сын нашего омского домохозяина эстонца Вальса, бегал от отца именно на Чаны. Видимо, он слышал об этом озере именно от жителей эстонской колонии у станции Колония. Колонийские колонисты, конечно, ездили рыбачить на огромное рыбное озеро Чаны...»

Так, размышляя, я задремал, и неизвестно — надолго ли, если бы вдруг не очнулся как бы от напора на меня чего-то тускло-блестящего, вроде как бы луны, заполнившей все бортовое окно. И эта луна с ее цирками и кратерами, с ее белыми безводными морями стремительно возрастала, как будто бы мы падали на ее поверхность. «Неужели же залетели на луну?!» — мелькнуло у меня в голове спросонья, но в то же мгновенье я увидел в окне пилотской кабины улыбающееся лицо Николая Мартыновича. И, даже вовсе не будучи знатоком летного дела, я уразумел, что Иеске совершил какой-то маневр в воздухе, накренив самолет так, что снежный, как бы испещренный цирками и кратерами замерзших степных озер ландшафт встал за окошком дыбом, что и создало впечатление падения на луну.

И тогда уже не Иеске, а Брянцев протянул мне записку: «Садимся в Каинске ночевать».

Это меня обрадовало, ибо вполне совпадало с моим давнишним желанием побывать в Каинске. Я много раз проезжал станцию Барабинск, возле которой таился старый городок Каинск, почти легендарный, потому что одни говорили, будто Каинск потому и Каинск, что там жили когда-то ямщики Ваньки Каины, грабившие пассажиров, или какой-то разбойник Ванька Каин, который, наоборот, грабил ямщиков и пассажиров на Сибирском тракте. Правда, краеведы давно объяснили мне, что то и другое — вздор и что Каинск называется так от татарского слова «кайна» — береза, ибо возник он среди березовых колков лесостепи. Но как бы то ни было, а мне давно хотелось воочию увидеть, на что он похож, этот романтический, как мне казалось, городок. И вот теперь мое желание осуществлялось.

Однако когда полозья нашего «юнкерса» соприкоснулись с каинскими снегами, мне некогда стало озираться на окрестности. К самолету бежали не ямщики, не библей-

ские старцы, а представители и представительницы местного Авиахима. И, насколько я помню, до города, уже тонущего в сумерках, нас домчали не бубенчатые сани. а тряский автомобильчик. Затем мы очутились в уютном, кажется, двухэтажном, доме, за столом, на котором красовались блюда с пельменями. Словом, нам был оказан самый теплый прием — все так шумели и радовались, что я потерял всякую охоту заниматься изысканиями и расспросами.

Наоборот, расспрашивали меня — о полете. А представитель местной редакции потребовал, чтоб я немедленно написал о своих впечатлениях в каинскую газету. Но я, хитро обмотав правую руку салфеткой, сказал, что писать мне мешает поврежденный в воздухе палец. Я сказал это не потому, что был утомлен настолько, что не мог писать, а потому, что решил незамедлительно приступить к писанию корреспонденции не в местную газету, а в «Советскую Сибирь», куда я и должен был дать отчет о полете. И чтоб заняться этим, я и пошел в соседнюю комнату.

Там было тихо, пахло шубами, валяной обувью, сухой полынью и жаром печи, в которой трещали чурки берез, давших свое татарское наименование этому городку. Я извлек из кармана блокнот. Но, взявшись за перо, я заметил, что руки мои выводят вместо задуманной корреспонденции совсем иные, стихотворные строки. Не ручаюсь за точность, блокнот давно потерян, но это было что-то вроде: «Береза — по татарски «кайна», и дымом из печной трубы в морозный мрак исходит тайна необозримой Барабы». Затем было еще что-то такое, обыгрывающее топонимику местности: что «колокольный, покаянный над Барабой несется звон, что Ванька Каин окаянный, листвою кайны окаймлен, и мы кого-то упрекаем,— тебя ли, позолота кайн,— что средь болота древний Каин свистал хозяином окрайн. Но, степь, льдяные латы скинув, в лазурь себя переодень средь белоствольных исполинов, чтоб объявилось в знойный день, как бирюзовая заплата на буром рубище страны, оно, великое когда-то, степное озеро Чаны».

Так прерванное в воздухе размышление о близлежащих Чанах настигло меня в Каинске.

«Стоянка каменного века, невиданного зверя след, неведомого человека воображаемый скелет! — писал я.— Теперь бедняги рыболовы в прибрежных бродят камышах.

сутулы и белоголовы, и рябь в глазах, и звон в ушах,— писал я, представляя себе не столько явь, сколько беспутного Сашку Вальса, бегавшего когда-то на Чаны рыбачить.— Но под березовым форштевнем волшебно пенится вода, мир о своем величье древнем не забывает никогда...»

Вот что сочинял я вместо корреспонденции о полете. И в это время в комнату вошел Иеске. По-медвежьи мягко ступая в своих оленьих унтах, он приблизился ко мне и сказал, видимо подразумевая местного редактора:

— Брось строчить на несвежую голову! И никакой заметки им не давай, а то что-нибудь переврешь!

Он, капитан воздушного корабля, был, пожалуй, единственным трезвым среди нас всех.

— Да я и не даю им никакой заметки,— весело ответил я, суя в карман блокнот с драгоценными записями.

И в таком же прекрасном настроении, и в таком же приподнятом состоянии я поутру занял свое место в кабине агитюнкерса. «Наш парус поднят, ветер ровен, команда вся навеселе, далекий благовест часовен: какой-то праздник на земле...— занес я в свой блокнот.— Но под изогнутым форштевнем волшебно пенится вода, мир о своем величье древнем не позабудет никогда!» Но, впрочем, когда мы поднялись уже в ясное в это утро небо, я погрузился в размышления не столько о древнем, сколько уже о будущем величии тех мест, над которыми мы летели. Надо мной, поэтом, возобладал журналист. Я вспомнил о том, что мы находимся над водоразделом Иртышского и Обского бассейнов, то есть над краями, в которых предполагалось соединить каналом верховья Оми с верховьями одной из рек, впадающих в Обь, и таким образом создать не только новый водный путь, но и частично оросить, а частично и осушить болотистую Барабу. Размышляя об этих проектах, важных как для земледелия, так и для скотоводства, я внимательно вглядывался вниз. Странно: снега становились все бурее, а местами обозначались и какие-то вовсе темные пятна и полосы. Вглядываясь в них, я заметил, что Иеске и Брянцев посматривают вниз с таким же вниманием и с возрастающей тревогой. Словом, как это выяснилось позже, синоптики прозевали предупредить нас о мощном циклоне, об оттепели в Новосибир-

ске, и мы совершенно напрасно не сменили полозья на шасси еще в Каинске. А лететь обратно мы не могли — бензин был на исходе. И тут возник перед нами Новосибирск с его почерневшим летным полем, где снег лежал только узкими полосками по склонам возвышенностей.

«Возможен капот!» — гласила записка Иеске.

И мы пошли на посадку. Мы пошли на посадку потому, что иного выхода не было — бензин кончался. Как сказано, Николай Мартынович опасался капота. Опасался ли этого я? Несомненно, опасался. Но скажу с уверенностью: опасаясь, я не боялся. Вероятно, не только потому, что был очень молод и полон неизжитых сил и нес в сознании своем и в блокноте массу важнейшей информации, но и потому, что абсолютно доверял Николаю Мартыновичу. Я был уверен в этом авиаторе, сумевшем взять нас с механиком на уже взлетавший самолет, сумевшем одарить меня ощущением полета на Луну. Я доверял этому человеку, сумевшему расширить мой горизонт до бесконечности. Вот потому-то я, видимо, не боялся, а только с напряженным интересом наблюдал, как одна сторона земли вдруг взмыла ввысь, а другая соскользнула в бездну. А затем все взгромоздилось мне навстречу, как гигантский черный, но с белою серединкою вал, снова пошедший наискось потому, что Иеске садил «Сибревком» на склон холма, где уцелело некоторое нужное количество снега. Мы скрежетнули, подпрыгнули и благополучно остановились. Распахнув дверцу кабинки, я услышал сквозь шум в ушах голоса подбежавших аэродромщиков. И услышал голос Иеске, поносившего дерьмовых синоптиков, не предупредивших нас о снеготаянии.

Говорили, что Иеске посадил самолет мастерски. Конечно, он был художником своего дела, и не зря Вивиан Итин вывел его героем прекрасной повести «Каан Кэрэдэ». И не случайно Иеске находил общий язык с нами, художниками слова... И не случайно супруга Иеске, рассказав на следующий вечер за чайным столом о том, что Николай Мартынович однажды в Риге совершил артистическую посадку прямо на крышу, без труда перешла к рассказу о вдохновенных дерзаниях Константина Бальмонта, которого она знала как пять своих пальцев и видела насквозь.

Какой-то змий

Давно пытался, но все не мог приступить к повествованию о той поездке на рудный Алтай, где бывший партизан принял меня за убийцу Лермонтова. Дело в том, что мне не хватало подтверждения некоторых фактов, касающихся не этого партизана и не меня, но совсем иных вещей. И вот наконец я нашел в одной книге на карте некий необходимый мне черный квадратик, подтверждающий возможность того, о чем пойдет речь, и таким образом все становится на места, и я уверен, что теперь мое повествование польется так же могуче и вольно, как лился когда-то не сдерживаемый еще никакими плотинами Иртыш мимо Усть-Каменогорска.

Начать с того, что я вовсе не собирался на Алтай и вообще в Казахстан, а думал провести эту позднюю осень в Батуми, купаясь в теплом море. Но редакторы «Сибирский огней» попросили, чтоб я, как признанный специалист по Турксибу, срочно съездил еще раз в районы строительства этой будущей железной дороги, дабы очерк, хотя бы и небольшой, попал в ближайший номер журнала.

— Ехал бы ты прямо сегодня! — сказал Зазубрин.

— Сегодня никак не смогу, мне и ехать не в чем, на мне кожаная куртка, а в степи холода,— сказал я.

— Возьми надень мой арктический полушубок,— предложил Вивиан Итин,— поди примерь!

Но, примерив перед зеркалом его полушубок, я пришел в ужас.

— Невозможно! — закричал я.— Знаешь на кого в нем я похож? На молодчика-охотнорядца. Не хватает только гармошки в руки либо хоругви.

— Не глупи! — произнес Вивиан.— Ты похож в нем на ушкуйника времен Мангазеи, впрочем, и на современного полярного моряка.

И на следующий день я мчался в Семипалатинск. Правда, полушубок я устегнул в портплед, чтоб не пугать людей, по крайней мере, в дороге, и этот портплед служил мне в поезде вместо подушки. Через его брезент, вдыхая запах дубленой овчины, я все-таки ощущал чувство стыда и протеста. Тут таился целый комплекс ассоциаций. Я с детства чуждался меховой одежды. Мне казалось, что

пышные шубы — суть атрибуты Салтычих, купцов-бородачей, или кнутобойствующих, приспуская тулупы с плеча, палачей, и вообще надо с этим бороться, быть спортсменом и по возможности гордо преодолевать стужу.

Однако в Семипалатинске было настолько морозно и вьюжно, что я не без удовольствия облачился в арктический полушубок и даже пожалел, что на мне не такая же теплая шапка, а всего-навсего легкий велосипедный шлем.

Но, очутившись в транспортной конторе, я понял, что полушубок служит мне все-таки плохую службу. Начальник автобусной станции, мельком взглянув на меня и, видимо не признав во мне важной особы, заявил, что не даст мне без очереди билета на автобус до Сергиополя.

— Очень много купца с Чугучака и на Чугучак едет! — сказал он.— Вам придется ждать очереди недели две.

Это, конечно, срывало план сдачи очерка в ближайший номер журнала, и я так и телеграфировал в редакцию, запрашивая, как быть. «Поезжай вместо Турксиба в Риддер»,— ответил Зазубрин, и тут как раз подвернулась машина Алтполиметаллтреста на Усть-Каменогорск.

Здесь я должен сделать такого рода отступление: моей жене вообще не нравится весь этот рассказ о поездке на Риддер. Я его целиком прочел ей, прежде чем переписывать набело. Ниночка говорит, что вообще этот рассказ изображает меня в невыгодном свете как журналиста.

— Как же ты, журналист, не мог добиться билета вне очереди на автобус?

— Да вот так и не мог. А если бы мог это сделать, то, возможно, не читал бы тебе сейчас этого рассказа по очень простой причине,— ответил я.— Потому что от шофера того автобуса, в котором я через два дня поехал в Усть-Каменогорск, я узнал, что сергиопольский автобус, на который я не добыл билета без очереди, свалился под откос в горах, не доезжая до Сергиополя, и одной из человеческих жертв этой катастрофы, возможно, стал бы я. А не добился я на него билета, может быть, не только из-за своего одеяния, но из-за того, что я действительно не был присяжным журналистом, а был чем был — молодым поэтом, сотрудником литературно-художественного журнала, которым руководили тоже не присяжные, матерые журналисты, а просто хорошие писатели, поря-

дочные мечтатели и фантасты, почему у меня с ними и получился альянс. И те приключения, которые я опишу ниже, тоже свидетельствуют о том, что на рудный Алтай, неожиданно изменив свой маршрут, поехал не прожженный газетчик. Но при всем этом все-таки я был газетчиком, и весьма неплохим. Конечно, я помчался на Риддер не подготовленным. Я мало знал историю вопроса, но ведь это и характерно для газетчиков не только тех, а и нынешних времен: газетчик, как известно, обязан нюхом чуять самое главное, а самое главное было в том, что я еду на рудники, которые должны, будучи реконструированы, покрыть весь дефицит свинца, цинка и серебра в СССР, покончить с импортом всего этого, и недаром они были до революции в иностранных руках, в руках концессионеров, во владении самого Лесли Уркварта. Обладая этими знаниями, я и вкатился на «фордике» в Усть-Каменогорск и остановился в Доме крестьянина, где отнеслись к моему внешнему виду вполне почтительно и даже дали не койку в общежитии, а отвели номер на верхнем этаже, откуда открывался вид на весь город. Теперь Усть-Каменогорск — большой индустриальный центр, а тогда я был прямо обескуражен унынием серого рассредоточенного скопища усть-каменогорских изб и неказистых домишек. Бросив полушубок на голый топчан каморкообразного номера, я налегке, в своей кожаной курточке под комиссара, как мне казалось, и сдвинув свой велосипедный шлем на затылок, отправился искать контакта с местной властью. То, что я еду на Риддер, было принято благосклонно, но так как я приставал к людям со всякими расспросами о горах и рудах, об изгнанных концессионерах и обо всяких будущих перспективах, едва ли вполне для исполкомщиков ясных, то мне сказали, что лучше бы я шел к местному писателю, который наверняка все должен знать об Алтае. Вот как я попал к Алтайскому.

Это был не Константин Алтайский, который впоследствии стал известен как переводчик Джамбула. Я теперь посмотрел по Литературной энциклопедии и заключил, что К. Алтайский, по всей вероятности, в те годы был еще в Калуге, где уже в тридцать первом году опубликовал поэму «Спичстрой», а тот, к которому я пришел, был другим Алтайским, о котором в Литературной энциклопедии я ничего не обнаружил, но это был, несомненно, тоже Алтайский, ошибиться, мне кажется, я не могу, и он был

тоже поэтом, но при этом, видимо, и прозаиком, о чем свидетельствовало большое количество рукописей в его маленькой комнате. Я с величайшим сожалением вспоминаю теперь о том, как я глупо вел себя в гостях у Алтайского. Мне бы следовало расспросить его во всех подробностях об Усть-Каменогорске и о нем самом, как он живет, каково его окружение. Ведь, как я узнал впоследствии из всяких книг, Усть-Каменогорск и тогда и прежде того был вовсе не только унылым скопищем изб, как мне показалось. Ведь там даже в дореволюционные времена были не только развалины старой крепости и не только лавчонки, магазинчики и притоны золотоискателей, но и Народный дом с читальней и, хотя кустарные, заводики, а следовательно и рабочие; и там были не только чиновники, но и своя интеллигенция, дореволюционная, а затем и революционная. Позже я слышал или читал где-то, кажется, у Батева, что в первые годы Советской власти там, в Усть-Каменогорске, почему-то некоторое время работал молодой тогда, будущий бородатый уральский сказочник Бажов. И вообще, наверняка были там, кроме Алтайского, другие любопытные люди. Вот обо всем бы этом мне и поговорить с Алтайским, но мне не пришло этого в голову, а глядя на горы его рукописей, я ощутил лишь одно, что отрываю хозяина от дела, и, чувствуя, что мешаю ему, я вообще потерял дар речи, и, вероятно, эта моя отчужденность передалась и Алтайскому, и наша беседа как бы оборвалась на полуслове.

Столь же неудовлетворенный этой беседой, как и самим Усть-Каменогорском, я пошел обратно, размышляя о том, что самое красивое в этом городке Иртыш. Иртыш, берущий начало где-то далеко, южнее, за китайской границей; Черный Иртыш, несущий свою быструю воду мимо пристани с прекрасным названием Тополев Мыс на озере Зайсан, а затем ниже Усть-Каменогорска и Семипалатинска превращающийся в широкий, полный пароходами и баржами, а по осени и арбузными плотами Иртыш моего детства, в свою очередь, преображающийся в Иртыш эфиромасличных, хвойных, урманных таторотарских туманов, в Иртыш Екатерининского завода с призраками его каторжан-пугачевцев и, наконец, в старокнижный — библиотечный тобольский «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», опять-таки преображающийся в Иртыш моих футуристически индустриальных грез —

в Иртыш будущего, обросший электростанциями, элеваторами и огнями городов-колоссов. Эти города грезились мне, конечно, еще очень смутно — при всех своих индустриальных устремлениях я все же не имел в те годы представления ни о Корбюзье, ни о Райте, но все же скопищам изб я противопоставлял в мечтах своих что-то грандиозное, железобетонное. И, придя обратно в Дом крестьянина, я сел за столик и занес в свой репортерский блокнот следующие строки:

«Видишь ты розовый Тополев Мыс вдали, Гавань Арбузогрузи. Сколь непохоже на видное издали все, что ты видишь вблизи. Видишь ты сорные травы, которыми сухо шевелит мороз, видишь ты город, который заборами, как чешуею, оброс. Вот погляди! Убедившись воочию, что за Шульба и Ульба, вынь поскорее свои полномочия: время, рассудок, судьба. О захолустье, чтоб тусклолучинное рушить обличье твое, шубу, бушуя, ношу я овчинную, так распахну хоть ее, чтоб над крапивой и гривами сивыми астру увидеть звезду. Делай, чтоб жители стали красивыми без исключенья. Я жду!»

Пока я сочинял это, стемнело. И, поняв, что в номере нет никаких осветительных приборов, я разостлал на голом топчане свой портплед, вместо подушки положил портфельчик и лег спать, укрывшись вивиановским полушубком. Но, не успев, как мне показалось, еще и уснуть как следует, я очнулся, понимая, что в номере что-то произошло. Прежде всего я обнаружил, что полушубка, прикрывавшего меня, нет, а он будто бы сидит на стуле у столика и выжидательно поглядывает на меня. «Галлюцинация,— подумал я,— этого еще не хватало!» Но, сев и опустив ноги на пол, я почувствовал, что наступаю прямо на сползший полушубок, а на стуле сидит вовсе не он, а человек. «Не Алтайский ли это взял да и пришел ко мне сам, сожалея, что у него дома разговора не состоялось?» — вот что мелькнуло у меня в голове. Но это был не Алтайский.

— Лампочку принес я вам, товарищ! — услышал я и тут только заметил, что на столике еле-еле горит керосиновая лампочка.

И вот этот-то разговор с дежурным, с коридорным, я до сих пор не знаю, как точно назвать этого человека, которого я принял сначала за свой полушубок, я и не решался как-то описать, пока не проверил некоторые дан-

ные, о которых шла у нас речь. А разговор получился такой: я поблагодарил за лампочку, потом осведомился, нельзя ли выпить стакан чая, но услышал в ответ, что с самоварчиком дело плохо — уже поздно, а затем я понял, что мой собеседник хочет сказать что-то еще. И он действительно, принеся лампу, не ушел сразу, а сел на стул и начал им поскрипывать, чтоб я проснулся, потому что хотел спросить нечто. И спросил он меня, зачем я приехал, не насчет ли змия? Потому что повсюду, мол, идет слух про змия. Нет, не здесь, в городе, а на далеких перевалах.

— Кости? — спросил я.

— Может быть, кости, а может быть, не кости, а и целый дракон.

— Что вы говорите, какой там дракон? — сказал я.

— Конечно, мы обыватели, что мы знать можем,— неопределенно ответил он,— но только так говорят, что где-то змий не змий, дракон не дракон, а нашли его у перевалов китайской границы.

Я пропустил мимо ушей его упоминание о китайской границе, но меня резануло его замечание: мы обыватели. Этим самым «мы обыватели», «с нашей обывательской точки зрения» — мне достаточно прожужжали уши чуть ли не с самого семнадцатого года всякие благонамеренные люди — соседи и знакомые еще по Омску. Кроме того, это понятие «обыватель», неожиданно сочетавшееся с мифологическим образом змия, и все это вместе с некоторой старомодной манерой выражаться вдруг внушили мне полубредовую мысль, что передо мной сидит, приняв обличие коридорного, скучный и чуждый мне алтайский бытописатель Гребенщиков, автор претенциозной повестушки «Любава» и повести «Змей Горыныч», которую я, сказать по правде, так и не мог одолеть в свое время. Вот он и явился и рассуждает о Змее Горыныче, подумал я, сознавая, что все это вздор: Гребенщиков удрал за границу, а если бы тайно и вернулся, так не стал бы лезть на рожон, затевая под видом сотрудника Дома крестьянина ночные разговоры с заезжим журналистом.

— Не имею понятия ни о каком змие-драконе,— сухо сказал я.— А еду я на Риддер.

— Ну что ж,— ответил он, вставая.— Извиняюсь. Лампочку по ненадобности потушите. Спокойной вам ночи.

И опять-таки я был, конечно, неправ. Мне, разумеется, следовало бы самым подробнейшим образом расспросить его про этого самого змия. Ведь теперь, когда я уже взялся за писание этой главы, я докопался все-таки в одном из научных трудов до карты, где черным квадратиком помечено на самых верховьях Иртыша, действительно близ китайской границы, местонахождение останков динозавра. Может быть, это было позже или, наоборот, раньше, а может быть, слух прошел именно тогда. Но, возможно, речь шла и вовсе не об этом, а мой собеседник, простодушно назвавшийся обывателем, был просто-напросто самым что ни на есть лучшим сказочником, разве что только малость похуже Бажова, и мог бы рассказать мне какую-нибудь очень старую или, наоборот, очень новую легенду. Но я, услышав ненавистное мне слово «обыватель», встал, как дурак, на дыбы. Ведь как-никак, а дело происходило на рудном Алтае, где у потомков демидовских горнорабочих, у так называемых бергалов, могли сохраниться предания о китайских нашествиях во дни Елизаветы Петровны, чуть ли не до Кокчетава, ведь дело происходило в горах, до которых доходили слухи о китайских погромах в Монголии в 1911 году; дело происходило на верховьях Иртыша, того самого Иртыша, по которому из Китая в начале двадцатых годов возвращались назад, домой, раскаявшиеся белогвардейцы.

После ухода моего гостя, я заснул под вивиановским полушубком. А утром, надев его на себя, я благополучно влез в карликовый вагончик старой урквартовской узкоколейки и поехал в туманно-снежные горы.

Я ехал среди прочих пассажиров, стараясь разобраться, кто из них староверы, кто бывшие казаки Третьего отдела Сибирского казачьего войска, кто бергалы, то есть старые горнорабочие, кто приезжие, как, например, плотники из Барнаула, кто российские новоселы последних лет, кто коренные алтайцы-ойроты. Были тут и казахи, новые рабочие, знаменующие наступление новой эры, когда этот район рудного Алтая превратился из царской собственности, проданной кабинетом двора в концессию Лесли Уркварту, в народную собственность Казахской Советской Социалистической Республики. И все эти люди, молодые и старые, староверы и табакуры, враги самосада или приверженцы самогона, православные, магометане, язычники, шаманисты, кержаки, беспоповцы и люди таин-

ственной для меня австрийской веры,— все эти пассажиры были одеты приблизительно одинаково — в тяжелые лохматые овчины, от которых мой вивиановский арктический полушубок отличался разве только относительной новизной и на этот раз служил мне верную службу в том смысле, что никто не стеснялся меня в своих разговорах, спорах, божбе или матерщине. Тут не пахло никакой обывательской, ненавистной мне мистикой, а все дышало острым духом перемалываемых горных недр и хлебом насущным. За этот переезд, слившись в единый ком с прочими пассажирами тесного вагончика, я вдоволь наслушался всякой всячины об условиях работы и быта на рудниках, о том, чем торгует и чем не торгует Церабкооп, какими шницелями кормят столовки и что показывают в клубном кинематографе. Все это я подробно описал в очерке своем «Горы, руды, люди», где рассказал о спуске в серебросвинцовые шахты и обо всех более или менее мне понятных процессах добычи руды и хитроумного превращения ее в свинцовый и цинковый концентраты с последующим выделением из них золота и серебра. И не рассказал я в этом очерке лишь о том, с чего начал эту главу,— о том, как во время товарищеской встречи с риддеровским начальством я, повесив своего черного овчинного ангела-хранителя на гвоздь и оставшись в кожаной куртке под комиссара, был все-таки принят захмелевшим бывшим партизаном не за кого иного, как за отставного поручика Николая Соломоновича Мартынова. Как это вышло? Очень просто. Помнится, он сперва мне спокойно рассказывал о риддерском уроженце анархисте Степане Шишкине, который еще до революции проявил себя революционером, а позже был схвачен Анненковым, но спасся и умер уже при Советской власти от нервного паралича. Но вслед за этим партизан сказал:

— А теперь я тебя пристрелю, потому что ты, Мартынов, убил моего любимого поэта Лермонтова.

Так у него в голове смешались все летосчисления. Однако мне кажется, что такое заблуждение не могло бы прийти в его пьяную голову, если бы он увидел меня в вивиановском арктическом полушубке. В этом полушубке ко мне на Риддере, я повторяю, все относились как к своему человеку и даже на обратном пути из Риддера, опять-таки в вагоне узкоколейки, я довольно близко познакомился с одной очень милой бергалкой.

Узнав, что она бергалка, я спросил ее, знает ли она, что значит это слово. Оно происходит от немецкого слова «берг», «гора».

— Бергалами,— сказал я,— звали немцы-мастера крепостых чернорабочих горняков.— Она, выслушав мои довольно путаные объяснения, положила мне голову на плечо и спела мне частушку:

Милый мой, замерзла я,
Прикрой полой, согрей меня.

Тем кончился мой экскурс в историю. И если я позже в очерке своем «Горы, руды, люди» мельком, как о курьезе, упомянул еще о том, что суеверные бергалы часто толкуют, будто в горах на старых выработках можно встретить копающихся в ямах людей из вымершего племени чудь, чудаков, то мне думается, что во дни моего посещения Риддера самым главным чудаком был я сам, помышляющий только об описании производственных процессов и равнодушный к быту, и фольклору, и душевным чаяниям всей этой массы людей, довольно еще бестолково теснившейся вокруг старых рудников, на базе которых возник современный индустриальный Лениногорск. Поздние раскаяния! Так уж вышло. И едва ли я решусь теперь перепечатать в какой-нибудь новой книге свой старый очерк о Риддере. Пусть уж о том, о чем не написал или столь поверхностно написал я, напишут другие, хотя бы, если он жив, тот же самый Алтайский, чьи рукописи громоздились на его маленьком усть-каменогорском столе величественно, как сам Алтай. А я расскажу лишь о том, чем кончился мой обратный путь с Риддера.

В Семипалатинск я вернулся на лошадях и сразу же перебрался на станцию железной дороги, где и встал в очередь у билетной кассы. Я был очень утомлен и почти засыпал, облокотившись на барьер. И вдруг я почувствовал, что прямо к моему носу подносится нечто похожее при тусклом вокзальном электрическом свете на бомбоньерку.

— Угощайтесь! — услышал я.— Зельце первый сорт! Змийское!

Я полагаю, не следует объяснять, что я подумал, услышав это. Ясно, что в моей памяти возник усть-каменогорский гребенщиковоподобный обыватель, дежурный по Дому крестьянина. Но это был совсем другой человек, не усть-каменогорский, а змеиногорский.

— Змеиногорский табачок,— произнес он, открывая бомбоньерку оказавшуюся табакеркой.— Угощайтесь, чтоб не заснуть! Вот щепоточку в ноздрю, и апчхи!

Мариупольские землянки

Это было вовсе не в Мариуполе, не на Азовском море и, вообще, не в теплых краях. И зимой эти землянки заносило так, что их обитатели откапывали свои жилища лопатами, а летом казалось, что землянки тонут в пылевом мареве, плывущем над булыжниками плохо мощенной улицы, соединяющей Омск-город с Омском-вокзалом. Эти землянки, жилища наполовину подземные, глинисто морщились, как некая зыбь земная, и казалось, что их можно если не перешагнуть, то перескочить с маху. Мариупольскими они звались потому, что были сооружены поблизости от пивоваренного завода, принадлежавшего раньше предпринимателю по фамилии Мариупольский,— весь Омск когда-то пил мариупольское пиво.

Я интересовался этими землянками не больше, чем другими окраинами старого Омска, например, Волчьим Хвостом, Нахаловкой, Сахалином, Порт-Артуром. Даже соседние с землянками хладобойни интересовали меня больше потому, что туда поступал скот из степей, в которые я выезжал для раскрепощения казахских женщин и на строительство совхозов зернотреста, чьи усадьбы, кстати сказать, сооружались под техническим руководством моего отца. Да и в городе было у меня множество всяких неотложных дел, связанных с вопросами строительства и проблемами культуры и науки. И в курс всего этого я был готов ввести Марию Михайловну Шкапскую, с которой меня однажды познакомил редактор газеты «Рабочий путь».

Я понимал, что передо мной не просто обыкновенная газетчица, но путешествующая по Сибири в качестве журналистки ленинградская поэтесса. Я знал ее взволнованные стихи о радостях и муках материнства «Mater dolorosa» и, кажется, уже какие-то и другие маленькие, белепькие. типично ленинградские книжки. Конечно, я не представлял себе ясно облика этой незаурядной женщины, я ни-

чего еще не знал тогда о ее сложном творческом жизненном пути, пути русской революционной интеллигентки, о ее скитаниях с отцом по ссылкам, о годах ученья в Петербургском психоневрологическом институте, а затем — в предреволюционной эмиграции — на филологическом факультете в Тулузе и в школе восточных языков в Париже, о ее послереволюционных контактах с Горьким и Блоком и, наоборот, неладах с Гумилевым. Я просто-напросто знал, что передо мной в качестве ленинградской журналистки сидит Мария Шкапская, та самая, которая написала о том, как горько, «познав любви пленительный Эдем, родить дитя неведомо зачем». И вот этой лирической поэтессе я и должен показать достопримечательности города Омска. Крепость? Музеи? Завод «Красный пахарь»? Сибака — Сибирская сельскохозяйственная академия с ее достославными учеными?

Но, мягко, улыбнувшись, Мария Михайловна сказала, что ей в настоящий момент хотелось бы больше всего познакомиться с бытом самых что ни на есть простых людей.

— Хорошо, Мария Михайловна,— сказал я,— попробуем в мариупольские землянки.

Это было ближе всего — минут пятнадцать ходьбы от центра города. Тем более что там, за зданием Сибопса, на бывшем пивном заводе Мариупольского жил мой приятель студент-медик по имени Серафим, которого я и хотел взять проводником по полуподземному царству. Но Серафима мы не застали дома и отправились в соседние землянки вдвоем. И это меня, сознаюсь, огорчило. Хотя Мария Михайловна была женщина решительная и одета была чрезвычайно просто, гордая голова ее была повязана скромной косынкой, я все-таки не был уверен, как нас встретят. Дело в том, что я никогда до тех пор не вступал в личный и тесный контакт с обитателями этих землянок. Я знал об этих людях главным образом из сводок происшествий, как газетчик. Но мы пришли среди белого дня. Меж землянок бегали дети, женщины стирали и развешивали белье, какой-то молодец чинил крышу своего жилища, сидя на ней верхом.

К нему-то я и обратился с деланно-небрежным приветствием:

— Здравствуйте! Как живете? — И, услышав ответное «Здоров!», я не придумал ничего более умного, как спросить: — А что, у вас соседи хорошие?

Но в ответ услышал именно то, за чем мы и шли:

— Соседи? — воскликнул он. — Да уж до того хороши, что лучше не надо! Васька Пупсик! Известный шулер! — И, приглядевшись к нам внимательно, он добавил: — Как вы с обследованием, так и загляните к нему, он дома!

И, спрыгнув с крыши, он крикнул чуть ли не прямо в дымовую трубу соседней землянки:

— Эй, Васька, к тебе гости, встречай!

И выкрикнул это так убедительно, что мы с Марией Михайловной и в самом деле смело сошли по глинистым ступеням внутрь Васькиного жилища.

Васька Пупсик, круглолицый и аккуратный паренек, встретил нас безмятежной улыбкой.

— Сам он шулер! — сказал он. — А я честно играю. Разве виноват, что он мне проиграл? Не соображаешь, так и не играй! А вы что? Из санитарной инспекции, что ли? Да вы садитесь, если не брезгуете.

Конечно, он подметил точно: мы постеснялись усесться на тряпичное ложе, на котором восседал он сам, отвечая в дальнейшем на мягкие, обдуманные вопросы Марии Михайловны. И его ответы были столь же деликатны и разумны, как и вопросы корреспондентки-поэтессы. Этот Васька Пупсик довольно картинно обрисовал нам сложное бытие если не всех, то многих земляночных обитателей. В непринужденной беседе с нами он как бы шутя, к примеру, сумел рассказать и о скупом своем соседе, неудачливом тамбовском переселенце, удачливо отбившемся от сельского хозяйства и прибившемся к рабочему классу, и о другом мариупольце, беженце из голодавшего недавно Поволжья, разжиревшем на сибирских хлебах до того, что стал похожим на кулака, какого в газетах рисуют, и из-за толщины в свою землянку влезть не может, дети вталкивают...

В его речах чувствовалось если не мудрое, то хитрое желание под видом независимой насмешки выразить свою благонамеренность, уважительное отношение к Советской власти, представителями которой, как он полагал, являлись мы, я и Мария Михайловна, какие-то обследователи, что ли. Я думаю, что и Мария Михайловна так его понимала, ибо слушала его рассуждения, снисходительно улыбаясь.

Один из новейших биографов Марии Шкапской в предисловии к ее книжке, вышедшей в конце шестидесятых

годов, пишет, что в те времена, когда она совершала свои поездки по Сибири, «экзотика во всех ее проявлениях на первых порах еще слишком влекла к себе очеркистку, и только несколько позднее к ней пришло убеждение, что по-настоящему яркие впечатления следует искать в другом». То есть, другими словами, Мария Михайловна лишь в поисках экзотики снизошла в глубь мариупольских землянок, «обитатели которых — осадок мутной переселенческой толпы». Оставляя на совести молодого биографа все эти рассуждения, включая и высокомерный сверху вниз взгляд на «мутную переселенческую толпу», я позволю себе заметить лишь одно: если и рассматривать Шкапскую как некую только что вернувшуюся из «Бегства в лирику» эстетку, впервые начинавшую прислушиваться к «звукам той симфонии жизни, которую несли с собой первые революционные годы», если видеть тогдашнюю Шкапскую в свете той символической поэзии, на которой, по существу, воспитаны все мы, ровесники двадцатого века, то и в этом аспекте она представляется мне в те дни не искательницей экзотики, а скорее одной из тех артюрримбических дев Марий, которые светлыми стопами своими стремились унять бушующий оскал человеческого прибоя, чьи волны шли наподобие бешеных быков, вырывающихся из истерического хлева стихии. Этот довольно сложный образ пришел мне на ум и потому, что беседа наша с Васькой Пупсиком в глубине мариупольских землянок происходила как раз под рев стад, загоняемых в ворота соседней с землянками мясохладобойни.

Между тем Васька Пупсик, обрисовав нам облики взрослых обитателей землянок, перешел к молодому поколению. Вернее, Мария Михайловна начала разговор о детях. Материнство и дети, как я уже сказал выше, являлись главной темой ее стихов, но Васька Пупсик, отвечая насчет детей, незаметно перешел к тому, что получается, когда они вырастают. Вот, например, девки! Конечно, одни уходят в поломойки, в больничные санитарки, а другие сами попадают в больницы после того, как, погуляв в кабаках с кавалерами, заполучают что-нибудь такое. Но иные устраиваются даже очень выгодно: хотя бы вот тут поблизости у вокзала в балаганчиках восседают в виде китайских хозяйственных жен! Да, есть, конечно, и такие ловкачки! Однако рано радуются!

Я слушая это повествование в общем без волнения. То, о чем толковал Васька, не было для меня новостью. Наша старая знакомая, прачка Августа, вдова пьянчуги-столяра Старкова, еще совсем недавно горько плакалась, что ее племянница, толстая, глупая Грушка, спуталась с китайцем, который наобещал ей горы шелка, а потом скрылся. А все сулил взять в Шанхай.

Впрочем, говорили, что часто китайцы оказывались примерными, заботливыми мужьями.

Китайцы эти были мелкими торговцами, содержателями кабачков, где в мутное, отнюдь не мариупольское пиво бросались для красоты какие-то самораспускающиеся фокусные цветочки и звездочки. Из-за внутренних стенок этих лавочек, особенно в темных кварталах Мокринского форштадта, порой доносился сладкий запах таяна, опиума. Эти китайцы однажды ввели меня в такое заблуждение, что мне пришлось много потрудиться для разрешения загадки: однажды я поймал на сирени цикаду, самую настоящую цикаду, а затем еще и еще одну, о чем и дал сообщение в газету, сопроводив изложение факта догадками насчет потепления климата, изменения направления господствующих ветров и какими-то другими. Местные натуралисты поставили все эти мои догадки под сомнение, но цикаду признали цикадой, и я долго бы еще гадал, откуда она взялась, если бы наконец не разъяснилось, что некий предприимчивый китаец привез из Китая на продажу своим компатриотам некоторое количество цикад в клеточках из слоновой кости. И несколько этих цикад кто-то и упустил из клеточек. И я решил прервать повествование Васьки о глупости связывающихся с китайцами девок, чтоб рассказать о цикадах Марии Михайловне, и даже, кажется, уже начал свой рассказ, но она, почему-то взволновавшись, вдруг сказала:

— Ну, что ж! Пожалуй, нам пора! Пойдемте! — и, кивнув Ваське Пупсику, добавила: — До свидания, дорогой мой, желаю вам всякого счастья в жизни!

Теперь я, пожалуй, догадываюсь, почему она так помрачнела и поспешила прервать разглагольствования Васьки о глупости девок и коварстве китайцев. Может быть, я и ошибаюсь, но все-таки мне приходит в голову вот что: Мария Михайловна в сборнике своем «Ца-ца-ца» написала между прочим и следующее: «Она была русская, он китаец. Оба они жили в Париже... Домой им обоим

было нельзя вернуться. С горя она рассказывала ему русские сказки, а он декламировал ей китайские стихи. Что запомнил он из русских сказок — надо спросить у него, а то, что запомнила она из китайских стихов,— записано здесь». Может быть, именно все это вспомнилось и как-то смутило Марию Михайловну, когда она услышала цинические речи Васьки Пупсика...

Может быть, так. А может быть, все это я и придумал теперь, бросая ретроспективный взгляд на события, участниками которых мы были пятьдесят лет тому назад, когда Мария Михайловна, подобно деве Марии, шла по глиняной зыби мариупольских землянок, как по тернистому пути жизни человеческой. И недаром Максим Горький еще в 1923 году написал ей, Марии Шкапской: «Вы... на новом и очень широком пути. До вас женщина еще не говорила так громко и верно о своей значительности». Современным историкам литературы очень просто теперь писать лапидарные строки о том, что-де сперва «наивными и беспомощными выглядели попытки поэтессы дать свое толкование действительности» «и будто бы прежде чем к ней пришло убеждение, что по настоящему яркие впечатления следует искать в другом» — она искала экзотику.

Нет, не экзотику искала, конечно, и тогда поэтесса. И прежде чем начать после сотрудничества у Чагина в «Красной вечерке» систематически печататься в «Правде» и писать для серии «История фабрик и заводов» свой, как говорит биограф, капитальный труд «Лесноровцы», Мария Шкапская искала не экзотику, а диалектическую явь, в Томске, например: «ведя читателя сразу из физиотерапевтического института в цыганский табор, а в Омске путешествуя по мариупольским землянкам». И всюду она оставалась не столько газетчицей-журналисткой, сколько женщиной, скорбящей, страдающей женщиной — матерью! Отсюда и название книги. Не «Mater familias — матрона, мать семейства, не «Mater gloriosa — божья матерь во славе, а именно — «Mater dolorosa» — скорбящая, страдающая мать, столь близкая Герцену, Огареву, Достоевскому, верной ученицей и продолжательницей которых была Мария Шкапская.

Вот что мне пришло в голову при чтении вышедшей в 1968 году книги М. Шкапской «Пути и поиски», вернее, предисловия к ней. Быть может, какому-нибудь историку

литературы и пригодятся эти подробности путешествия Марии Шкапской по мариупольским землянкам, куда провожал ее, как она отметила в одном из своих очерков, «сибирский поэт и бродяга Леонид Мартынов».

Лик ликбеза

Это озеро не отличалось ни глубиной, ни величиной.
И никакой особенно привлекательной фауной или флорой.
Двое появились передо мной и спросили меня:
— Ты больной? Хворый?
— Нет! Я здоровый!
— Зачем же ты
Идешь на озеро Эбейты?

Может быть, я закончу эти стихи, а может быть, нет. А пока запишу о том, как я их задумал, запишу те, что вспомнилось, чтоб оно снова не позабылось. Ведь как-никак, а речь идет о событиях почти полувековой давности.

Действительно, это озеро не отличалось ни величиной, ни глубиной... Не отличалось, говорю я потому, что даже не знаю, существует ли оно в настоящее время, может быть, оно уже ушло, высохло или перепахано, как многие из степных озер моей юности. Заранее принимаю справедливые упреки: а почему ты не навел справок? Могу лишь сказать на это: наводите справки сами. А что до меня, то я, очень молодой тогда журналист, узнал о существовании этого озера из обывательских толков: старые омские ревматики и накожники, разочаровавшиеся в докторах, толковали о том, что-де неподалеку от станции Исиль-Куль есть такое целебное волшебное озерко, куда ездят лечиться и поправляться и из Прибалтики, и с Дальнего Востока, и даже из Харькова. Эта подробность — из Харькова — и убедила меня в достоверности толков: в районе Исиль-Куля жили украинские переселенцы, и, видимо, они-то, жители всех этих полтавских и таврических сел, и оповещали харьковчан об удивительных свойствах озера. И, посмотрев на карту, я действительно нашел в указанных местах маленькое голубое пятнышко, возле которого стояла пометка «о. Эбейты». Помню, я пошел в облздрав, но

там мне не сказали ничего вразумительного, и я решил сам поехать на это, в сущности, недалекое озеро.

Повторяю, это было давно, в середине двадцатых годов, и многие подробности исчезли из памяти. Так, например, я не могу вспомнить, из какого именно населенного пункта и почему именно я решил сделать последний переход к озеру пешком. Только помню, что я шагал по степной дороге в сопровождении двух молодых казахов, один из которых показался мне вроде как демобилизованным красноармейцем, а другой, судя по какому-то значку, был комсомольцем. Они тоже шли на Эбейты, и когда один из них спросил меня, зачем я иду на озеро, если не болен, то я ответил все по правде, сказал, что я журналист, добавив, что вообще люблю купаться, а вслед за тем стал толковать своим спутникам, в каких озерах, реках и морях довелось мне купаться, какие видел курорты на Черном море, и так далее и тому подобное. Молодые люди слушали меня внимательно, но вопросов почти не задавали и только, когда в сумерках тускло блеснула поверхность озера, один из моих спутников промолвил:

— Вот ей обо всем и расскажешь!

— Кому ей? — спросил я.

— Ей! Вон там! Видишь?

И, взглянув в указанном направлении, я действительно увидел светящийся треугольник. Это я отчетливо помню и сейчас. Но чем именно был этот тускло-багровый треугольник — полузавешенным оконцем или полуоткрытым входом в юрту,— я не берусь теперь утверждать. Помню только, что это было признаком жилища, стоящего на невысоком береговом обрыве. И помню, что я, чуть наклонив голову, вошел в это помещение, освещенное керосиновой лампой. Что помню, то помню. И ясно помню, что в этом обиталище сидела то ли за обыкновенным столом на скамейке, то ли за низеньким азиатским столиком на кошме молодая женщина или девушка. Я накрепко позабыл, как она была одета и обута,— то ли в обыкновенное городское платье и в туфельки, то ли в экзотическую одежду казахских женщин и в сапоги. Я отчетливо запомнил только ее голову, ее лицо. Это была девушка или молодая женщина с чертами лица, как мне показалось, скорей не казахскими и даже не монгольскими, а скорее индейскими, именно не индийскими, а индейскими, как у героинь Фенимора Купера, либо Джека

Лондона, или Кервуда. И от темных ее волос исходило при свете керосиновой лампы какое-то металлическое блистанье.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Здравствуйте,— ответила она безо всякого акцента.— Вы кто?

— Я журналист, сотрудник газеты, меня интересует озеро Эбейты, как вы тут живете,— сказал я.— А вы кто?

— Она Ликбес,— ответил за хозяйку парень, похожий на комсомольца.

— Она Ликбес,— повторил, как эхо, другой парень.

— Да, я учительница, Ликбез! — кивнула женщина, и я заметил, что при этом кивке ее голова засверкала как будто бы медью, если не золотом.

— Вы ликвидируете безграмотность среди казахского населения? — вежливо спросил я.

И она снова кивнула утвердительно, и голова ее вновь засверкала металлическим блеском. И тогда я понял: в ее косы, закрученные, как у русских женщин венцом вокруг головы, были вплетены ленточки с монетами, главным образом серебряными, но обагренными светом керосиновой лампы. Я пригляделся: тут были полтинники старой, императорской чеканки, но и более крупные деньги, как мне показалось, каких-то восточных стран, а может быть, даже и западных.

И я понял, что в блеске всей этой нумизматической коллекции, в этом девичьем лице я вижу доподлинный лик степи, тот лик, который до сих пор еще не разглядел, скитаясь по Казахстану, глядя в глаза бесчисленных синих, и серых, и коричневых, и красных степных озер. Я понял зрительно и ясно все то, что происходило здесь в течение столетий. Казахские орды, совершая свои вековечные циклы кочевий по строго определенным пастушеским путям, следом за своими стадами — к зиме на далекий юг, а по весне, в поисках свежих сочных пастбищ, на север, к границам Сибири, соприкасались на перекрестках караванных путей с обладателями самых различных денежных единиц. Вот как через руки казахов закатывались в косы казашек эти металлические кружочки. И нет ничего удивительного, что через Среднюю Азию попадали в степь и афганские, и персидские, и турецкие монеты, чтоб зазвенеть в косах казашек рядом с монетами русскими. А позже, когда XX век затащил в казахские степи

Российской империи всяких западноевропейских дельцов, продавцов, комиссионеров и, главное, концессионеров, когда медные руды Центрального Казахстана попали в руки Сади-Карно, а серебросвинцовые руды Алтая в руки Уркварта, который поставил свои ватержакеты и близ Павлодара у пристани Ермак, на подступах к экибастузскому каменному углю, тогда, естественно, в косах казахских красавиц засверкали и французские и английские монетки.

Вот о чем сверкнули мне эти денежки, превратившиеся после Октябрьской революции в простые украшеньица над челом деятельницы ликбеза. Она, эта советская девушка, сама того, наверное, не сознавая, носила над своим ликом целую историю степи.

— Лик Ликбеза не безлик! — пробормотал я.

— Что вы сказали? Я не поняла,— сказала она.

— Нумизматика,— прошептал я еще более невразумительно.

Это слово, как мне показалось, было ей непонятно. И я, после нескольких кратких наводящих вопросов убедившись, что эта милая девушка ничего не может прибавить мне к моим знаниям об Уркварте и о Сади-Карно и вообще не имеет никакого понятия о концессионной политике царского правительства, перешел к вопросу о ликбезе как таковом: кого учит, хорошо ли учатся и так далее. Все это коротко и ясно я описал потом в газетном очерке: как я прибыл на Эбейты, как я встретил учительницу и что она мне рассказала о своей благородной деятельности.

Но что было дальше! Все описанное выше я, как мне кажется, описал, рассказал с документальной точностью. Хоть, может быть, и тут я кое-что слегка приувеличил или, наоборот, приуменьшил. Ведь дело было давно, и, может быть, эти люди, которых я описываю сейчас, если они еще живы и здоровы, чего я им от души желаю, и ликвидаторша безграмотности, и оба парня, прочтя эти строки, скажут: вот начал правильно, потом кой-что переврал. Все может быть.

Но дело не в этом, а в том, что, сколько бы я ни пытался вспомнить, что было дальше, чем кончился наш разговор, остался ли я на озере Эбейты до утра, искал ли я на берегах этого озера ревматиков и накожников или не искал, купался ли я в озере или не купался, уехал ли я

оттуда один или с этими парнями и ликвидаторшей безграмотности,— ничего этого я не помню. И сделалось ли оно курортом, это озеро Эбейты, или оно ушло, высохло, либо превратилось в пастбище, либо в поле, засеянное пшеницей,— я не знаю. И только иногда мне хочется написать о нем если не поэму, то фантастический рассказ, например, рассказ о том, как я, купаясь в озере Эбейты, ныряю и показываю разные виды плавания — кролем, саженками, аля-брасс, а с берега задумчиво глядят на меня эти два парня.

— Плывец,— говорит один из них, похожий на красноармейца.

— Пискультурник,— говорит другой, похожий на комсомольца.

А тем временем молодая казахская женщина или девушка, имя которой Ликбез, сидит в своей землянке или юрте, и если не показывает картинки через волшебный фонарь, то крутит земной шар, то есть школьный глобус, на котором указаны названия всех стран, чьи монеты звенят в ее косах, превращаясь из денежных единиц в продырявленные украшеньица над ее невинным челом.

А потом я будто бы спрашиваю ее о том, о чем хотел спросить, но не спросил тогда на самом деле:

— А вы не боитесь, что вас ограбят, обидят?

А она будто бы вынимает из-за школьной доски (кажется, там была и школьная грифельная доска, я не помню), вынимает из-за этой черной доски нечто похожее на ее собственную черную косу и говорит мне:

— Видите?

И я понимаю, что это не что иное, как тугая, могучая плеть, завещанная ей от предков. И если это и есть та самая плеть, то она уж какая-то иная, она рассекает тьму с электрическим треском, как молния, озаряющая степные озера до самых далеких снеговых вершин Небесных гор.

Круглая звезда Айналайн

Не люблю предисловий. Особенно к стихам. Они должны говорить сами за себя. Но Олжас Сулейменов попросил меня написать предисловие к его книге. Он тоже не любит

предисловий. «Но,— сказал он,— издатели очень хотят предисловия. Вы когда-то напутствовали первую публикацию моих стихов в центральной печати, так напишите, пожалуйста, и теперь!» И я написал. С великим трудом. Стараясь не впасть в то, что, если не ошибаюсь, называется просопографическим методом, впрочем применяемым в данном случае не к Олжасу, а к себе самому: я стремился не уснащать повествования о поэзии Олжаса теми или иными фактами своей биографии.

Предисловие (я не знаю, напечатают ли его издатели книги Олжаса) наконец получилось таким, каким и нужно быть порядочному предисловию, но куда же мне деваться со своими воспоминаниями, хотя и не имеющими отношения к предисловию, но, несомненно, имеющими отношение не только ко мне лично, но и к тому народу, сыном которого является мой друг Олжас.

Казахи!

Я думаю, что слышал их голоса, скрип их повозок, ржание их коней и рев их верблюдов чуть ли не с первого дня своей жизни, со дня рождения своего в доме поблизости от Казачьего базара. С малых лет я помню, как появлялись в торговых рядах, между кирпичной каланчой и деревянным цирком, эти всадники в лисьих малахаях и всадницы в засаленных парчах и бархатах и в шапочках, украшенных птичьим пером. Майский кумыс в мехах и бочонках, кое-какая нехитрая степная пушнина, кожи, масло, сало, а зимой фиолетовые скотские туши и белые лунообразные колеса мороженого молока — все это обменивалось казахами на бумажные, медные и серебряные русские деньги, которые не залеживались в кошелях за пазухой, а живо преображались в шанинские ситцы и бархат, то есть в мануфактуру из магазина Шаниной, в фетгергинкелевские кастрюльки, то есть в металлическую посуду со складов Феттера и Гинкеля, в конфеты из кондитерской Зонова и в разную мелочь из магазинчика «Любая вещь», куда тоже заявлялись степные покупатели с кнутами за поясом. А затем казахи покидали город Омск, который они называли по-своему Омбы, переправляясь на пароме за Иртыш, в те пространства, что на старых военно-топографических картах Акмолинской области обозначались как кочевья киргиз-кайсацкой орды. Но мне казалось, что там Африка: верблюды, появлявшиеся из-за Иртыша, совпадали с верблюдами на книжных картинках,

изображающих пустыню Сахару. Позднее у меня возникли более точные представления об этом районе иртышского левобережья, западнее, точнее — юго-западнее которого, где-то очень далеко, за Уралом и за югом Европейской России и за Балканами, действительно, в конце концов, все-таки пламенеет Африка. И, забегая на полвека вперед, я должен сказать, что мне сразу показались ясными и понятными стихи Олжаса Сулейменова о том, что над озерами Кургальджино зажжено солнце Африки. Приблизительно так ощущал в свое время и я, но недавние стихи Олжаса напомнили мне о тех временах, когда еще не родился не только Олжас, но, вероятно, и его родители. А тогда мое личное знакомство с казахами началось не с какого-нибудь экзотического, степного, но с одетого и обутого, как и я, городского мальчика, посаженного волею аллаха на соседнюю со мной парту первого класса 1-й омской гимназии. Это был сын толмача Акмолинского областного правления, очкарик, как выразились бы теперешние ребята, и первый ученик, как тогда назывались отличники. Педагоги ставили нам в пример его старательность и хорошее поведение. Может быть, образ этого мальчика, сына толмача, как-то слегка и отразился впоследствии в моей поэме об Увенькае, воспитаннике школы толмачей в Омске, но во дни нашего совместного ученичества я общался с этим мальчиком мало и не знаю его дальнейшей судьбы, так же как не знаю судеб большинства других моих соучеников, рассеянных вихрем революции. Но именно она, революция, несколько поздней помогла мне лучше всяких толмачей понять, что творится в степях, какие страсти бушуют под пологом войлочных юрт. Именно революция, Октябрьская революция со всеми ее последствиями и дала мне возможность познакомиться с целой кавалькадой воинственных амазонок в буйном облике молодых заиртышских казашек. Более того, я сделался их доверенным лицом, ходатаем по их делам. Суть в том, что они, эти женщины, взбунтовались. Против нелюбимых мужей. И так как все это было в первой половине двадцатых годов, эти женщины потребовали на основании советских законов раскрепощения! «Нас выдали замуж за наших мужей насильно, нас выдали за калым, нас держат взаперти, и пусть газета «Рабочий путь» поможет нам стать свободными, полноправными советскими гражданами» — таков был смысл их требований. И я, юный ре-

портер, написал ряд статей, освещающих все перипетии их борьбы за новую жизнь. Обо всем этом я впоследствии рассказал в очерке «Бунт желтых жен», напечатанном полностью в книге «Грубый корм» (изд-во «Федерация», М., 1930). Но, пожалуй, не менее ясно это выражено в одном из забытых моих стихотворений: «Эй, супруга моя, Бибиш, наш аул ушел за Иртыш, почему ж ты осталась в городе, на крыльце у прокурора сидишь?» — «Мой муж, хромой Мукаш, ты вчера показал мне кнут. Поеду в город, спрошу адвоката, что надо делать, если бьют?»

Таков был смысл написанных мной слов. Но звучали они в ритме некоей казахской песенки, с малых лет ласкавшей мой слух. Сначала я и вовсе не понимал, что это значит. Но с детства пристрастный к волшебству словосочетаний, я любил повторять этот услышанный где-то на базаре или у паромной переправы мелодичный обрывок песни:

Айналайн...
Айналайн...

Так, по крайней мере, звучало это для меня. А что это значит — я и не ведал, да и не спрашивал ни у кого, и даже у взбунтовавшихся казахских женщин. С ними разговоры шли о кнутах, о тиранском обливании их холодной водой на морозе, об угрозах провезти за непокорство нагими верхом на черной корове, лицом к хвосту, и о вытекающих из всего этого ходатайствах о расторжении брака с законным разделом имущества, а не о песнях, и вовсе не о значении сладкого степного слова «айналайн». И о значении этого слова я впервые спросил не у казашек и казахов, а у короля писательского Антона Сорокина. И он, знаток казахского быта, ответил мне кратко и категорично: «Айналайн» значит — «моя дорогая». Напишите поэму о степной красавице Айналайн!.. И я вставлю ее в какой-нибудь свой рассказ»,— добавил он, ибо любил вставлять в свои рассказы понравившиеся ему чужие стихи. И я действительно написал эту свою еще очень юношескую поэму о том, как казахский мальчик Айдаган увидел в степи красавицу на белом коне — генерал-губернаторшу — и принял ее за Айналайн, и бросил скромную степную девушку Чару, пошел в город и нанялся на генерал-губернаторские конюшни, но Айналайн — это было связано с революцией 1905 года! — оказалась Зверухой. И я

напечатал эту поэму «Зверуха» в «Сибирских огнях», и ее хвалил не только Антон Сорокин. Но точное значение слова «айналайн» и после этого осталось для меня не вполне ясным.

Ничего не прибавил к пониманию мною этого слова и певец из аула Каржас. Надо сказать, что долгое время я, углубляясь все дальше и дальше в степи, как-то не замечал этого достопримечательного аула, который находился совсем рядом с городом, чуть подальше овчинно-шубного завода за Иртышом, прямо напротив крепости. Не помню, по какой надобности я очутился однажды перед саманными и глинобитными жилищами этих уже оседлых, но не терявших связи со степью казахов. Это были, как выяснилось, давнишние выходцы из-под Баян-Аула, откочевавшие не менее ста лет назад на север, под Омск. Узнав об этом и взглянув со стороны аула на очертания Омска, я понял и живо представил себе, что оттуда — из-за реки, на аул Каржас мог смотреть не кто иной, как будущий друг Чокана Валиханова Федор Достоевский, выходя из своего Мертвого дома для каторжной работы на берегу у крепостного вала. Может быть, именно в такие моменты у Достоевского и возникла мысль о будущих судьбах степи и вообще Азии. И, конечно, он думал о казахах. А думали ли они о нем? И вообще — о чем они думали, глядя на Омскую крепость? Само собой разумеется, я расспрашивал у жителей аула о прошлом, но они или стеснялись, или действительно мало что знали. Но я там нашел старого акына, певца песен. И мало того что нашел: несколько позднее мы с товарищами сумели заманить его с собой в город на писательское совещание, и седой акын сидел в городском театре за столом писательского президиума плечом к плечу с бородатым поэтом профессором Петром Дравертом, с юным поэтом моряком Убекосибири Яном Озолиным, с ненецким драматургом Иваном Ного и с тюкалинским фольклористом из села Больше-могильное Ваней Коровкиным. И акын пел, и в его песнях я уловил тоже самое слово «айналайн», употребляемое как будто в смысле обращения к женщине, но, может быть, и не только к женщине, а к чему еще, я не уразумел.

Я не уразумел этого и в степи за Сергиополем, на пикете Кзыл-Кий, близ которого громоздились руины башни, якобы той самой, с которой бросилась когда-то краса-

вица, безутешно оплакивавшая своего возлюбленного. Козы Корпеш! Баян-Слу! Так, по крайней мере, объяснил мне мой возница-казах, и, поведав об этом, он запел песню, в которой звучало тоже самое слово «айналайн». Но когда я спросил, о чем он поет, казах сделал какое-то неопределенное движение рукой, охватывающее и степной горизонт, и небо, в котором сиял молодой месяц, и сказал, что по-русски, да еще так хорошо, как в песне, объяснить никакой человек не может!

Но все же нашелся такой человек, который объяснил мне и значение слова «айналайн», и еще очень многое другое. Это Олжас. Олжас Сулейменов. И, конечно, у меня есть что сказать о нем. Я не сомневаюсь, что о нем, вообще, много напишут, но мне кажется, что, не ограничивая себя рамками обычных предисловий, газетных статей и тому подобным, я могу сказать, что, может быть, далеко не всем еще известно и понятно.

Олжас вдвое моложе меня. Он родился в 1936 году, то-есть в том именно году, когда мы вывели на омское писательское совещание певца из аула Каржас, населенного выходцами из-под Баян-Аула, того самого Баян-Аула, откуда род свой ведут и предки Олжаса. Бунтующие желтые жены, за раскрепощение которых я боролся,— ровесницы бабушкам таких молодых людей, как Олжас. Толмач областного правления — я вспомнил его фамилию, Джантасов,— мог иметь дело с прадедами таких, как Олжас. И обо всех этих вышеперечисленных лицах Олжас мог только слышать или читать в литературных произведениях, в том числе и моих. И нет сомнения, он читал мои произведения. Читал еще подростком, юношей, о чем свидетельствует книга его «Доброе время восхода» с дарственной мне надписью будто и от себя, Олжаса, но в тоже время и от героя моей поэмы — книголюбивого Увенькая.

Конечно, он написал это в шутку. Разумеется, он никакой не Увенькай, а я не полковник Шварц из этой поэмы, а мы оба, как говорится, совершенно самостоятельные явления в литературе и жизни. Так вот, в этой самой книге «Доброе время восхода» я и нашел то, что искал долгие годы. В одном из стихотворений было сказано наконец ясно: «Обращение к доброму человеку — айналайн. «Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод. «Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» — смысловые переводы».

Так наконец я и узнал, что значит это, с юных лет моих кружившееся вокруг меня слово «айналайн». И помню: однажды здесь, в Москве, во время съезда писателей. мы с Олжасом еще и еще раз уточняли значение этого слова, столь загадочно звучавшего на устах возницы моего у башни Баян-Слу и еще более магически зазвучавшего среди Кремля, как будто под перезвон его колоколов. И, глядя на Олжаса, я думал, что, конечно, похож он вовсе не на порожденного моим воображением Увенькая, а если и вообще на кого-то похож, кроме, как на самого себя, то имеет в чертах своих сходство, пожалуй, лишь с самым настоящим Чоканом Валихановым. Да иначе. конечно, и быть не может!

Вот, в сущности, и вся предыстория того предисловия. которое я предпослал к новой книге Олжаса.

Я сказал в этом предисловии о том, что Олжас Сулейменов, казах, советский поэт, известный ныне не только советскому, но и зарубежному читателю, пишет по-русски. Вообще говоря, в том факте, что писатель, принадлежащий к одной национальности, пишет не на своем, а на другом языке, нет ничего сверхъестественного, история знает немало таких примеров. Сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, Антиох Кантемир, стал одним из родоначальников новой русской поэзии. Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженевский сделался мастером английской художественной прозы, приняв имя Джозеф Конрад. Польского же происхождения юноша Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий прославил французскую поэзию под именем Гийома Аполлинера. Но если Конрад стал певцом экваториальных морей, а Аполлинер лишь изредка возвращался мечтами на восток Европы, к прародине, или, скажем, к запорожцам, пишущим письмо турецкому султану, то Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остается поэтом казахским, родным сыном этого прекрасного, гордого народа, исстари сочетавшего свои надежды и чаяния с надеждами и чаяниями народа русского. Явление Олжаса Сулейменова живо воплощает все эти связи — житейские, географические, политические, этические, эстетические.

И — да не прозвучит это парадоксом! — Олжас, щедрый в своих творениях на имена людские, не случайно столь скупо упоминает Чокана Валиханова («Я бываю Чоканом, Конфуцием, Блоком, Тагором!») и Абая («Но

жив Абай, разоблачавший тупость и чванство девятнадцатого века»). Это все потому, что близость к ним он рассматривает как нечто само собой разумеющееся, потому, что фактически он сам является духовным их продолжением! Но есть связи и более далекие и близкие. И, конечно, не случайно Олжас взялся за исследование наличия тюркизмов в «Слове о полку Игореве». И совершенно естественно, что в творчестве Олжаса Сулейменова слышится и перекличка с Хлебниковым (что весьма явствует из «Глиняной книги» Олжаса), и с Маяковским (что ощущается еще чаще), и, наконец, с их молодыми продолжателями...

Так написал я. Но вычеркнул, изъял из предисловия несколько следующих страниц, касающихся не только Олжаса, но и меня самого. Это насчет озер Кургальджино, над которыми зажжено солнце Африки. Я уже говорил об этом в начале по поводу Африки, но дело не в этом, а дело в том, что я и сам с детства знал про этот озерный бассейн Центрального Казахстана, об этих двух соседствующих, разделенных только камышами, степных озерах-морях, Кургальджине и Тенгизе. Кургальджин, считавшийся самым большим пресным озером Акмолинской области (450 кв. верст, глубина до 5 аршинов), почитался орнитологами за самый северный в мире пункт гнездования розовых фламинго. И в юности я не раз порывался на Кургальджин в надежде увидеть фламинго или хотя бы птицу-бабу, как там назывались пеликаны, но мне не посчастливилось, я проезжал поблизости, но все как-то мимо. А вот Олжас, как я узнал из его стихов, действительно побывал там и даже описал, как там был убит гусь, отметив при этом, что «не ударили в телеграммы, ведь потеря не велика: не фламинго, не пеликаны — просто гусь на три килограмма». Но дело даже и не в этом, а дело в том, что в стихах Олжаса Кургальджин превратился в Кургальджино. Эта подробность, этот нюанс заставил меня задуматься о многом. Мы, русские, мы, славяне, приняли в свою поэтическую речь, как это правильно отметил Олжас в исследовании своем о «Слове о полку Игореве», кое-что от тюркского Востока. А вот теперь казахский поэт отметил в своих стихах русское восприятие названия казахского озера. Озеро — значит «оно», не Кургальджин, и Кургальджино!

Видимо, там говорят и так, что и запечатлел чуткий слух поэта, тонко реагирующий на голос времени, полный сближения дружественных наречий, дружелюбных речей и песен, как бы в предвестье тех времен, когда действительно над головами людскими загорится солнце единое для Азии и Европы, Австралии и Африки и обеих Америк! Вот что чувствует он, Олжас Сулейменов, лингвист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт милостью божьей!

А может быть, я слишком идеализирую Олжаса, приписываю ему больше того, что есть? Где доказательства? Чем подтвержу справедливость всех этих своих утверждений? Ну, конечно, только одним: стихами, которые, не требуя предисловий и послесловий, должны говорить за себя сами! Ведь, в самом деле, этот Олжас, еще так недавно, лет десять тому назад, умевший лишь с юношеской непосредственностью наивно воскликнуть: «Ай, какая женщина, руки раскидав, спит под пыльной яблоней, косы на земле!», теперь вот как здорово рассказал мне обо всяких женщинах — и голубоглазых, и голубовласых, и о белой женщине, которая, как негритянка, незаметна в нью-йоркской ночи и сливается цветом молчания с тоской уставшего города, и о женщинах черных и коричневых. Он знает и диких горлиц над аэродромом Орли, и острые ощущения Бухары, и Русь Врубеля — шубы и русское небо, морозы и странные взоры Марусь. Он видел громадную улыбку Волги и алую радугу Ниагары. В его стихах жив облик башенной Тмутаракани в могильниках гиссарской старины, и гудят самосвалы, внося свою лепту в исторический шум, в суету чертежа Мангышлака... Словом, он вольная птица, пассажир реактивных самолетов, много видал и чувствовал, и, вообще, ему хорошо известна вся эта Земля — «в изломах гор, в зигзагах чаек, простая круглая звезда!».

Но так можно процитировать чуть ли не всю его книгу под этим названием «Круглая звезда» и таким образом написать все-таки еще одно, еще более подробное к ней предисловие. А мне хотелось бы не в приподнятом книжном стиле, а попросту, как должно между друзьями, сказать Олжасу:

— Вот ты написал книгу «Круглая звезда». Ну, а если взглянуть на эту простую круглую Звезду, на эту Землю не с самолета, не с небоскреба, не с Эйфелевой

башни, не с бухарского минарета, не с останкинского «Седьмого неба»,— что можно увидеть еще, чтоб, говоря твоими же словами, «возвысить степь, не унижая горы»? И — мне это не кажется, а так оно и есть на самом деле,— мой друг Олжас отвечает:

Смотри,
Памирские седые яки
Уходят на Чукотку по горам.

Так говорит он, как будто бы мы стоим с ним рядом на кручах этих гор, куда я мечтал взойти еще подростком, и смотрим оттуда на степи, в сторону Кургальджина, превратившегося в Кургальджино, в сторону Сибири, где когда-то на базарных площадях снежно-пыльного города Омбы, то есть Омска, я впервые спознался с родичами Олжаса.

Смотри,
Памирские седые яки
Уходят на Чукотку по горам...
...Они, сутулые, прошли Алтаем,
Не торопясь к Саянскому хребту,
О, страсть — не суета, не понимаем,
Как далеко мы ищем красоту.

Это он говорит уже не мне, а некой необыкновенной женщине, чье лицо сияет матово: «Сияет матово лицо в углу!» А снова обращаясь ко мне, он восклицает:

Нет, эта женщина, не из ребра,
Сибирская она — из серебра!

Но если Олжасу при взгляде на прекрасное женское лицо вспоминается библейская, сотворенная из Адамова ребра Ева, и блоковское (помните, то самое: «твое лицо в простой оправе»), то в моем воображении при этих словах Олжаса возникает иной, воплощающий все ту же вечную женственность образ: Айналайн. Айналайн — будь она кареглазой или голубоокой, но она и есть именно та Айналайн, о которой поведать можно лишь в непересказуемой никакими другими словами песне:

Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю.
Я кочую, кружусь по дорогам
твоим...

Аксакал
с Кокчетау

«К Боровому я мчался на паровозе...»

Эта строка из стихотворения, которое до сих пор не закончено, а почему — вы увидите ниже.

Дело в том, что я ехал вовсе не в Боровое, оно не входило в программу моей поездки по новостроящейся железной дороге, так называемой Кокчетавке. Я пробирался из Петропавловска на юг то со служебным, то с товарным составом, то на дрезине с каким-нибудь начальством и наконец затесался на этот паровоз. Но на станции, кажется, это была Щучья, машинист с кочегаром сказали мне, что будет лучше, если я слезу и поеду дальше, куда мне надо, с рабочим поездом поутру. Была ночь. Побродив между бараками и землянками, я решил заночевать на груженной лесом железнодорожной платформе, загнанной в тупик. И, забравшись на бревна, я с их высоты и увидел сквозь неясное мерцание звезд смутный массив синих гор Кокчетау.

«Вот там и есть Боровое!» — подумал я. И, зажмурив глаза, восстановил в воображении не что иное, как книгу с гербом Акмолинской области — мечетью под лежащим на спинке полумесяцем, прикрытым императорской короной,— учебник родиноведения, выпущенный в свет наставником Омской учительской семинарии А. Седельниковым, добросовестный труд, в котором были описаны и вообще красоты Кокчетау, и курорт «Боровое» в частности. Там говорилось о высшей точке Кокчетау — горе Синюхе, отведенной под заповедник, и об отличающихся особой прелестью окрестностях озера Боровое, где имеется санаторий для лечения кумысом и солеными грязями, а поблизости от казачьего селения — мясной консервный завод и школы — молочная и лесная. Все это я вспомнил тогда так же отчетливо, как вспоминаю и сейчас эту страничку учебника с тусклой фотографией, долженствующей изображать красоты озера Борового и Кокчетавских гор. «Конечно, Синие горы наяву, даже издали и даже ночью, в миллион раз величественней, чем на дрянном клише,— подумал я,— но все равно я туда не поеду, мне некогда, я занят проблемами строительства железной дороги в хлебные рыжие степи и на угольную Караганду».

Однако, засыпая на жесткой платформе, я еще раз вспомнил вышеназванный учебник, ибо там говорилось и о том, что на вершинах и на склонах Кокчетау растут особые травы: репка, сушеница и куке-марал. «Было бы неплохо,— подумал я,— подложить добрый сноп этих, вероятно, душистых трав, чтоб было мягче спать на этой платформе». Но данная мысль была мимолетной, трав не было, и я моментально заснул и без них.

И что же я увидел во сне? Вот тут-то и начинается рассказ о волшебстве Кокчетау. Гром и молнии — вот что увидел я. Ужасный, но как бы немой гром и трескучие молнии. То есть я пробудился от этого грома и молнии и понял, что они не где-нибудь, а в моей голове, потому что небо над ней было совершенно ясным, но прохладная полночь сменилась на жаркий полдень, надо мной сияло гудящее, опасное, грозное солнце, и я осознал, что пригрезившиеся мне громы и молнии не что иное, как предвестник солнечного удара, ибо я перегрелся! «И единственное, что меня может спасти,— подумал я,— это, не теряя времени, соскочить с платформы и ринуться в далекие горы, на голубые озера, чтоб там в них освежиться, искупаться, отлежаться на их берегах, забыв хотя бы на час про все остальное».

И несмотря на то что рабочий поезд уже пищал и содрогался на главном пути, как бы призывая меня к исполнению моих корреспондентских обязанностей, я бросился к Синим горам, избрав самый прямой и краткий путь по целине, прежде чем выбраться на дорогу.

Все это было в первой половине двадцатых годов. Теперь, через добрых полвека, я уже не представляю себе, да и тогда, с головой, гудящей от прилива крови, я, видимо, не представлял себе ясно, сколько верст мне надо пройти, и я уже не помню, сколько времени длился этот мой стремительный марш, я не помню, выручали ли меня только мои длинные ноги или я пользовался и какими-нибудь попутными подводами. Все это забылось, а помнятся только уже достигнутые предгорья и затем бальзамическое ощущение какого-то озера, может быть, Щучьего, только не Борового, потому что до Борового с его санаторием я так и не добрался. Но тем не менее я оказался лицом к лицу с Синими горами, с их гранитами, покрытыми зелеными мхами и разноцветными лишайниками, такими же, если не более живописными, чем те, которые

мне впоследствии довелось видеть и на верховьях Иртыша, и на горе Бектауата — Дед-князь гор — в Прибалхашье.

Я вдыхал ароматы озер, гор и бора, я видел кусты малины, боярышника и смородины, про которую думал, что вот она, та самая каменная смородина, о коей поведал в своем учебнике родиновед А. Седельников. Поблизости громоздились массивные красивые камни, и мне казалось, что вдалеке я вижу и все, описанные Седельниковым, удивительные скалы в форме грибов, столбов, столов, конусов, башен и животных, вроде как бы медведей и маралов, тех медведей и маралов, которые, согласно учебнику родиноведения, когда-то водились в Кокчетавском уезде. «Они повывелись,— думал я,— но остались в виде каменных изваяний ваятельницы Природы». Я искал взглядом зверообразные камни, казалось, собравшиеся в горах, чтоб посмотреть на меня, пришельца. То же самое делали, казалось мне, и перешептывающиеся кустарники. Вот что окружало меня. А главное, я купался, плескался в чистейшей воде, исцеляясь таким способом от последствий грозившего мне солнечного удара. Я охлаждался, я прохлаждался, я наслаждался.

Но солнце, загнавшее меня на Синие горы, тем временем пошло уже к закату, и надо было собираться в обратный путь. И когда я нехотя оделся и обулся и пошел восвояси, то вдруг услыхал за спиною своей рокотание, похожее на рычание, добродушное, но грозное. И, обернувшись, я увидел, что над горной вершиной, вероятно Синюхой, творится целая фантасмагория.

Над этой вершиной, показавшейся мне сперва похожей на казахскую девочку,— в пышной лисьей шапке пронизанных солнечными лучами облаков, а потом, с переменой освещения, на казахскую невесту, в коническом головном уборе с отделкой из серебра, жемчуга и кораллов,— над этой вершиной сформировалась гроза!

Гроза не грозная, не грузная, не тяжелая, а, можно сказать, солнцеобразная и веселая, словом, цветная, разноцветная летняя грозочка, рокотом которой и провожали меня Кокчетау, может быть, даже и не довольные, что я ухожу.

Вот, собственно, и все, что я увидел и почувствовал в окрестностях Борового, того самого Борового, на которое я так и не попал ни тогда, ни позже. Поэтому-то у меня

и не выходят стихи о Боровом, ибо я не видел, ни каким оно было, ни каким стало.

Конечно, в общем я знаю, каким оно стало. Не так давно, когда как раз я почему-то вспомнил о Боровом, незамедлительно и случилось небольшое, подходящее к случаю волшебство — на ловца и зверь бежит: в книжном магазине, у нас на Юго-Западе Москвы, поблизости от проспекта Вернадского, мне прямо в руки прыгнула с полки новая книга — «Казахстан», серии «Советский Союз», вышедшая в издательстве «Мысль». Из этого прекрасного издания я уяснил себе, что как раз в тех местах, где я бежал в горы, спрыгнув поутру с железнодорожной платформы, то есть в тех краях, между железнодорожной станцией и предгорьями Кокчетау, вырос Щучинск — административный центр большого земледельческо-животноводческого района, но в то же время и курортный город, встречающий путников новым вокзалом, зеленью тополей, комфортабельными автобусами с названиями санаториев и домов отдыха — «Бармашино», «Щучинский», «Воробьевка», «Боровое». Нетрудно представить, куда везут пассажиров эти автобусы: к голубым озерам, к подножиям горных вершин, вроде Окжетпес, что в переводе с казахского значит: «Стрела не достанет»,— туда, где есть скала, напоминающая спящего слона, или к роще танцующих березок — бывшему заповеднику, преображенному в лесо-охотничье хозяйство «Золотой бор» и пополненному теперь разным новым зверьем вроде семипалатинской белки и взамен истребленных когда-то местных маралов маралами с Алтая.

И, прочтя в новой книге обо всем этом и о многом еще другом, я вместе с радостью ощутил и неудовлетворение. Это чувство возникло при чтении текста, а окончательно оформилось при виде иллюстраций. «Чего здесь не хватает?» — подумал я, читая. Как будто бы тут есть обо всем, хоть и понемногу,— и о природных богатствах, и о промышленности, и о культуре и искусстве Казахстана. и, само собой, о замечательных людях этой многонациональной, многоликой Казахской республики. И вот тут-то, приглядываясь к уже воплощенным в гранит величественным старцам, таким, как Абай и Джамбул, я понял, о каком аксакале не поведали, не упомянули составители этой прекрасной книги о Казахстане, несмотря на то что

это, безусловно, следовало бы сделать, и именно в разделе о Боровом.

Они, этот синклит премудрых книжников (я подсчитал: редакционная коллегия состоит более чем из тридцати человек), забыли упомянуть об аксакале Вернадском!

Написав эту последнюю фразу, я невольно подымаю перо как бы для самозащиты, самообороны, но отнюдь не для самооправдания. Нет, я прав, делая им этот упрек. Я представляю себе их негодующие взоры, но если эти товарищи могли бы попытаться сделать мне возражение, то лишь одно: почему я не перечисляю всех научных званий Владимира Ивановича Вернадского, а называю его просто аксакалом. Но кем же, как не аксакалом, то есть почтенными седобородым старцем, был для Кокчетавских гор этот мудрый восьмидесятилетний человек, появившийся в Боровом в годы Великой Отечественной войны!

К сожалению, я не знаю, как именно Вернадский попал туда, на Боровое, на Синие горы, на эту кокчетавскую глыбу, в эту казахстанскую Швейцарию.

Может быть, тут сыграл роль сибирский друг, поэт, омский профессор Петр Людовикович Драверт, старый сотрудник Вернадского в его трудах по постижению тайн космоса, искатель метеоритов и ловец космической пыли, мудрый объяснитель явления так называемой космической мглы на Ямале в 1938 году. Петр Людовикович, неутомимый исследователь Зауралья, хорошо знал и Боровое: он подготовил к двадцатилетию Казахстана очень интересный сборник о Боровом, о чем, кстати, тоже не упомянуто в той книге о Казахстане. Поселившись вместе с некоторыми другими учеными в Боровом, Вернадский там, в горах Кокчетау, сумел осуществить свой капитальный труд, тот главный свой труд, который не удавалось ему завершить в более молодые годы, в мирной и спокойной обстановке. Впрочем, о какой спокойной обстановке могла идти речь! Позднее редактор издания этого труда В. И. Баранов засвидетельствовал в предисловии, что 17 сентября 1937 года, после того как семидесятичетырехлетнего Вернадского поразил легкий удар и ученому пришлось долго пролежать в постели, он писал: «Ирония судьбы: ведь именно сейчас мне пришла в голову дерзкая мысль написать главную книгу моей жизни, и я ее начал». Вот эту-то

начатую в 1937 году книгу жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» и продолжал писать с удивительной, неожиданной, невероятной энергией восьмидесятилетний Вернадский, попав туда, в великолепный горный оазис среди казахских степей.

Теперь пришли времена, когда эта увлекательнейшая, вдохновенная, я бы сказал, книга, написанная в горах Кокчетау в дни войны, а изданная, кстати сказать, лишь в 1965 году, стала наконец достоянием читательским. Любой и каждый, коль захочет, может прочесть эту книгу о Земле как планете в солнечной системе и Млечном Пути, о планетарной роли живого вещества — не только живого существа, но и всего живого вещества, и о ведущей роли человека как создателя ноосферы, то есть той спасительной сферы разума, которую может и должен создать человек, и только человек, и только установив новые, истинно человеческие отношения с природой. Вернадский — тот мыслитель, упоминание о котором нынче встречается на каждом шагу. Именем Вернадского называется не только проспект на Юго-Западе Москвы, в том новом районе столицы, который планировал на новых, разумных началах сам Владимир Иванович Вернадский, заботясь о том, чтоб новым поколениям было чем дышать. Любознательные могут заглянуть в Институт имени Вернадского и посмотреть, что там есть. Ведь чуть ли не во всех новейших трудах по геологии, минералогии и в таких новых науках, как экология, геогигиена и тому подобные, не обходятся без той или иной ссылки на Вернадского.

Идеи Вернадского оказались глубоко современными и нужными для всего человечества. Он зорко глядел в грядущее.

«В буре и грозе родится ноосфера и с ней — новая эра в жизни человечества, когда главной силой становится разум человека, направленный на всеобщее благо» — так, уверенный в нашей победе над фашизмом, пытавшимся повернуть историю вспять и изнасиловать природу человеческую, писал в годы войны Вернадский из Борового в записке президенту Академии наук Комарову.

И теперь, перечитывая наряду с трудами Вернадского воспоминания о нем и его письма, я все больше и больше прихожу к убеждению вот в чем: я уверен, что великому геохимику Вернадскому в создании его книги жизни, этой

книги о высях и недрах помогали не только его соратники и сотрудники — люди, но и сама Природа в лице Синих гор Кокчетау.

Они-то уж, эти горы, несомненно, имеют память более долгую, чем человеческая. Они, не забывшие Чокана Валиханова и Валериана Куйбышева, я думаю, не забыли и сибирских гостей, сперва Седельникова, а затем Драверта. Так могут ли забыть они и Вернадского? Нет, не могут! И я уверен, что в горных музеях и школах жива самая добрая память о нем. И если спросить у Синих гор: «Чем знаменито Боровое, зимой сибирски-меховое под белоснежной пеленой, живоцветущее весной, своею горной тишиной смиряющее летний зной, огнистый, среднеазиатский?» — то эти горы ответят приблизительно так: «Тем знаменито Боровое, что там во время буревое, закинутый туда войной, жил мудрый аксакал Вернадский!»

Вот что на правах стихотворца могу сказать про эти горы я, неисправимый антропоморфист, приписывающий людские свойства явлениям природы. Более того, я полагаю, что Вернадскому помогло в его труде само благосклонное казахстанское солнце, то самое солнце, которое когда-то и меня, юнца, побудило спрыгнуть с железнодорожной платформы, чтоб ринуться навстречу голубым глазам горных озер.

Как давно это было! Я тогда был все же довольно необразованным молодым человеком и знать ничего не знал о геохимике Вернадском. Я, ныне не ставший аксакалом, главным образом лишь потому, что бреюсь электрической бритвой, был тогда очень еще и очень молод во всех отношениях. А, скажем, поэта Олжаса Сулейменова или писателя-психолога и фантаста Шокана Алимбаева еще и вовсе не было на свете, а большинство казахов носило головные уборы, которые мы называли малахаями, а казахские девушки носили еще, как во времена краеведа Седельникова, зимой и летом шапки, а костюм казахских мальчиков был похож на девичий.

Повесть об Александре Гинче

Теперь довольно часто вспоминают об Александре Грине, но все больше на один лад: бригантина, алые паруса, корабли в Лиссе, романтика, вымышленные города и страны. И если одно время это говорилось как бы в осуждение, то теперь, когда повсюду клубы туристов и то и дело объявляют новый и новый набор на курсы гитаристов, наоборот, все это — предмет слащавых восторгов под треньканье туристских гитар.

И я, конечно, понимаю, что это не зря: видя и слыша, как тренькают на гитарах туристы, я вспоминаю, как тренькали на гитарах семинаристы, канцеляристы, телеграфисты и военные писаря, а я из чувства протеста насвистывал на черной, похожей не столько на гусенка, сколько на вороненый браунинг окарине. Да, именно окарина была у меня во дни становления Грина, когда, убегая от опостылевшей ему повседневности, он бросал якоря в экзотические моря.

Но это вовсе не значит, что он был вне той повседневной действительности, которая его породила. И надо, думаю я теперь, наконец разобраться во всех противоречиях, во всей диалектике личности и творчества Грина. Ибо я уверен, что если отказаться от практики переизданий одних и тех же произведений Грина и наконец издать полное собрание его сочинений, то всем станет ясно, что Грин был не только прекрасным романтиком, но одним из блестящих критических реалистов и — при всем том — писателем русским до мозга костей!

Итак, попытаюсь рассказать по порядку все, что я знаю о нем. А впервой я узнал о нем еще во дни своего отрочества, именно тогда, когда бешеным свистом окарины в весенних сумерках нарушал сладостность гитарных серенад.

«...Эй, двуногое мясо, не угодно ли полпорции правды!»

Это, кажется, первое, что я у него прочел. Как сейчас вижу его озабоченное продолговатое лицо, буднично глядящее на меня со страницы «Синего журнала». Кажется, Грин давал интервью, и смысл высказываний сводился к тому, что ему, Грину, живется нелегко, приходится размениваться по мелочам и работать зачастую не по вдохновению, а из-за денег.

Вот что было мне известно к тому времени, когда в руки мои попала его белая, изданная издательством «Прометей» книга «Штурман «Четырех ветров». И помню, что когда я взялся за рассказ под этим названием, то он мне показался скучноватым и риторическим. «Может быть, вот так и пишется из-за денег»,— подумал я и, нетерпеливо бросив эту книгу, стал искать какую-нибудь другую «полпорцию правды». С надеждой я взялся за рассказ под прелестным названием: «Синий каскад Теллури», но и он пришелся мне либо не по вкусу, либо не по разуму: как-никак, а я был еще в достаточной степени молод. Но и несколько позднее, хотя прекрасный образ героя «Пролива бурь», наивного юнги Аяна, и дошел до моего сердца, все-таки все это казалось мне менее интересным, чем Джек Лондон, потому что у Лондона, думал я, все — чистая правда, а у Грина — выдумка. Все эти Лиссы, Зурбаганы, капитаны Пэды и юнги Аяны не выдерживают сравнения с доподлинными Сан-Франциско, Клондайками, Гавайскими островами, с доподлинными героями, будь то пират Дрейк или сам юный Джек Лондон в роли устричного пирата.

Достоверности, то есть этой, именно этой самой обещанной «полпорции правды» — вот чего мне не хватало у Грина. В те дни, о которых я говорю, я переживал, можно сказать, увлечение литературой факта — увлечение, как это выяснилось впоследствии, пагубное для взрослых, но, видимо, натуральное для детей. Все это мне нелегко толково объяснить, я не профессор психологии,— скажу лишь, что, видимо, и к постижению поэзии я подходил именно таким прагматическим путем. Конечно, и в поэзии меня привлекала прежде всего достоверность, конкретность, разговор от первого лица, от собственного имени. Еще много раньше, чем я сделал первые попытки писать стихи, мне как бы хотелось заранее ощутить, что это такое — быть поэтом. С Маяковским было просто, ибо он писал о том, что я видел, ощущал сам. Довольно несложно было с Рембо — мое мальчишество объединяло меня с его отрочеством... Труднее было с Вийоном, о величии которого я догадывался, еще не зная его стихов, но прочитав о его горестной жизни не то сперва у Стивенсона, не то в каких-то журнальных статейках. И помню только, как, еще не в силах разобраться в достоинствах «Баллады о дамах былых времен», я, для того чтоб конкретизировать

образ Вийона, перерисовал портрет поэта из хрестоматийного приложения к самоучителю «Благо» в свою гимназическую тетрадь для рисования. Я делал эту акварель в самых мрачных красках. И учитель рисования и чистописания Куртуков, заглянув на уроке в мою тетрадь, спросил с отвращением:

— Что это ты за декадента рисуешь?

Словечко «декадент» было тогда, в первом десятилетии нашего века, в большом ходу в среде провинциальной разночинной интеллигенции, в которой я рос. Наряду с обличением футуристов и, конечно, гораздо чаще, слышал я речи и даже споры о декадентских картинах, декадентских театральных представлениях, декадентских модах, декадентских танцах, декадентской музыке, декадентской литературе и даже декадентской архитектуре и декадентском поведении. И я давно уже и сам старался разобраться во всем этом. Но если я довольно ясно понимал, что декадентскими картинами считаются те или иные слишком яркие, необычайные, бросающиеся в глаза картины, скажем, Врубеля, или Чурлёниса, или Серова, и что декадентами, по мнению некоторых, считаются все поэты позднее Некрасова и Надсона, то есть Фофанов, Минский, Мережковский, Блок, Брюсов, Белый, Сологуб и так далее; если я понимал, таким образом, что подразумевается под декадентскими произведениями, то я решительно не мог понять, что почитается за декадентское поведение. Я спрашивал об этом у старших, но мне отвечали, что я еще мал, чтоб об этом разуметь, и разберусь в этом позднее. И, не желая ждать, я по мере своих еще не зрелых умственных сил искал ответа на этот вопрос опять-таки в книгах. Я слышал — товарищи брата, старшеклассники, упоминали в этом смысле какого-то Макса Нордау. Но, заглянув в книгу Нордау «Вырождение», я толком в ней ничего не понял, ибо там поносились не только какие-то французы, но и уважаемый в нашей семье Лев Толстой. Тогда я взялся за книги критиков Айхенвальда, Венгерова, Овсянико-Куликовского и даже за Корнея Чуковского. Но, найдя у последнего много живо-интересного, забавного, обличительного, похвального и ругательного о разных знакомых мне и не знакомых еще современных писателях, я даже из увлекательных и толковых разъяснений Корнея Чуковского все-таки не уяснил: что же такое декадентство в целом?

Я метнулся в беллетристику, о которой прочел у Корнея Ивановича, да и не только у него. Из «Навьих чар» Сологуба я уяснил, что некий Триродов, превратив каких-то бледных мальчиков в призмочки, улетел из России на летательном аппарате, подобном, как я бы сказал теперь, летающим блюдцам грядущих времен. В «Земной оси» Брюсова я прочел о подвале пыток, таком же мне тогда непонятном, как китайский сад пыток из книги Октава Мирбо, которая между прочим тоже была прочитана мной. В книжке Анны Мар я прочел о мазохистке, а из романа Сергеева-Ценского «Поручик Бабаев» узнал о том, как одинокий тоскующий офицер от пьянства и игры в кукушку дошел до некрофилии. Все это было для меня весьма любопытно, но все-таки все эти жуткие мужские и женские образы не казались мне особенно жизненными и как-то не объединялись для меня в единый и монолитный образ декадентства.

Впрочем, однажды мне показалось, что я нашел такую книгу, из которой узнаю о декадентстве все досконально. Это были «Восьмидесятники» — один из романов-хроник Амфитеатрова, в котором описывался заядлый русский декадент Арсеньев. Но, увы, и дотошный, благонамеренный Амфитеатров оказался неспособным разъяснить моему разуму суть вещей — фельетонный стиль повествования мне вскоре наскучил, и я, не дочитав, бросил «Восьмидесятников», предпочтя им хитро написанный псевдооккультный, а на самом деле — трезво-рационалистический роман того же автора «Жар-Цвет», повествующий о всяческих болезненных состояниях души человеческой. Однако это повествование, сперва как будто замешанное на дрожжах любопытной для меня действительности — московской, неаполитанской, прибалтийской,— как бы утонуло в легендах, поверьях, сказках европейских, азиатских и африканских. Эта книга обогатила меня знанием мирового фольклора, но все же не прояснила мне суть отечественного декаданса.

Но вот тут-то мне наконец и попалось на глаза то, что я искал.

Это были снова произведения Александра Грина «Дьявол Оранжевых Вод» и «Приключения Гинча».

Я не пытаюсь пересказать эти неповторимые произведения. Кто их не знает, да прочтет. Скажу только, что мне сразу же стало ясно, что «Дьявол Оранжевых Вод», этот

усталый скептический дьявол по фамилии Баранов, злой долговолосый дух в широкополой шляпе и в крылатке, дух разочарования, искушающий на самоубийство,— это и есть он, дух декаданса. Старый, видавший виды, прагматический дядя рассказывает своему племяннику, этому будто бы пресыщенному жизнью юноше, бездельнику и обормоту, о том, как в молодости, едучи зайцем на пароходе, он был ссажен вместе с другим зайцем, этим самым Барановым, на пустынный тропический берег, как он помог этому Баранову, поддержал его; на украденной дрезине, а потом на плоту по реке довез его до города, куда они стремились, а этот тип, почти на виду у цели, вдруг заныл: «А к чему мы стремимся? К новым лишениям и бедам! Давайте лучше застрелимся последними револьверными пулями, а если не хотите стреляться сами, так застрелите меня!» И как утонул в оранжевых водах этот дьявол, который все-таки искусительно улыбался, маня за собой.

Вот это и есть дух декаданса, тот самый, который, переиначивая гётевского Вертера и нашего доброго Тютчева, являлся в образе демона самоубийства Валерию Брюсову в Москве, а затем в образе унылых чудаков таскался и по пыльному Омску, нашептывая зеленым юнцам о суете сует бытия. Так понимаю я образ гриновского «Дьявола Оранжевых Вод» и поныне. Но тогда, когда я глазами мальчишки прочел «Дьявола Оранжевых Вод» в первый раз я, конечно, мыслил не столь премудро, не делал обобщений и экскурсов в историю литературы, а просто нутром понял, что такое в сущности своей декадентство. Декадентство — это духовная немощь, дух скепсиса, вызванный бессилием,— бессилие, которое невольно или намеренно выдается за нежелание бороться и побеждать.

Но, поняв это, я понял и другое,— что наряду с настоящими декадентами есть и такие люди, которые только корчат из себя декадента; но, корча его из себя, даже и входят в эту роль, заражаются этой духовной немощью. И это я уяснил не столько из наблюдений, скажем, за некоторыми сверстниками моего старшего брата, сколько из повести того же самого Александра Грина «Приключения Гинча», в которой живописались похождения некоего петроградского неврастеника не неврастеника, чудака не чудака, попадавшего во всяческие трагикомические ситуации. Я не помню подробностей, книга у меня не сохрани-

лась, но как будто бы до сих пор мне слышится озабоченный голос повествователя: «Вот видишь, до чего доводит дурной пример, расхлыстанность, нравственная неустойчивость! Смотри не будь таким! Не мечись, не выпендривайся, ты, презирающий писарей-гитаристов, владетель окарины, сам галчонок, похожий на браунинг!»

Вот какую порцию правды — не вселенски-фантастической, а самой доподлинно-реалистической, гротескной русской правды — выдал мне однажды добрый старый Александр Степанович Гриневский, для читателей — А. Грин. Повторяю: жаль, что до сих пор не переизданы «Приключения Гинча», как и некоторые другие русские, именно русские произведения Грина, отнюдь не худшее, а, по-моему, лучшее из того, что он написал. Будь я издателем, я обязательно бы выпустил полное собрание сочинений Грина. Но я не издательство...

И дело было так.

Это случилось уже после революции, в двадцатые годы. Превратившись из мальчишки в молодого человека, прочтя уже гриновских «Крысолова» и «Алые паруса», я работал внештатным, но весьма активным сотрудником в небольшой, но славной газетке «Сибирский водник», редакция которой, ютясь близ пассажирских пристаней у Железного моста над Омью, готова была лопнуть от обилия корреспонденций, поступавших чуть ли не со всего Обь-Иртышского речного бассейна. И многие из этих корреспонденций дышали, я бы сказал, некоей супергриновской экзотикой, угрюмой жизнерадостностью, его добрым и чуть-чуть язвительным юмором. Помню, например, сообщение с пароходика, ходившего по озеру Зайсан и Черному Иртышу, о том, что белогвардейцы, сбегающие из Китая, въезжают обратно в Советскую Россию верхом на бревнах вплавь по Черному Иртышу, и надо бы сначала узнать, действительно раскаялись они или нет. И сколько еще других неповторимых и эпохальных писем проходило через наши руки!

Но, кроме писем, в газетке печатались и другие материалы: статьи, хроника, даже стихи. Передовицы, как водится, писал наш добрый редактор Смородинников, стихи — я, а прочее мы собирали с одним из репортеров. Это был низенький, неопрятный человечек в кепке блином. Вообще наличие этого бездарного хроникера объяснялось

лишь добросердечием редактора, полагавшего, что надо привлекать интеллигентов к труду, но не умевшего разобраться в этом понятии. И вот однажды Смородинников сказал:

— Образуйте бригаду! Идите вдвоем в затон за материалами на целую полосу! —И, посмотрев на меня, добавил: — Да придумай по пути себе еще один-другой псевдоним, поскольку вы — бригада! Понял?

— Конечно, понял! — ответил я. И весь путь до затона — в общей сложности километров семь, а шли мы пешком,— я придумывал себе псевдоним, да такой, чтобы он был не хуже уже существующего моего псевдонима — Эльм, в котором, как мне казалось, мои инициалы сливались с огнями Святого Эльма над мачтою корабля. Но сколько я ни придумывал, ничего не придумывалось, я шел, погруженный в размышления, а мой напарник сиротливо и обиженно поспешал за мной следом.

В затоне он устало застрял в конторе, домогаясь каких-то цифр, а я тем временем делал свое дело, перескакивая с палубы на палубу, с причала на причал и добывая те сведения, которые считал нужными. Вернувшись в контору, я не застал там своего спутника; мне сказали, что он уплелся за ворота, к пивному ларьку. Там я его и нашел.

— Выпьем еще пивка! — сказал он, что мы и сделали.

Затем мы отправились в обратный путь через Загородную рощу. И тут мой спутник, неожиданно свернув с дороги в заросшую кустарником канаву, залег в ней.

— Отдохнем! — сказал он.

Я присел рядом.

— Я давно к тебе приглядываюсь,— заявил он.— Ты хороший парень, с тобой можно говорить откровенно!

И затем он стал довольно путано толковать о том, что в этой серой жизни, на которую обречены теперь тонкие натуры, есть все-таки и высшие если не радости, то утешения, и вот, например, он, от всяких огорчений и превратностей впавший в алкоголизм, нашел способ лечиться от алкоголя алкалоидами. И вслед за тем он вынул из кармана облатку.

— Вот, попробуй! — сказал он, блеснув глазами.— Узнаешь сам, что это за волшебное снадобье. Это лучше алкоголя, лучше любви!

И тут, почувствовав острую неприязнь к этому человечку, вздумавшему вовлечь меня в свои гнусности, я внезапно понял, какой псевдоним изберу я себе.

Если этот жалкий тип глядит на меня из глубины придорожной канавы, как гриновский дьявол из глубины оранжевых вод, то пусть он и будет Баранов, а я подпишусь тоже именем гриновского, но другого героя: Александр Гинч! Это прозвучит иронически, но звучно!

И не глядя на декадента, я ринулся в редакцию.

Так на страницах «Сибирского водника» начал печататься не кто иной, как гриновский Александр Гинч. Появление этого Гинча никого особенно не удивило.

— Ага! — сказал редактор Смородинников, который, видимо, не читал Грина.— Псевдоним ничего себе, подходящий, правда, не особенно индустриальный: похоже на дичь или, знаешь, как это в парусном флоте, на гик! Ну да ладно, потом придумаешь что-нибудь еще.

Но я не торопился придумывать новые и подписал этим псевдонимом немалое множество заметок, фельетонов и даже стихов...

Не обратили внимания на значительность и, как мне казалось, даже многозначительность этого псевдонима и сотрудники московской газеты «Водный транспорт» и приложения к ней — журнальчика «На вахте», где я через год-другой напечатал несколько стихотворений под тем же псевдонимом «Александр Гинч». Я хорошо помню свинцовые, холодноватые, пушечно-дулообразные коридоры бывшего Екатерининского воспитательного дома на Солянке, где под эгидой ЦК профсоюзов процветали всевозможные редакции и редакцийки газет и журнальчиков. И так же хорошо помню чувство почти мистического восторга, охватившего меня, когда я увидел в свежем номере литературного приложения свой стих, стих Александра Гинча, подверстанный прямо под очерком самого Александра Грина. «Что-то скажет Грин, увидев такое чудо?» — подумал я. Я так и не знаю, обратил ли Грин внимание на этот факт. Помнится, когда я рассказал товарищам о таком приятном для меня совпадении, они предлагали познакомить меня с Грином, но я отказался: а вдруг Грину не понравятся ни мой псевдоним, ни мои стихи: «Загремела и смолкла лебедка, якорь тяжкий подняв со дна, винт работает ровно и четко, за кормою встает волна» и т. д. Вдруг он скажет: «Фи, молодой человек!» — «Нет! Пусть уж луч-

ше ничто не нарушит моей с детства укрепившейся любви к Александру Грину!» — решил я. Зачем подвергать свои добрые чувства опасности охлаждения? Я слышал, что мой вдохновитель, мудрец, научивший меня понимать, что такое декаданс, как в его трагических, так и комических проявлениях, этот замечательный писатель обладает неважным характером и бывает неспокоен, особенно во хмелю.

То же самое, кстати, подтвердила впоследствии и Мария Степановна Волошина. Она рассказала нам, что, при всем своем уважении к Александру Степановичу, она не любила, когда он являлся из Старого Крыма к ним в Коктебель и барабанил в двери приморского дома. «Он так волновал и раздражал Максиньку!» — говорила она.

Может быть, об этом последнем факте и не следовало бы упоминать, но любовь моя и уважение к Грину настолько велики, что я считаю необходимым вспомнить все о нем мне известное, то есть я хочу выдать по возможности не только полпорции, но целиком всю порцию правды, тем более что эти строки обращены не к «двуногому мясу», а к просвещенному читателю наших и грядущих дней. И напоследок повторю еще и еще раз, что Грина знают еще далеко не целиком, представляя его все еще как-то односторонне, зачастую сусально-романтически, в отрыве от действительности, которой он уделял весьма и весьма большое внимание.

И в силу этих причин:

Как на духу, на совесть,
Я излагаю нынче
Повесть
Об Александре Гинче.

Американец Бойко

В этих воспоминаниях я рассказываю о людях либо более или менее известных, либо о людях, которых знаю, вероятно, только я сам. Однако в данном случае мне хочется рассказать о человеке, про которого я, в сущности, почти ничего не знаю и, как я полагаю, вообще очень мало известном. Во всяком случае, у кого бы я потом о нем ни спрашивал, никто и ничего мне не мог о нем

поведать. Не нашел я о нем и никаких упоминаний в печати.

Словом, речь идет об американце Бойко.

Дело было в двадцатых годах в Омске, в бывшей синагоге, на углу Почтовой и бывшей Кагальной улиц. Там было нечто вроде сцены, с которой мы и читали стихи и рассказы. В тот вечер, о котором идет речь, зрительный зал был довольно полон, и я, прочитав одно из своих нахальных стихотворений, даже и не понял, что это за пожилой, одетый в брезентовый дождевик человек задает в мой адрес иронический вопрос:

— А можно спросить, сколько автору лет?

— Четырнадцать! — ответил я не менее язвительно, хотя на самом деле мне шел шестнадцатый год.

Тем бы дело и кончилось, если бы через некоторое время, когда я уже сошел с эстрады, на ней не появился бы этот человек в дождевике. И я услышал, как председательствующий объявляет, что сейчас желает выступить бывший политический эмигрант, проездом из Америки, поэт Бойко со своими стихами.

Это были стихи как стихи, столь же гладкие, сколь и банальные, показавшиеся мне дилетантской лирикой, которая пишется любителями во все времена. Я бы вообще не обратил на это выступление никакого внимания, но вспомнив ехидство этого человека, я решил ему отомстить.

— А можно спросить, сколько автору лет? — крикнул я с места.

Присутствовавшие рассмеялись, американец же, ничего не ответив, величественно сошел с эстрады.

Но когда собрание вскоре закончилось, я увидел, что американец Бойко, скинувший свой брезентовый дождевик, стоит в дверях, явно меня поджидая.

— Бокс! — закричал он мне, засучивая рукава.— Я вызываю вас па бокс!

— Вызов принимаю,— закричал я в ответ. И ринулся ему навстречу.

Но тут нас разняли. Разнимали разные лица. Помнится мне омраченное лицо Александра Павловича Оленича-Гнененко, озадаченное лицо бывшего чапаевца, в те времена представителя издательства «Советская Сибирь» — Ренца, озабоченное лицо опытного скандалиста Антона Семеновича Сорокина, соображающего, как лучше продолжить скандал без драки. Словом, нас развели, и американец

Бойко, оглядываясь на меня и потрясая кулаками, скрылся за углом Почтовой улицы. И я бы не вспомнил об этом, если бы не другой инцидент, происшедший несколько лет позже, уже в Новосибирске.

Там устроили то ли совещание, то ли съезд литераторский. В число делегатов со всей Сибири попал и я. Мы жили в общежитии, а заседали не помню где. Именно тогда Вивиан Итин и произнес речь и напечатал статью, в которых я сопоставлялся по ряду причин с Джеком Лондоном. Это обстоятельство и вызвало гнев Ильи Мухачева, тогда еще, кажется, присутствовавшего на совещании в качестве делегата от далекого Бийска. Мухачев был еще очень молод и чувствовал себя еще вполне крестьянином, сибирским крестьянским, до мозга костей поэтом. Мы с Сережей Марковым, естественно, казались ему слишком городскими, лишенными кондовых сибирских свойств. Да тут еще Вивиан со своими рассуждениями о Джеке Лондоне. И кондовый сибиряк Мухачев освирепел.

— Ленька! — сказал мне Сергей.— Надо быть начеку. Мухачев напился и бунтует в общежитии. Кричит: «Пойдем бить американцев», то есть нас с тобой. И, сказав это, Сергей убежал по своим делам, он работал хроникером в газете. И я пошел укрощать Мухачева.

— Какие мы американцы, что ты врешь? — сказал я ему.— Да знаешь ли ты, что у меня случилось с американцем?

И я рассказал ему и о том, что произошло в Омске несколько лет назад.

Помню, как хмельной Мухачев, сидя на койке в общежитии, слушал и с любопытством разглядывал меня.

— Значит, он: сколько тебе лет, а ты ему: сколько ему лет, он тебя на бокс, а ты его на кулачки,— наконец сказал Мухачев.

— Нет! Он меня на бокс, и я его на бокс.

— Да нет же, он тебя на бокс, а ты его по-нашему, на кулачки,— нахмурившись, возразил Мухачев и, решив так, сказал уже радостно: — Ну ладно, пойдем выпьем, что ли?

Насколько я помню, так мы и сделали. И хотя большой дружбы у нас с Мухачевым не получилось, но вражда исчезла благодаря этому самому безумному американцу Бойко, появившемуся на моем горизонте бог весть откуда и исчезнувшему без возврата за углом Почтовой улицы старого Омска.

Сад Комиссарова

Оглядываясь на двадцатые годы, хочу написать и кое-что о профсоюзах, точнее, о том, как я однажды ощутил, осознал себя членом профессионального союза печатников. Надо сказать, что сперва я мало задумывался об этом вопросе, вопросе о профсоюзах. С юных лет околачиваясь в редакциях, печатая в газетах стихи, библиографические заметки и поставляя происшествия, я никак не соприкасался с проблемами профсоюзного движения до тех пор, пока однажды один из месткомовцев не сказал мне, что давно уж пора вступить в союз печатников. И после каких-то несложных процедур мне была выдана серая книжка и были взяты с меня соответствующие взносы. Мне что-то не помнится, чтоб я, внештатный сотрудник, репортер, которого ноги кормят, присутствовал хоть на одном собрании. Помню только, что иногда сталкивался с записавшим меня в профсоюз товарищем в типографии, куда порой заходил по той или иной надобности — или в корректорскую, или в печатный цех, чтоб получить прямо из-под машины свежий номер газеты. Этими случайными встречами с профуполномоченным и ограничивалась моя принадлежность к профсоюзу.

Но однажды то ли через горземотдел, то ли по другим каналам информации в редакцию поступили сведения о неблагополучии в коллективном хозяйстве станицы Усть-Заостровской. Я, признаюсь, забыл, в каком точно году это было и как называлось в эти дни объединение бывших казаков данной бывшей станицы. Помню только, что оно находилось южнее Омска на иртышском берегу в сторону Черлака. Я мог бы, конечно, взяться за старые карты и справочники и уточнить, но не делаю этого потому, что это не имеет прямого отношения к нашему повествованию. А то, что имеет отношение к нему, я достаточно ясно помню и так. Именно: когда в редакции мне предложили съездить туда разобраться, в чем спор, и написать об этом очерк, я сначала хотел отказаться, ссылаясь на слабую свою осведомленность в сельском хозяйстве. Но меня соблазнило одно воспоминание Антона Сорокина. Когда я ему рассказал, что меня просят съездить в Усть-Заостровскую, он сказал:

— А! В сад Комиссарова! Очень интересно!

И Сорокин поведал мне, что около этой станицы раскинут необыкновенный сад. Его развел еще в начале века некто Комиссаров, большой чудак, крестьянин-переселенец из Центральной России, решивший победить суровый сибирский климат. Он сам, по словам Сорокина, противоборствуя с климатом, приучил себя ходить босиком по снегу и, исходя из собственного опыта, решил приучить к азиатским морозам и нежные южные цветы, кусты и плодовые деревья. Для этого он якобы употребил самые разные средства защиты деревьев от ветров, особую подкормку почвы, отепление сада кострами во время поздних весенних или ранних осенних заморозков. Приплясывая по снегу босиком, он будто бы утверждал, что вырастит за Уралом и пальмы! Вот о чем, восторженно поблескивая своим чеховским пенсне, поведал мне любитель всего экстравагантного Антон Сорокин.

Не буду рассказывать подробно о том, как я добрался до станицы Усть-Заостровской... Замечу только, что с левого берега Иртыша на противоположный, где и было это поселение, я переправлялся на тоболке, небольшой лодчонке. Там сновали какие-то мальчишки, одному из которых — постарше — я и поведал о том, что я корреспондент из газеты, а другой, услышав про это, кинулся со всех ног в станицу, опережая меня. Я же, поблагодарив перевозчика, тоже пошел в станицу не то что медленно, но степенно, обдумывая, с чего я начну разговор со станичниками.

Между тем закат за Иртышом уже отпылал, сгущались сумерки, и, выйдя плетеными переулочками на широкую улицу, я не сразу определил, где Совет, где правление артели (или коммуны). Около одной избы, озаренной изнутри керосиновой лампой, я заметил много людей. При моем приближении двое из них направились навстречу мне, но третий, наоборот, быстро двинулся в обратном направлении, как бы убегая от меня. Идущие мне навстречу оказались председателем и агрономом. Они, предупрежденные мальчишкой, знали уже, кто я есть, и повели в избу, багровую от керосиновой лампы. Некоторое время, впрочем, недолго, все шло как полагается,— мне предложили сесть за стол, спросили, как я доехал, надолго ли, затем обменялись меж собой соображениями, где меня устроить заночевать, но я прервал все эти церемонии не-

терпеливым вопросом о том, что же, собственно, происходит в станице.

— Да вот идет спор который уж день! — ответил то ли за председателя агроном, то ли председатель за агронома, и на столе появился план, чертеж, карта,— я уж не знаю, что это было.

Не успел я углубиться в изучение этого документа, как вдруг из-за окна с темной улицы послышалось топанье ног и возгласы.

— Давай выходи!

— Корреспондента!

— Где он, корреспондент этот? Покажите нам его.

Взглянув за окно, я увидел две кучки людей, державшиеся по обеим сторонам крыльца.

— Ну вот, идите, потолкуйте с ними сами,— сказал председатель.

И я вышел к людям.

Это были разные люди. Были среди них сравнительно молодые, одетые в обыкновенные штаны и рубахи, было несколько пожилых, в штанах с лампасами и в старых казачьих фуражках, наконец, один в казахском аракчине. При моем появлении воцарилось молчание, как мне показалось — даже разочарование. Возможно, что некоторые из вновь появившихся станичников представляли себе меня, корреспондента, более солидным, более в летах, чем я был.

И тут от одной из групп отделился человек и пошел мне навстречу. Это был, насколько я помню, человек средних лет, в пиджаке, поношенной кепке, штаны заправлены в сапоги. Он был угрюм и шел навстречу мне, опустив голову, слегка ссутулившись и держа правую руку за спиной так, как будто бы нес в этой руке нечто, что хотел от меня спрятать. «Так можно нести и топор и дубину!» — подумал я. Но делать было нечего, и я решительно шагнул к нему навстречу.

Человек остановился, взглянул мне в глаза и, несколько помедлив, произнес:

— Вы, как член типографии, должны быть любитель прекрасного!

Так именно он и сказал. И в подтверждение своих слов он медлительно и торжественно вынес из-за спины то, что прятал за ней, держа в правой руке.

Это был букет цветов. Букет каких-то крупных алых, желтых и белых — при свете керосиновой лампы трудно было разглядеть, каких именно цветов.

— Вы, как член типографии, должны быть любитель прекрасного,— повторил он,— и должны описать все это и пропечатать. И все как есть. Вот что я вам скажу! Сад есть сад, и такими садами не пахнет нигде по всему Иртышу, а некие хотят этот сад срубить, что его садил для своей утехи якобы кулак Комиссаров, а земля нужна под посев хлебных злаков. И наше общественное мнение разделилось на две половины, но вы должны пропечатать черным по белому так, чтоб восторжествовала не неправая, а правая половина. Фруктовые хитрые деревья запущены в саду, садоводы не в почете — это верно, но должна же восторжествовать правда, товарищ член типографии. И все другие товарищи члены типографии, а вас много, все вы должны нас, правильно мыслящих, поддержать.

Я стоял, раскрыв глаза. Конечно, передо мной колыхался прекрасный букет, но я видел не столько свеженаломанные, еще покрытые росой или каплями вчерашнего дождя цветы, сколько веселые лица других «членов типографии»,— наборщиков, которые будут не без интереса набирать мою корреспонденцию о бунте в станице бывшего казачьего войска. И нечего долго объяснять, что именно тут-то я и осознал и свою собственную законную принадлежность к членам профессионального союза печатников, к членам типографии, которые, несомненно, должны быть самыми отъявленными любителями всего прекрасного на свете!

«Зѣркалщикъ»

Он пускал к себе людей неохотно. Далеко не сразу он пригласил к себе и меня. Я для него поначалу был не более чем мальчишка: мне было пятнадцать, ему — года двадцать три. И лишь приглядевшись ко мне, понаслушавшись моих стихов, а главное, установив, что я не хуже его знаю и Маяковского, и особо любимого им Василия Каменского, он удостоил меня приглашением в свою мастерскую.

Собственно, никакой мастерской не было, а была маленькая задняя комнатка в доме по Плотниковской улице,

принадлежавшем его матери. Я не знаю точно, кем была его мать. Я помню ее просто вдовой с тремя детьми: младшим сыном Германом, старшим Виктором и дочкой Лией, которая, по примеру Виктора, тоже стала художницей, но тихой и смирной. Виктор же, ровесник века, благополучно пройдя через все испытания, вырос в самого революционного, самого левого художника Азиатской России. Конечно, он декламировал «Сарынь на кичку» и «Левый марш», с презрением говорил о старье, но главное — он был настоящим буйно-красочным живописцем.

— Я покажу тебе три забавные вещи! — сказал он.

И действительно, я увидел три не только забавные, но удивительные полотна. Три чуда, как мне тогда показалось.

Первым чудом был кусок желтой песчаной пустыни, перерезанной сизо мерцающим рельсовым путем, между шпалами которого белела фарфоровая пиала. Этот квадратик полотна показался окном из уфимцевской кельи-мастерской, открывающим вид на всю Азию.

Но это было не главное чудо, так же как не самым главным было и чудо второе: шаманский, неправильной формы бубен, с лежащей на нем меховой туфлей не туфлей, мокасином не мокасином. Этот бубен был так упруг, что казалось — ударь по нему палкой, и он загудит, как тамтам.

— В него нужно бить! — воскликнул я.

— Разумеется! — сказал Виктор, ударяя в бубен, который действительно глухо загудел.

— Это картина, в которую можно барабанить,— пояснил он.

— О, ты недаром был музыкантом! — заметил я.

— А ты как думал? — ответил мне Виктор, срывая покрывало с третьего чуда.

Нет сомнения, это было самое главное чудо. Картина изображала город, старый сибирский город, мрачное серобурое смешение расшатанных бревенчатых стен и дощатых заборов и тротуаров с брандмауэрами цвета засохшей бычьей крови. Все это, казалось, вот-вот развалится и провалится в тартарары, но отчего? Почему все это рухнет? А именно потому, что посреди всего этого, озаряя все это неярким, но ослепительным светом, сияла дикая, кривобокая, но полная внутреннего огня вывеска «ЗѢРКАЛЩИКЪ». Среди серого и бурого хаоса появился некий

Зёркалщикъ, еще полуграмотный, неотесанно-шершавый, но вбирающий в свои зеркала и отражающий с разрушительной силой этот старый мир. Приблизительно так я понял замысел этой великолепной картины. Я тогда, конечно, и знать не знал ни о каких теориях отражения, да уверен, что ни о чем таком не ведал и Виктор, я просто был вне себя от волнения и наслаждения, и, желая сказать Виктору что-нибудь самое приятное, я крикнул, захохотав:

— Вот уж кому Сорокин по праву может выдать удостоверение о гениальности! Тебе!

— На фига мне это надо! — мрачно ответил Виктор.

Вскоре Виктор удивил нас еще одним своим небезынтересным произведением. Он уехал, то есть, вернее, ушел, в рейс с агитационным пароходом по Иртышу и Оби. Как художник он мог бы рисовать и писать там только лозунги и плакаты, но не таков был Виктор Уфимцев. Сообразив, что на пароходе есть походная типография, а также имеется и линолеум, он молниеносно осуществил издание иллюстрированного сборника «Футуристы».

Вот он, этот уникальный литературно-художественный сборник, лежит передо мной, несомненно — библиографическая редкость. Не знаю, каков был тираж,— сто, пятьдесят или еще меньше экземпляров оттиснул Виктор Уфимцев, едучи на агитационном пароходе. Бумага, конечно, оберточная, желтая, не потерявшая желтизны и до сих пор. Обложка — черная радуга, пронзенная таким же черным гвоздем: «Футуристы — сборник I». На первой странице согрешил стихом сам художник-издатель:

Прочь, здравый смысл зловонной вони,—
В безумстве страдном поем восторг;
Быстрей, быстрей летите, кони,—
О футуризме здесь кончен торг.

На следующей странице вклейка — ноты: их Виктор с собой не имел, он потом уже попросил композитора, участника нашей буйной компании, сделать ноты от руки, что композитор — Виссарион Шебалин — и исполнил.

На третьей странице автопортрет: «Я — Виктор Уфимцев. 1921», линолеум, как и все следующие иллюстрации.

На четвертой странице — мой портрет, весьма непохожий, но миловидный.

На страницах пятой и шестой — мои стихи: «Мы футуристы невольные, все, кто живем сейчас,— звезды пятиугольные вместо сердец у нас» и т. д. И другое, нигде не перепечатывавшееся:

Зацелованный футурист
И обласканный графоман.
Милый запах накрашенных уст
Из угла, где хрипит граммофон.
Через тусклые бюсты матрон
Гнется белый девический бюст.
Почему же из этих уст
Не струится пронзительный свист!
Не ходи в буржуазный дом,
Перед обществом скучных дам
Не разменивайся, поэт...

Затем стихи Бориса Жезлова; одно, заканчивающееся строфой:

Суп-опилки с жиром пота;
Тряпки пройденных ковров;
И на прекрасных санкюлоток
Геометрический покров.

И другое, заканчивающееся так:

Эй, коменданты красок,
Рвите тряпки перспектив!
Сегодня признали нас
Старье и чекатиф.

Дальше — портрет Бориса Жезлова, портрет Сергея Орлова и его стихи, стихи Калмыкова, портрет Виссариона Шебалина, затем очень несамостоятельная, явное подражание Ропсу, девушка, распятая на кресте, вернее, привязанная к нему с помощью бантов,— репродукция работы Ника Мамонтова; затем репродукция автопортрета художника-бородача Шабли; стихи и портрет Н. Семенова; хорошая, с моей точки зрения, черно-красная «Ева» Уфимцева; стихи некоего Топоркова, оказавшиеся, как говорили, заимствованием:

Мы вьем из стихов разноцветные ленты
И держим всемирного творчества руль,
Мы люди искусства, таланты,
А вы, порицатели — нуль — 0!

И, наконец, страница двадцать седьмая, где перечислена группа сотрудников: поэты Б. Жезлов, Н. Калмыков,

Л. Мартынов, С. Орлов, Н. Семенов, Г. Топорков, Г. Черников (отсутствующий в тексте) и «Группа червонной тройки» — художники Н. Мамонтов, В. Уфимцев, Б. Шабля, музыкант В. Шебалин.

Вот что отчубучил Виктор на агитационном пароходе.

Я вспоминаю все это не столько для того, чтобы внести в анналы истории советской литературы еще один забытый факт, сколько для того, чтобы показать, каким молодцом был художник Виктор Уфимцев, вдохновенный зеркальщик эпохи.

— А что ж ты не включил Антона Сорокина? — спросил я Виктора, получив от него книжку.

— Ну его,— ответил Виктор,— он недостаточно выкарабкался из пассеизма. К нам, будетлянам, он только примазывается,— явный осколок старого мира, сплошное родимое пятно декаданса!

И он сказал еще пару жестких слов, обличая, что сорокинский «Хохот желтого дьявола» не более чем подражание андреевскому «Красному смеху», что драматургия Сорокина пришлась по вкусу Комиссаржевской, а не Мейерхольду, и так далее и тому подобное. Конечно, Виктор был не совсем прав в своих обличениях, но ему было жаль художников, попавших в сорокинские тенета.

Вскоре, как я уже упоминал, Виктор уехал в Среднюю Азию, в Ташкент. Причины этого я не знаю. Но догадываюсь. Уже и то его полотно, с квадратной пиалой на рельсовом пути через пустыню, говорило о тяге Виктора к Туркестану. А еще более ощутимый толчок дала наша поездка на соленые озера за казахской границей. Выдумал эту поездку, между прочим, не кто-нибудь, а я. Однажды, рассматривая в библиотеке краевого музея книгу Седельникова об Акмолинской области, центром которой до революции был Омск, я обратил внимание на роскошные названия озер, помеченных на карте километрах в восьмидесяти к юго-западу от Омска: Теке, Улькен-Карой, Селеты-Тенгиз. По новому районированию они находились уже не в Сибири, а в Казахстане. Я сказал Виктору:

— Поедем на киргизские моря! Тенис, Тенгис по-казахски, по-тюркски значит «море». Кара-Тенис по-турецки — Черное море. Надо посмотреть, что такое Селеты-Тенгиз.

— А что там может быть?

— Я думаю, зеленые волны и красная трава.
— Тогда поедем,— согласился Виктор.

Надо было решить, как мы доберемся. Тут нам помог Колька Нечаев, толстяк, студент-медик, сын почти такого же толстого хирурга железнодорожной больницы. У Кольки была мотоциклетка, но он сказал, что ввиду его увесистости — он врал, что весил около шести-семи пудов,— мотоциклетка нас троих не подымет, но у отца его знакомого паровозного машиниста Адама есть лошадь с телегой; Адам — парень хороший, он охотно поедет с нами. И действительно, мечтательный поляк Адам согласился.

Переправившись на пароме за Иртыш и миновав куломзинские элеваторы, мы поехали через черноземные пшеничные края к казахской границе. Помню, как обитатели Полтавки высовывались из своих украинских мазаных хат, чтобы взглянуть на нас, а ребятишки бежали следом. Было на что поглядеть: я — в майке, и шортах, неправдоподобный толстяк Колька, резко контрастирующий с долговязым Адамом, и Виктор в клетчатой кепке и каком-то оранжевом хламиде-халате. Нас принимали за циркачей: Колька — борец, Виктор — клоун. Но когда Виктор вынимал из-под хламиды фотоаппарат, слышались крики: фотограф, фотограф! Так мы и достигли района, где на смену пшеничным посевам Южной Сибири открылась щетинистотравая казахская целина. И вскоре из-за увалов показалась фиолетовая поверхность огромного, пустынного, горько-соленого озера Теке.

Тут Виктор сразу же извлек свои художнические принадлежности. А Колька, приглядевшись к озеру, высказал предположение, что оно радиоактивное, и решил, что необходимо взять воды на анализ, но для этого надо сперва опорожнить бутылку водки, чтобы было во что брать пробу. Колька был порядочным запивохой, он, когда не случалось водки или денег, пил спирт даже из-под препаратов. Итак, мы распили бутылку-другую; не принял участия в этом только Виктор. И, оставив его рисовать, мы полезли купаться и брать воду с разных глубин. Помню, мы еще шутили, что на толстяке Кольке можно переплыть озеро, как на надувной лодке. «Нарисуй такую картину!» — кричал я Виктору, но Виктор отмахнулся, продолжая рисовать то, что ему надо. Тогда, вылезши из воды, я сам зарисовал в блокнотик переплывание на Кольке через озеро Теке, только этот рисунок затерялся. Зато до

сих пор цел другой, как Колька стрелял казахских гусей. Это было после купания. Над берегом появились гуси, и Колька пошел стрелять их на ужин, но вдруг, откуда ни возьмись, прискакали казахи и, окружив Кольку, закричали:

— Киргизский гусь, наш гусь, зачем стрелял?

Тут даже Виктор бросил кисть и краски. Мы поспешили на выручку Кольке. Мы сказали казахам, что не знали, что дикие гуси — это их гуси, но мы приглашаем вместе сейчас их съесть, а к тому же найдется и водка. Казахи охотно согласились, а пока варилась похлебка, Виктор начал рисовать их портреты. Это их уж совсем восхитило, и они, посовещавшись меж собой, сказали нам, что после ужина проводят нас к султану.

И действительно, веселые от вина, они проводили нас после ужина к аулу не аулу, но к некоему глинобитному жилищу в степи за увалом. Причем один поскакал вперед для того, чтобы предупредить султана о приближении гостей. «Султану скучно, султан гостей любит»,— толковали остальные. Мы только переглядывались меж собой. Было весьма любопытно, как живут степные султаны при Советской власти. Я ожидал всего, но только не того, что увидел, вернее, сперва услышал. А услышал я, подъезжая к жилищу султана, арию тореадора из «Кармен». В глинобитном строении орал граммофон.

Смуглый, немолодой, с усиками, чем-то похожий на Антона Сорокина человек, но не в костюмной паре, а в пижаме,— он и был султаном,— встретил нас приветливо и, говоря по-русски почти без акцента, пригласил войти в землянку. Там было много ковров, соломенное дачное кресло у столика, на котором и стоял замолкнувший при нашем приближении граммофон.

— Я его где-то видел, этого султана,— прохрипел мне на ухо Колька.— Только забыл, где!

А султан, как бы разрешая Колькины сомнения, тем временем сказал мне:

— Мы знакомы. Вы, может быть, не узнаете меня, а я вас помню прекрасно еще мальчиком. Я же ваш сосед.

И тогда я вспомнил, что султан есть не кто иной, как игравший на ипподроме степной султан Султан Султанов, который обитал до революции в собственном доме на Никольском проспекте, поблизости от дома Вальса.

Так произошла наша новая встреча в дни нэпа. Султан Султанов напоил нас чаем, напомнил Кольке, что встречал его в омских ресторанах, сказал, что, как и прежде, он работает по лошадиной части, а мы тут на озерах можем чувствовать себя как дома: никто нам не будет мешать охотиться на гусей. Казахи, затащившие нас к султану, толпились на пороге, приставали к Виктору, чтобы он их еще порисовал. Виктор что-то с ними толковал, я уже не помню, только помню, что он заторопил нас ехать дальше.

— Чего мы тут будем сидеть,— бурчал он.— Вот какой закатище над степью. Едем!

Но Адам решил по-другому. Он сказал, что закат как раз нехороший, пахнет непогодой и надо спешить обратно в город, чтобы не застрять в степи на неделю. Так мы и покатили обратно, и Виктору оставалось только оглядываться на юго-запад. «Эх, жаль!» — повторял он. И может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно тогда окончательно и созрело у него решение уехать в Среднюю Азию, которую он краешком да высмотрел с берегов фиолетового озера Теке. И в один прекрасный день он укатил с Мамонтовым в Ташкент. И в конце концов стал народным художником Узбекистана...

Мы встретились с Виктором только через четверть века, в конце сороковых годов в Москве, в вагоне метро. И сразу узнали друг друга, причем Виктор вместо приветствия сказал:

— Ленька! Как кстати ты оказался налицо. Едем прямым ходом на Кузнецкий. Там моя выставка!

И через десять минут мы уже гуляли по выставочному залу. Гуляли молча и напряженно. Но, глядя на его прекрасные картины, я невольно искал глазами то, чего здесь не видел.

— Виктор! — наконец сказал я.— Как жаль, что здесь нет ни «Бубна», ни «Рельсов в пустыне»! И почему нет «Зъркалщика»?

— Ну, знаешь, Ленька,— сказал он,— всему свое время.

— И всему свой срок,— в тон ему добавил я.— И цыплят по осени считают.

— Да, это про тебя и Уткина сказал Вивиан Итин, что утят по осени считают,— усмехнулся Виктор.— Я помню, я знаю. Ну что ж, возможно, я еще порадую тебя экспрес-

сивной живописью. Но к футуризму, мой милый, возврата нет.

— «О футуризме здесь кончен торг»? — напомнил я ему его собственные строки. — Это правильно, Виктор. Но было ли футуризмом все то, о чем идет речь,— и «Рельсы», и «Бубен», и «Зѣркалщикъ»?

Может быть, это были просто яркие, без оглядки на что-либо произведения, свежие, как наша молодость. А может быть, я и преувеличиваю все это...

Нет, конечно! Виктор Уфимцев был очень талантливым живописцем. И я вовсе не говорю, что его полотна на той выставке — на Кузнецком — мне не нравились, нет, я только утверждаю, что «Зъркалщикъ», по моему мнению, был не хуже! И мне хотелось, чтобы работники уфимцевского музея в Ангрепе, наряду со зрелыми Викторовыми работами, экспонировали бы и те юношеские полотна, о которых я рассказал. Мне кажется, что я не ошибаюсь в их оценке, хотя от ошибок не гарантирован, конечно, никто. Например, те же товарищи, прислав мне сохранившуюся в уфимцевских архивах фотографию Адамовой телеги на озере Теке, написали, что на данном снимке изображен Виктор, я и Всеволод Иванов, в то время, как тот третий — вовсе не Всеволод Иванов, а сверхъестественный толстяк Колька Нечаев. Ошибки возможны. И я по мере сил стараюсь восстановить историческую истину, истину не только имен, но и дел человеческих.

Сибирские Афины

Вспоминаю о них вот по какому случаю.

Художник Милашевский, наш сосед по даче в Степановском на Истре, вопреки моему желанию отдыхать спокойно, все-таки привел ко мне в гости литературоведа. Этот юноша выпытывал у меня, что я знаю и думаю о Хлебникове. Я сказал, что самое главное изложено в стихах моих «Хлебников и черти», добавить ничего существенного не могу. А между тем что-то такое, о чем бы я мог сказать, вертелось в памяти. Но, так ничего и не вспомнив, я расстался с литературоведом и сопровождавшими его научными девицами.

Вернувшись, я застал Милашевского сидящим около нашего крылечка. Он раскаивался в своем нехорошем поступке. Был уже вечер. С неба упала звезда. Я сперва не поставил этого явления ни в какую связь с происходящим. Милашевский же, как будто ни к селу ни к городу, вдруг начал рассказывать о том, как он из Иркутска отправился незадолго до германской войны поступать в Томский технологический институт, имея между прочим рекомендательное письмо к самому Потанину.

— Итак, вы видели самого Потанина,— воскликнул я.— Расскажите, Владимир Алексеевич, как вы с ним повстречались, какое он на вас произвел впечатление.

— Он был с бородой, в очках и напоил меня чаем,— ответил старый художник.— А больше я ничего не припомню, знаете, я был еще так молод...

И, услышав это, я подумал, что и я тоже посетил Томск, когда еще был очень и очень молод, и не могу многого рассказать об этом городе. Но тут-то я и припомнил нечто такое, о чем мог бы поведать интервьюировавшему меня молодому литературоведу.

Зачем я поехал в Томск?

О, конечно, не затем, чтоб поступать в Технологический институт или в университет, этот старейший сибирский университет, из-за которого хмурый, тихий Томск и получил свое прозвище: Сибирские Афины. И вовсе не для того, чтобы собрать какие-либо данные о Потанине, который умер там пять лет назад, в 1920 году, и не для того приехал я в Томск, чтоб побеседовать со старым сибирским просветителем книгоиздателем Макушиным, стоящим уже на пороге могилы.

Не занимало меня даже и то, что из томского лагеря военнопленных вышел в семнадцатом году на свободу для последующей революционной деятельности будущий вождь венгерской революции Бела Кун. Я был далек от желания узнать что-либо новое о декабристах и о таинственном легендарном старце Федоре Кузьмиче. И хоть в моем командировочном удостоверении значилось, что я еду в Томск для получения новых данных о старых попытках сооружения Обь-Енисейского канала, интересовал меня даже и не этот канал. И если сказать по правде, чего я не сделал в редакции, прося командировку в Томск, то посещение Сибирских Афин, как это ни странно, было больше

всего связано именно с одним из произведений Велемира Хлебникова.

Тут я предвижу обычные сомнения читателей, это вечное: «Выдумываешь, накручиваешь, беллетризируешь!» Но что поделать, если жизнь так сложна и столь полна взаимосвязей, иногда самых неожиданных и противоречивых...

Шаман и Венера!

Дело в том, что я перед этим изъездил рудный Алтай, каменноугольный Кузбасс и целинные степи, вспахиваемые плугами зернотреста, написал массу индустриальных корреспонденций и после этого ощутил не то чтобы приступ усталости, но нечто похожее на потребность изменить, грубо говоря, диету, взалкал, так сказать, других ощущений, другой умственной пищи; вдруг ощутил потребность взглянуть на современность из глубины какого-нибудь очень медвежьего угла, чей покой рано или поздно я сам же и нарушу. И вот тут-то и подвернулась эта поездка в Томск, в какой-то мере соответствующая моему настроению: «Ты веришь? Видишь? Снег и вьюга! А я, владычица царей, ищу покрова и досуга среди сибирских дикарей!» — повторял про себя я, едучи в эти Сибирские Афины, обойденные инженером Гариным-Михайловским при постройке Великого Сибирского пути. Ведь не кто иной, как автор «Детства Темы», проложивший трассу Великого пути в пользу будущего Новосибирска южнее, и обрек старый, тихий Томск быть тупичком железнодорожной ветки со станции Тайга. И мне грезилось, что среди этой самой тайги, большой тайги с маленькой буквы, где-нибудь по соседству со старыми снежными Афинами, которые представлялись мне академически тихими, я найду если не шаманские чумы, то какие-нибудь старые-старые села, в которых, кроме старых макушинских и домакушинских книг и рукописей допетровских времен, висят в амбарах и завознях какие-нибудь кнуты с кисточками, похожие на «и» с точками; стоят какие-нибудь доисторические сохи, чья рукоять похожа на букву «ять», а к стенкам прислонены колеса, подобные гигантским «фитам».

Как видно из всего этого, даже и архаический мой бред был бредом футуристическим, ибо, исходя на этот раз не от Маяковского, грезы мои шли явно от Хлебникова. А может быть, мне лишь кажется, что только от Хлебникова, и если шаман и Венера за Сибирскими Афинами исходили

от него, то кнуты и «фиты» были и остаются бредом моим личным и неповторимым.

Предоставляя судить об этом читателю, я возвращаюсь к рассказу о том, как я поехал к цели моего путешествия, сам толком не зная, что именно в Томске мне надо.

То, что я увидел, шагая с вокзала в город, ничуть не соответствовало моим представлениям ни об Афинах, ни о хлебниковской Сибири. Пожалуй, Томск походил больше всего на иллюстрацию плехановской «Истории русской общественной мысли» в той части, где Плеханов рассуждает о судьбах Руси деревянной. Над старыми добротными деревянными домами клубились печные дымы. Но вот наконец я достиг и царства кирпича и камня, очутившись перед строениями университета. «Уж если приехал, то надо действовать!» — сказал я себе и, стряхнув незримый груз грез и ассоциаций, вошел в храм науки.

Мое редакционное удостоверение обеспечило мне радушный прием. Прежде всего оно удостоверяло, что я и есть тот самый Леонид Мартынов, который подвергся суровой критике со стороны маститого томского писателя Тихменева за то, что призывал к озверению, хотя на самом деле в стихотворении «Фокстрот», которое мне инкриминировалось, я вовсе не призывал к озверению, а, наоборот, иронически убеждал людей, танцующих фокстрот, не походить на лис и обезьян. Отнесясь с должным уважением к моему желанию изучить историю Обь-Енисейского канала, университетские товарищи осведомились, не хочу ли я, кстати, ознакомиться с работой хирургической кафедры, руководимой знаменитым профессором Мыш, или меня больше заинтересует богатая университетская библиотека. Я ответил, что все это вместе меня, конечно, очень интересует, но прежде всего, и даже больше, чем история Обь-Енисейского канала, меня интересует шаманизм. И это тоже было встречено одобрительно, и мне кажется, что университетская публика ничуть не удивилась широте моих интересов, конечно, не предполагая, что мой интерес к шаманизму идет почти исключительно от поэмы Хлебникова.

«Ты веришь? Видишь? Снег и вьюга! А я, владычица царей, ищу покрова и досуга среди сибирских дикарей!» — повторил я про себя, выйдя из университета. И мне казалось, что чуть ли не прямо за этими снежными Афинами начинаются те леса, где разговаривает с Венерой шаман

из поэмы Хлебникова, но отнюдь не из трудов Григория Николаевича Потанина о шаманизме, которые я тогда по легкомыслию своему еще и не удосужился прочесть. Так, думая о том, где бы мне побывать, я шел среди толпы студентов и студенток и вдруг увидел знакомое лицо.

Это была дочь известного мне по Омску профессора, директора института, куда я не раз заглядывал как репортер.

— Что вы тут делаете, Леня? — спросила она.

Я, конечно, не стал ей объяснять всей сложности причин, какие привели меня в этот город. Я просто сказал, что приехал сюда в журнальную командировку.

— Так пойдемте ко мне чай пить,— сказала она.

И я пошел к ней чай пить.

Она жила не в общежитии, а на частной квартире, вероятно, в очень хорошей томской семье, в двухэтажном добротном доме, настолько угрюмом по внешнему виду, что ее тщательно выбеленная комната на втором этаже показалась мне сверхъестественно белой. Белыми были и скатерть на столике с белыми ножками, и подушка, и одеяло на белой кровати. Это была стерильная белизна, белая донельзя и абсолютно соответствующая ей, дочери профессора, студентке-медичке.

Мы пили чай и разговаривали. Она говорила об университетских делах, о медиках и технологах. И то ли ее спокойные речи, то ли этот чай в белых чашечках с белым сахаром подействовали на меня в какой-то мере отрезвляюще. То есть все принимало свой обычный, рациональный вид: обстановка не пахла шаманским медвежьим углом, город был, судя по словам моей собеседницы, связан прочными научными связями с Москвой, Ленинградом, Казанью, Харьковом. Я встал из-за стола и подошел к окну. Сибирские Афины покрывались снегом, вернее, изморозью, которая не мешала сиять и луне, выглядящей в небесах вовсе не шаманским бубном.

Но вдруг я заметил, что над крышами что-то сверкнуло. То ли искра из печной трубы, то ли падучая звезда. Возможно, что именно звезда, потому что был ноябрь, и я где-то читал, что в это время падают аэролиты из созвездия Льва, так называемые Леониды.

Я ничего не сказал моей собеседнице, но, с величайшим уважением поцеловав ее белую руку, раскланялся и пошел искать гостиницу для приезжих, чтоб там, в одиночестве,

трезво обдумать, что же я напишу о Томске. Но одно дело — трезвый рационализм, а другое дело — поэзия. И я не помню уж, что написал тогда о Томске, помню только грустные романтические и не имеющие никакого реального прецедента стихи, которые, впрочем, я перепечатываю в сборниках своих и до сих пор:

О, не в тайгу б пошел искать я Рай!
Не Ева ты, я не Адам нагой!
Но помолчи и отдышаться дай,
Ведь я пришел к тебе, а не к другой.
Тяжелый запах ты сейчас вдохнешь.
В нем будет все — и паровозный дым,
И сырость трюма. Револьвер и нож
Я суну под подушку. Помолчим.
Мир озарен Полярною звездой.
За окнами тяжелый снежный хруст.
Ты поцелуя теплою водой
Напой меня с полуоткрытых уст.
Прощай, хозяйка губ своих и плеч!
Забудешь или память сохранит,
Как в поздний час соседний мир поджечь
Я промелькнул в потоке Леонид.

Маски по-вхутемасски

Здесь я расскажу о том, в чем заключались мои непосредственные связи с изобразительным искусством и как я не поступил во ВХУТЕМАС, хотя отправился по командировке в центр для продолжения образования.

Начать с того, что поехал я зайцем. От нетерпения. У меня было командировочное удостоверение, были деньги, но поезда шли переполненными, окошко билетной кассы омского вокзала несколько раз захлопывалось перед моим носом, и, протолкавшись на вокзале целые сутки, я решил вскочить в первый попавшийся поезд без билета. Объяснения с проводником кончились тем, что я отдал ему хорошую шерстяную рубаху, а он дал мне место. Так зайцем я и перевалил Урал.

При прохождении контроля проводник прятал меня то в уборной, то в чулане, но, в общем, путешествие прошло спокойно, и я имел все возможности любоваться Европой, которую видел впервые. Она, Европа, поразила меня мяг-

костью тонов и холмистостью, столь отличающей ее от резкости света и ветра над беспредельно плоской Западно-Сибирской низменностью. Так я миновал Вятку, Пермь. Особенно привлекла мое внимание Вологда. Во время долгой, сорокапятиминутной, стоянки я вышел на вокзальную площадь и зорко вглядывался в глубь старого города, как будто бы даже и предчувствуя, что этот город будет связан с моей судьбой. Но стоянка пришла к концу, поезд двинулся дальше на Ярославль, и я, впервые увидев Волгу, на следующий день пил чай в извозчичьем трактире на задах Казанского вокзала в Москве. А через час я заявился к Нику Мамонтычу на девятый этаж общежития на дворе ВХУТЕМАСа.

В твоем окошке громоздятся шпили,
А много ниже маковки церквей,
На стенке намалеван соловей —
Под небесами прежде девы жили,
И сердце красное они пронзили
Стрелой на стенке комнатки твоей.
А там глубоко́ по дорожке дней
Крикливые бегут автомобили.

Так написал я Мамонтычу чуть ли не в первый день нашей встречи. Правда, из окошка не было видно никаких автомобилей, оно выходило вовсе не на Мясницкую, но тем не менее в общем картина была верна. Мамонтыч устроил меня спать на неработающей газовой плите, наше обиталище было не чем иным, как покинутой, заброшенной кухней.

На каком основании обитал Мамонтыч на этой кухне, я не знаю и не интересовался, он не учился во ВХУТЕМАСе. Он писал какие-то плакатики, и я помогал ему в этом, зарабатывая таким образом на хлеб насущный. А по вечерам мы ходили по этажам в гости к студентам и студенткам, художникам и художницам. Помню, например, художника Белоусова, который увлекался оперой, вернее, оперным певцом, старым Баначичем, и, подражая ему, пел тенором арию Вертера: «И вот приходит к нам в долину странник, и дней былых воспоминаньем пахнуло вдруг...» Ходили мы еще в гости к художнице Нине из Челябинска. Эта девушка так нравилась нам, что однажды, когда она работала, склонившись над чертежной доской, мы схватили ее, посадили на эту чертежную доску и так вынесли на лестничную площадку, чтоб возвеличить красу этой девуш-

ки перед обитателями соседних квартир. Мы много чего устраивали. В стихотворении «Хлебников и черти» я писал о том, как мы напугали Хлебникова, который жил несколькими этажами ниже.

А этажом выше обитала со своим мужем, угрюмым кубистом Фурзиным, художница Алена Калач, знакомство с которой возникло у нас по сибирскому признаку: выяснилось, что она сибирячка. Она жила, казалось, тихо и скромно. У нее было кукольное лицо. Маленькая, причудливо-просто одетая, она создавала довольно манерные полотна, лица на которых показались мне похожими на маски, не гнала нас, когда мы приходили на них взглянуть, но и не особенно якшалась с нами до поры до времени, пока не пришло лето.

А летом у нас с Ником созрело новое решение. Ему надоело писать плакаты, он заговорил о желании поработать на натуре. Меня тоже несколько разочаровал избранный мной образ жизни. Конечно, революционная Москва увлекла меня очень многим — и в целом собой, потому что я в ней впервые глубоко ощутил свою русскость, свою непосредственную связь с русской культурой, со своими прадедами и прабабками, еще не сибиряками, какими считали себя деды, отвыкшие дышать воздухом России, как они называли все то, что находится западнее Урала. Кроме того, Москва привлекла меня и Щукинской галереей, и театром Мейерхольда, и близким соседством с Маяковским и Хлебниковым, к которым, впрочем, я не решался лезть со своими стихами; привлекла она меня и Трубной площадью, на которой днем стрекотали пернатые пленницы птичьего рынка, а ночью шмыгали марафетчицы. Но все эти соблазны, высокие и низкие, все-таки не могли удержать меня тогда на девятом этаже ВХУТЕМАСа. Во ВХУТЕМАС я поступать раздумал, вернее, не предпринял то ли по робости, то ли по лени никаких попыток это сделать, хождение же по редакциям тоже пришлось мне не по вкусу, я и до сих пор не охотник ходить по редакциям, предлагая стихи, и предпочитаю, чтобы редакционные товарищи сами приходили ко мне за стихами, а тогда и думать об этом было нечего — приходилось ходить самому, причем безрезультатно: стихи мои вежливо отвергались.

И в общем мы с Мамонтычем решили поехать, по крайней мере на лето, обратно в Сибирь.

Тут-то, прослышав об этом, и появилась в нашем обиталище Алена Калач. Она пришла проситься к нам в попутчицы, с тем чтоб отправиться в путь через две недели.

— Очень жаль, но мы едем ровно через неделю,— вежливо сказал Ник.

Я даже удивился, почему он так решительно заявил об этом. И, видимо, на лице моем выразилось искреннее и неподдельное сожаление, потому что, косо взглянув на Ника и приветливо на меня, Алена Калач прекратила разговор и ушла.

— Неделя, две недели — не все ли равно,— сказал я Нику.

— Она трудная,— ответил Ник хмуро.— Ты не знаешь.

И он стал мне толковать о неизвестных мне качествах Алены и о сложности ее отношений с таким же безумцем Фурзиным, словом, сказал, что лучше с ней не связываться, у нее сорок пятниц па неделе, и ее две недели могут преспокойно превратиться и в два и в три месяца.

И через неделю, как было сказано, мы поехали вдвоем с Мамонтычем на Ярославский вокзал. Но на следующей же остановке трамвая у почтамта я почувствовал себя плохо и, пробормотав Нику, что я не еду, выскочил из вагона и вернулся в общежитие ВХУТЕМАСа, но не в покинутую комнату на девятом этаже, а прямо к Алене Калач, и лег на коврик в углу. Будто сквозь сон я услышал, как Алена сказала вошедшему Фурзину:

— Ты видишь, он заболел.

У меня действительно началась малярия.

А через неделю, выписавшись из больницы, как ни в чем не бывало я пил чай у Алены Калач.

— Теперь поедем вместе,— сказала она,— я знала, что мы поедем вместе.

И действительно, мы поехали. Она была очень мила: кормила меня печеньем, нарисовала мне в записной книжечке Рождественский бульвар, говорила, что мы скоро вернемся, читала стихи. Но под вечер второго дня, где-то уже за Пермью, она сделалась беспокойной. Ночью я увидел, что она прыгает с полки на полку — со своей на мою и обратно (это были верхние полки), как белочка. Сквозь сон я понял, что она чем-то встревожена. Но не доезжая до Билимбая, она притихла как раз в самый неподходящий момент, когда поезд со всего ходу резко затормозил и остановился.

За окном зашумели. Люди повыскакивали из вагонов. Я вышел тоже и подошел к паровозу, возле которого уже стояла толпа, понял, в чем дело: задавило человека, он попал под колеса. Я вернулся в вагон и рассказал Алене об этом. Она ответила мне, засыпая, что, как только поезд затормозил, когда человек попал под колеса, она и успокоилась. Такой ответ показался мне странным, но когда наконец, после почти получасовой задержки, мы приехали в Билимбай, я кое-что понял.

Пока мы стояли из-за попавшего под колеса человека, не доехав до Билимбая, с Билимбая на Восток был пропущен вместо нашего поезда товарный состав порожняка, который и был пущен под откос: голодающие, думая, что пойдет наш поезд, разобрали рельсы, чтобы поживиться на крушении.

Дальше мы ехали без припятствий. В Омске мы сошли с этого поезда, я остался, а свою спутницу пересадил на нужный ей поезд, причем увидел, как она, ища себе место в теплушке, прошла по спящим вповалку на полу теплушки пассажирам легко, как Христос по водам.

— Багаж ты мне привезешь через две недели,— успела крикнуть она мне, и я отправился в дом родительский с ее багажом, который, впрочем, был легок.

Через две недели я был уже в этом страшном тогда городе, городе без центра, главные улицы которого выгорели от великого пожара во время германской войны. У города были, казалось, только окраины, и на одной из этих окраин, на широкой и тихой улице, в глубине сада стоял особняк, в верхнем этаже которого помещалось советское учреждение, народный суд, а в нижнем этаже обитала семья сухощавого, длиннющего пенсионера-железнодорожника Людвига Калач.

Родители отвели Алене Людвиговне под ателье и жилье оставшуюся незанятой народным судом заднюю комнатку верхнего этажа с винтовой лестницей на кухню. Алена Людвиговна устроила меня на диване, рядом со своим альковом, под сенью старых полотен, чья красочность и динамичность были как бы парализованы той же самой, несколько маскарадной жеманностью, которой отличались и новые ее московские полотна. Эти работы кого-то напоминали, но я не вспомнил, а может быть, и не понял кого. Тогда я не был еще знатоком живописи, хотя и считал себя

незаурядным художником, во что, впрочем, никто, кроме Антона Сорокина и Емельяна Ярославского, не верил.

Но мне было как-то не до живописи, потому что в доме, как это я почти сразу заметил, творились странные, непонятные вещи.

Будто бы соскакивали с крючков двери, хлопали рамы и даже сами разбивались оконные стекла.

В саду возникало таинственное шелестенье и лепет струй, хотя ни колодца, ни колонки там не было. Когда Алена обратила внимание на это явление, ее отец, как бы полушутя, заметил, что, может быть, покойный дедушка приходит поливать цветы.

В то лето стоял зной. И на пустых, захламленных площадях, в которые превратились выгоревшие центральные кварталы города, ветер выдувал из-под песка десятилетней давности головешки, которые зеркально-черно блистали на солнце. Говорили, что лунными ночами блуждала над руинами центра Белая Дама.

После Москвы и после пыльного, но, как всегда, шумного Омска эта мистическая знойная тишина, прерываемая лишь треском бьющихся окон, показалась мне поначалу даже забавной. Я с детства интересовался привидениями и даже, будучи еще первоклассником, искал привидение в доме с привидениями, где жил мой репетитор, опальный студент. Но там я не нашел привидений, а тут они таились за каждым углом, хотя тоже не показывались мне на глаза. Об этом я и сказал Алене Людвиговне:

— Вот вы говорите: смерчик, в него надо бросить ножом, и нож окровавится, так как ранит беса,— сказал я ей.— Ну, давайте проделайте эту штуку.

Она ответила, что не в каждом смерчике крутится бес, но глаза ее подозрительно загорелись.

— Погоди! — сказала она.— Ты увидишь!

И вот однажды душным, смутным предгрозовым вечером мы, возвращаясь из лавочки, вошли в сад, в глубине которого стоял этот особняк, наполовину превращенный в здание народного суда. И в этой части здания что-то бухнуло. То есть в нем ли, или где-то за ним, или где-то рядом что-то бухнуло, и ухнуло, и будто бы лопнуло или топнуло.

— Слышишь,— тихо сказала Алена.— Это шаги Командора.

И снова что-то грохнуло там или не там, но только стекла окон особняка тускло заблестели, как будто дрогнув.

— Шаги Командора! Сейчас он выйдет на крыльцо,— еще тише сказала Алена.

Этого я не выдержал. Я взбежал на крыльцо и заглянул в стеклянную дверь закрытого вечером советского учреждения. Там никого не было, и это показалось мне еще загадочней, чем если бы кто-нибудь там оказался и оттуда бы показался.

— Ты скоро поедешь обратно в Москву? — спросил я.

— Тебе страшно? — спросила она в ответ.

Мне кажется, я не знал сам, страшно мне или скучно. Во всяком случае, мне было не по себе. Я чувствовал, что мне ни к чему уходить в эту мистику, я и так оторвался всем этим знакомством, всей этой поездкой от футуризма, бог знает куда.

— Сегодня шаги Командора, завтра Белая Дама, послезавтра Черная Дама, через неделю Желтая, Красная Дама,— сказал я.— Я уеду. И думаю, что тебе тоже надо отсюда уехать. Давай-ка поедем вместе.

— Нет, нет, поезжай один,— ответила Алена.— Но смотри, как бы тебя они не догнали.

Я не стал спрашивать — кто. Все было и так ясно,— это бред.

И через несколько дней я уехал.

До станции Алтайской я спал. На Алтайской уселся в дверях теплушки, свесив ноги,— подышать чистым воздухом. И тут заметил на станционных путях удивительно знакомую мне фигуру. «Кто это,— подумал я,— в рубашке апаш, в панамке?» И вдруг понял: ведь это я сам, такой, каким меня изобразил художник Виктор Уфимцев, да, собственно, такой же, как и сейчас, потому что одет я именно так. Я увидел, как мой двойник подошел к товарному составу и, облокотившись на подножку тормозного вагона, странно пригнул голову. Тут я почувствовал толчок — к нашему составу прицепили паровоз — соскользнув с порога теплушки на полотно, побежал прямо к своему двойнику и, как бы войдя в него, приняв его позу, слившись с ним воедино, понял, что меня тошнит. В это время наш состав тронулся, это я увидел не глазами, а как бы затылком, и понял, что надо спешить. Я повернулся, побежал и на ходу вскочил в свою теплушку.

На следующей станции я узнал, что на линии началась холера. Ладно, что меня просто вытошнило, пока я о ней не знал.

Тем дело и кончилось. Больше никаких чудес не случилось. ОНИ отстали.

Осень я провел в Омске, нормально работал в газете, выступая с чтением стихов.

Настала зима. На рождество мы были у известной читателям этих воспоминаний омской поэтессы с Атаманского хутора. Там были все — и брандмейстер, бывший князь Трубецкой, и Ник Мамонтыч, и вскоре после этого погибший Коля Калмыков, и, конечно, кто-то еще, только я позабыл кто. Все шло как обычно в ночь под рождество. Но в ночь под рождество, как известно, случаются необычайные вещи. Так и произошло в данном случае. Около полуночи вдруг раздался стук в остекленную дверь террасы, выходящую в привокзальный сад. Затем эта дверь, несмотря на зимнее время, легко отворилась, и в комнату со скромной торжественностью вошла Алена Калач, вся в каких-то пышных по тому времени, скорее всего в заячьих, мехах. Вслед за ней ввалился дюжий молодой человек, тоже в мехах, но волчьих либо собачьих. Алена Людвиговна извинилась за вторжение перед хозяйкой дома (как она узнала, что я и Ник Мамонтыч здесь,— не представляю, может быть, кто-нибудь сказал случайно), заявила, что она и ее спутник здесь проездом,— пересадка с поезда на поезд, может быть, и мы поедем тоже. Но, поняв, что мы не собираемся, она так же внезапно, как появилась, встала и сказала, что пора. Ее спутник был не прочь задержаться выпить рождественского вина, но Алена Калач взглянула на него грозно, как Алена Палач, и он, показалось мне, содрогнулся, как мнимый казнимый, гонимый, дразнимый. С восклицанием, что садом до вокзала ближе, она увлекла его назад, на веранду. Дверь захлопнулась, и, меховые, они исчезли в снегах.

— Кто это, кто это? — спросили хозяева.

— Знакомая колдунья! — объяснил я.

Ник вообще промолчал, только свистнул.

Позже я узнал, что она уехала не в Москву, а в Туркестан или через Москву в Туркестан. Некоторое время я не имел о ней никаких сведений, кажется, она снова была с Фурзиным. Уже после войны здесь, в Москве, на одной из художественных выставок, кажется, в Парке культуры и отдыха я увидел одно ее полотно: узбекский мальчик, похожий на девочку, с неподвижным, милым, я не понял

на что похожим личиком, с глазами, испуганно и отчужденно глядящими на мир...

А в середине, нет, во второй половине, пятидесятых годов, когда мы собрались переезжать из Сокольников на Ломоносовский, к нам однажды явилась гостья, девушка, сказавшая, что она дочь художницы Калач, мама живет у художника Х. в Измайлове и очень хочет меня видеть. У нас в это время был наш друг Виктор Утков. И вот мы поехали, кажется, в такси либо каким-то автобусом. Словом, порядочно поблуждав по лабиринтам измайловских новостроек, не так уж скоро добрались до цели. Дочь Алены Людвиговны провела нас куда-то высоко-высоко, под самую кровлю художнического жилища. И там, на этом чердачке или мансарде, я не знаю, как назвать это помещение, под косым потолком, я увидел стоящую у стола, постаревшую, но сохранившую моложавость лица Алену Калач. Теперь она была в спортивном костюме, в брюках. Равнодушным взглядом она взглянула на нас, вошедших вслед за ее дочерью, но не было сомненья — она узнала меня.

— А это мой друг Виктор Утков,— сказал я.

Она кивнула.

— А где работы? — спросил я.

И она спокойным, равнодушным голосом начала рассказывать, что все ее работы остались в Узбекистане, но кто-то уничтожил многие из них, чуть ли не все, соскреб краски, чтоб использовать полотна для своих творений. Это не было бредом, это, несомненно, была повесть о какой-то трагедии, но мне показалось ясным одно: она так или иначе потеряла свои полотна, утомилась и не может бороться с судьбой.

Вчера, когда я остановился на предпоследней фразе, снова пришел Виктор Утков, и я прочел ему это повествование до слов «и не может бороться с судьбой».

— Но ты остановился на самом интересном месте! — воскликнул Виктор.— Верно, полотен на стенах там почти не было. Однако ты не пишешь самого главного. Разве ты не помнишь, чем были увешаны стены? Масками!

И тогда я понял, что колдовские способности Алены Калач не иссякли и во второй половине пятидесятых годов. Как же она ловко сумела отвести мне глаза, как же я мог позабыть! Лишь теперь, после слов Виктора, я вспом-

нил, вспомнил явственно, что стены были увешаны масками, пестрыми карнавальными масками из папье-маше. Она делала маски. Тогда еще масок было мало, в магазинах не хватало, и Алена Людвиговна подзарабатывала масками для продажи детским садам и учреждениям, а может быть, и кооперации и магазинам культтоваров.

— Как же ты не помнишь эти маски! — воскликнул Виктор.— Неужели ты не помнишь, что, когда вы разговаривали о судьбах ее картин и разговор у вас не клеился, я взял и примерил маску разбойника, а ее дочка, ты помнишь, рассмеялась: «Нет, вам не идет маска разбойника, у вас добрые глаза!»

Я вспомнил и это. И вспомнил ее странную позу в полуотворот от меня и все, что она говорила, как бы без опаски, и, конечно же, это должно было отвести мое внимание от того, что она делает только маски, но очень разнообразные маски, маски разной раскраски, маски по-папуасски, маски по-арзамасски, маски по-хакасски, маски по-закавказски, маски по-вхутемасски!

— А помнишь, чем все это кончилось? — спросил Виктор.— Когда я перебрал все маски и выслушал ее жалобу, что все ее картины пропали, я взглянул в угол за мольберты, и помнишь, что извлек оттуда — прекрасное полотно, новое полотно, портрет — женскую головку. Я сказал ей: «А что это? Новое или старое?» — и она почему-то рассердилась.

— Глаза у нее сделались, как у кошки,— вспомнил я,— как у кошки, которая сидела там, на чердачном окошке.

— Да,— повторил Виктор,— но там была и не одна кошка. Их, я помню, было даже несколько.

— Да, да,— воскликнул я, и мне показалось, что я действительно вспоминаю, как по чердаку, чем-то похожему, но, конечно, вовсе и непохожему на нашу вхутемасскую комнату на девятом этаже, вдруг заходили кошки, много кошек — белых, рыжих, черных, розовых и голубых, как в далеком зауральском городе. Белые, Черные, Синие и Красные Дамы с поднятыми хвостами. Эти кошки с зелеными, как у хозяйки, глазами смотрели не то на нас, не то на прекрасный женский портрет — может быть, последнюю работу не признанной в этом мире художницы, которую я здесь имену Аленой Калач.

Пресноводный жемчуг

Лишь теперь, во времена синтетики, мы научились ценить настоящую шерсть, настоящие шелка и меха, настоящую льняную ткань, словом, все настоящее. В связи с этим мне вспомнился такой случай, произошедший почти полвека назад.

Это было в Москве, вечером, в трамвае «А», «Аннушке», на бульварном кольце. Я часто в нем ездил. И он принимал для меня самые разные обличья. Иногда он был ласков со мной, впрямь как Аннушка, и убаюкивающе тянул свое «а-а-а», иногда истошно вопил: «А!»

Тот вагон, о котором идет речь, громыхал для меня невесело. Я возвращался, как обычно, из редакции, везя, как обычно, отвергнутые стихи, в тот раз, кажется, про старую нежность, которую я хочу унести на чердак, чтоб ее не нашли беспризорные дети. Мне было в который раз сказано, что эта лирика далека от жизни и, если я хочу жить литературным трудом, то надо быть актуальней. Я не сомневался, что добрый редактор хотел мне самого лучшего, но, увы, не умел писать иначе, хотя карман был пуст, как этот трамвайный вагон, в котором, на этот раз, почему-то не было ни одного пассажира. И в этом вагоне, пустом, как мой карман, я уселся на пустое крайнее место у выхода. Но отсюда-то я и увидел все, что произошло столь внезапно.

Сперва на площадке появилась молодая женщина и для устойчивости взялась за столбик в центре площадки. Вслед за тем рядом с этой миловидной женщиной оказался довольно молодой еще человек, который также схватился за этот латунный шест. Немедленно после этого в трамвай залез третий пассажир, он прошел мимо держащихся за столбик и уселся в вагоне поблизости от меня. Рассеянно взглянув в мою сторону, он уставился за держащуюся за латунный столбик пару.

Дальше все произошло почти мгновенно. Вагон тряхнуло. Держащиеся за столбик сблизились и затем отдалились друг от друга. Вагон шатнуло, и тогда они, как бы столкнувшись, посмотрели друг на дружку с нескрываемой симпатией. Вагон тряхнуло еще раз, и тогда они, не сказав друг другу ни слова и явно не будучи друг с другом знакомы, поцеловались.

Она покраснела. Он побледнел. Секунду-другую длилось молчание. Затем поцеловавший, как бы нечто обдумав, сунул руку в карман пиджака и, вынув оттуда нечто вроде горошины, протянул ее поцелованной.

Впрочем, может быть, я описываю это не точно, может быть, вернее было бы сказать: поцелованный протянул эту мерцающую горошину поцеловавшей — при неверном свете я не разобрал, кто поцеловал и кто оказался поцелованным. Но, во всяком случае, он протянул эту сияющую горошину ей, сказав:

— Я приехал и уеду. Так возьмите, пожалуйста, это на память.

— Что это такое? — сказала она, протягивая руку.

— Это жемчуг! — ответил он.

— Жемчуг! — И она отдернула руку.

— Я не возьму!

— Почему?

— Потому что жемчуг!

— Вы думаете, что жемчуг приносит несчастье? — спросил он взволнованно.

— Нет, нет!

— Так почему же?

— Просто потому, что это жемчуг. Я не могу принять от вас, ну, как вам сказать, драгоценность.

— Ах, вот что! — Лицо его прояснилось.— Ну, так вы можете быть спокойны,— проговорил он.— Это жемчуг, но он ничего не стоит. Вернее, он не имеет рыночной ценности, а только научную! Это пресноводный жемчуг с одной северной речки. Я сам его нашел. Понимаете?

— Понимаю! — ответила она и, улыбаясь, протянула к жемчужной горошинке руку.

И вот тут-то и проявил себя некто третий, тот, который сидел поблизости от меня. Он встал с места и рывком приблизился к собеседующим.

— Гражданин, платите штраф! — мрачно сказал он дарителю жемчужины и вынул из кармана нечто вроде квитанционной книжки.

— А позвольте спросить, за что? — воскликнул искатель жемчуга.

— А за то, что вы нарушили правила.

— Какие правила? — вмешалась молодая женщина, держащая жемчужину большим и указательным пальцами.

— Вы, гражданочка, не вмешивайтесь, если не хотите последствий.

— Каких последствий?

— Я знаю, что делаю,— оборвал он.— Платите штраф, гражданин, в двукратном размере: во-первых, что не брали билета, а во-вторых, что целовались в трамвае. А! Вы не хотите? Тогда сойдемте,— выкрикнул он, видя, что трамвай замедляет ход.

Тогда я тоже встал и вклинился между ними. Во-первых, я плюнул на стекло, думая отвлечь этим внимание блюстителя порядка.

— Сходите скорее! — крикнул я поцеловавшимся и толкнул его и ее к дверям, потому что трамвай уже останавливался. Она, с благодарностью взглянув на меня, в свою очередь, рванула искателя жемчуга к выходу.

— Чего тебе надо? — закричал я мрачному контролеру, мешая ему ринуться вслед за соскочившими, так как «Аннушка» уже катилась дальше.

А взиматель штрафа — я думаю, что он вовсе не был никаким контролером, а был самозванцем,— он, мрачный и раздраженный, оставшись со мной вдвоем, не проявил никаких попыток придраться ко мне. Он только сказал возмущенно:

— Заступаешься? А ты посмотри: «не имеет никакой рыночной ценности»,— так этим и взял! Нет, ты, парень, только подумай: может быть, иной человек подарит своей ляльке нитку жемчуга поддельного, знаешь, который ничем от настоящего не отличается...

— Ну и что? — спросил я.

— А то, что она даже и не поймет, что фальшивый, и все-таки не пойдет с ним! А тут нате какие: он не имеет рыночной ценности — и пошли миловаться! У, гады!

И, показав сам себе кулак, он соскочил, кажется, на подъеме с Трубной, где «Аннушка», как обычно, теряла скорость.

Всадники на быке

Прочел в одном новом журнале публикацию глав из книги старого путешественника, которому очень понравились красные горы Аркат, к югу от Семипалатинска, не

доезжая Аягуза. И вспомнил эти горы, о которых я даже написал стихи. Это было лет пятьдесят, нет — точно пятьдесят лет назад. Стихи до сих пор не напечатаны, они отвергались якобы за непонятность, но, как будет ясно читателю из всего дальнейшего, ничего непонятного в них нет и не было. А было вот что.

В тысяча девятьсот двадцать первом, или, может быть, в двадцать втором году, когда я после кратковременного участия в Балхашской экспедиции Уводстроя Комгосора откомандировался из Сергиополя (Аяуза) вместе с другим подростком Борисом для продолжения образования, к нам по пути обратно присоединились еще двое: конторщик с мальчиком — отец с сыном. Почему он откомандировался, было для меня неясным и неинтересным. Откомандировался, и все. И мы поехали.

Из Сергиополя мы выехали еще на лошадях, но уже на ближайшем пикете наши справки перестали действовать, и мы застряли бы, если бы жалостливый казах-администратор не дал бы нам быка. Быка вместе с какой-то тележкой не тележкой, арбой не арбой. «Поезжайте, докуда вам надо, только потом сдайте на последнем пикете под расписку»,— сказал он. Видимо, он пожалел конторщицкого ребенка, мальчишку лет десяти, такого хилого, что, казалось, он мог помереть тут же на пикете. И вот мы двинулись в дальнейший путь на север.

Сперва наш бык вел себя нормально. Но чем дальше, тем чаще он стал сворачивать с дороги для того, чтобы пощипать травы. Видимо, он не удовлетворялся теми периодами пастьбы, которые мы ему предоставляли на наших привалах. При этих его сворачиваниях с дороги наш экипаж трещал, и мы поняли, что, если так будет продолжаться, он очень скоро развалится. И наконец, на виду Аркатских гор, так и случилось — деревянное колесо соскочило с оси, да и ось тоже приняла положение близкое к оси земной. Застряв для ремонта, мы решили развести костер. Борис и сын конторщика углубились в степь на поиски скудного топлива. А седой конторщик, присев наземь у соскочившего с оси колеса, сказал:

— Мы никогда никуда не доедем!

Конечно, этот нервный, стареющий человек был больше всего встревожен судьбой своего сына. Действительно, наш скудный, полученный при откомандировании паек под-

ходил к концу, а мальчик прямо у нас на глазах превращался из недотыкомки в ходячий скелетик.

— Проклятый инстинкт продолжения рода! — воскликнул конторщик.— Он, этот инстинкт, сам по себе предвестник смерти!

И, видя, что я поглядел на него с любопытством, он добавил:

— Поймите, чувствуя приближающуюся смерть, человек стремится продолжить себя в потомстве! И вслед за этим безрассудством он предпринимает еще и другое: как и я — пускается в путь, обремененный ребенком!

Если бы этот тусклый, плохо одетый человек заговорил бы со мной стихами или бы начал все это петь тенором, как Собинов, я удивился бы не меньше. Я никак не ожидал от него такого изысканного и интеллигентного выражения мыслей. То ли он был вдовцом, то ли жена у него сбежала, я не стал выяснять этого, а лишь спросил:

— Кто вы такой? Почему вы так говорите? Кто вы?

И тогда он вскочил, театрально вытянулся и, щелкнув стоптанными каблуками, выкрикнул:

— Разрешите представиться, бывший офицер военного времени.

И добавил, уже просто и устало:

— За что и страдаю. И, видимо, буду страдать всю жизнь.

— Бросьте! Обойдется! —сказал я.

— Тебе хорошо говорить «обойдется», а у меня ребенок,— пробормотал он.— Проклятый инстинкт деторождения! Но как бы не ушел от нас этот трижды проклятый бык!

И вот в этот-то вечер, бредя по степи на виду недалеких алых от заката Аркатских гор, карауля быка и страдая от недостатка воды и пищи и мечтая о далеких городах, куда нам надлежало вернуться, я и сочинил эти строки:

В городе у мокрых стен пьяницы,
глупцы, калеки.
Поздно начали аптеки продавать гематоген.
Сладкий напиток из крови бычьей
Каждый бы с детства должен бы пить.
Должен бы пить, должен бы пить,
Пить, пить, пить!
Это птицы кричали в степи: пить, пить, пить!
Это бы надо ввести в обычай —
каждый бы мог флакон бы купить

Крови бычьей, горячей, тягучей, мог бы
купить колдовской флакон.
Это не только на всякий случай, это бы надо
ввести в закон.

Так я сочинял, думая о конторщицком мальчишке, продукте и результате проклятого инстинкта продолжения рода, об этом мальчишке, который становится таким прозрачным, что сквозь него просвечивает солнце, а ночью не только свет костра, но даже луна и звезды.

И так как мне стало жалко этого мальчишку, я разбудил его усталого, покрытого серой пылью отца, и сказал ему, ежущемуся и глядящему недоуменно:

— Знаете что? Мы в случае чего можем убить быка!

— Убить быка? Вы что, спятили? — прохрипел конторщик.— Это же казенное имущество! Да и на чем мы поедем? Вы подумали?

— Все равно — колесо сломалось! — сказал я.

— Мальчик сядет верхом, а мы поведем быка! — возразил он.

Впрочем, все кончилось благополучно. Вскоре нас нагнал обоз, идущий тоже с Сергиополя на Семипалатинск. Отец с сыном вместе с быком присоединились к этому обозу. Но я этого делать не стал — обоз двигался слишком медленно для меня, неудержимо стремящегося вперед.

— Пойдем! — сказал я моему приятелю, откомандированному, как и я, для продолжения образования.

И мы, захватив свою ничтожную долю продуктов, пошли пешим ходом. Но мысленно я шел не пешком, а ехал на этом самом, благодаря добросовестности отца-конторщика, не убитом мною быке. В стихах, по счастью сохранившихся у меня до сих пор, это выглядело так:

Бык, цоб-цобе,
Вперед, говорю тебе.
Пел я, едучи на быке в темноте
Через каменистые горы Аркат.
Пусто было в моем животе,
Капле напиться был бы я рад,
Капли не было на языке, шершава поверхность
была языка.
Чтоб крови напиться, убил бы быка,
Но ехал я, ехал на этом быке.
Бык, цоб-цобе,
Вперед, говорю тебе.
Дорога далека!

Брюсов календарь

У меня есть стихи под таким названием, но там речь идет только о Брюсе, а я хочу поведать и о Брюсове, который, конечно, сыграл свою роль в моем творческом становлении. Мне кажется, что я с младенчества знал его врубелевский портрет с характерным затылком. Во дни революции, пользуясь общей неразберихой, я присвоил три библиотечных томика «Путей и перепутий», причем оценил как следует и долгое время тщательно берег том первый, который гораздо более остальных мне нравился, как я теперь понимаю, эмоциональностью и свежестью юношеских стихов Валерия Яковлевича. Может быть, питомец гиперборейских зим, я особенно остро ощущал «снегов сиянье голубое», и потому мне было так близко брюсовское юношеское «скажи, мы призраки, Мария!». В общем мне нравилось все это и примыкающее к этому, а позднейшим стихам Брюсова, кроме, конечно, «Инвективы», которую я встретил с восторгом, я решительно предпочел его прозу, даже такую, как в книжке «Земная ось», не говоря уже о великолепном «Огненном Ангеле», который, я не понимаю почему, не переиздается у нас до сих пор. Разумеется, я с любопытством читал все, что Брюсов писал о французах, из переводов же его с французского мне по-настоящему понравилось, да и нравится до сих пор, только одно-единственное, может быть, не столь верленовское, сколь брюсовское стихотворение: «Луна на стены налагала пятна углом тупым. Как цифра пять, согнутая обратно, вставал над острой крышей черный дым. Томился ветер, словно стон фагота. Был небосвод бесцветно сер. На крыши звал кого-то, мяуча жалобно, иззябший кот. А я, я шел, мечтая о Платоне в вечерний час, о Саламине и о Марафоне... И синим трепетом мигал мне глаз».

Эти стихи я часто повторял и очутившись в Москве, встретившей меня колокольным звоном, заглушающим шелест афиш на заборах, и цоканьем миллионов подков, в котором тонули гудки и выхлопы не особенно частых еще автомобилей. Но и тогда уже, не под трепетом газа, а под сиянием электрических и кое-где еще керосиновых фонарей, я повторял эти, в сущности, брюсовские стихи не как брюсовские, а именно как верленовские, воображая себя при этом Артюром Рембо, скитающимся по Парижу. То

есть я хочу сказать, что, обосновавшись в Москве, я думал о чем угодно, но меньше всего о Валерии Брюсове, в те дни, кажется, руководителе Высшего литературно-художественного института. Я вращался в несколько иных, хотя, конечно, и близких сферах, сталкиваясь с людьми, известными мне по своим произведениям, но зачастую оказывающимися совсем не похожими на то, что я о них думал. Так, например, в худощавом серьезном человеке, без лишних слов категорически отвергнувшим мои первые стихи, я с удивлением узнал Сергея Городецкого, автора когда-то пленивших меня строк: «Стены выбелены бело, мать игуменья велела у ворот монастыря не болтаться зря!» Или еще однажды, затесавшись в книжную лавку, я увидел, как публика шарахнулась от выходящего из-за прилавка молодого человека, будто ожидая от него чего-то особенного, скандального, что ли, а он, проходя меж этих праздных зевак, улыбнулся столь корректно и обаятельно, что у меня сразу же возникло о нем, Сергее Есенине, представление как о человеке умнейшем и высококультурном, о чем впоследствии я и поведал в стихах своих «Проза Есенина». И точно так же не могу не вспомнить, как однажды на Сретенке, взглянув с трамвайной площадки на Сухареву башню, я вдруг явственно ощутил, как

Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни...

И передо мной возник Маяковский, не тот обыденный, будничный Маяковский, которого я иногда встречал на Мясницкой у ВХУТЕМАСа, а грандиозный, бессмертный Владимир Маяковский.

Однако Сухаревка приготовила для меня еще один довольно-таки необычайный сюрприз.

Это было явно уже после смерти Брюсова, быть может, в том же 1924 году. Я появлялся на рынках, в том числе и на Сухаревском, не для покупки-продажи какого-нибудь барахла, шатался там не для приобретения фарфора или мехов,— но книг, и только книг, насколько это позволяли мои более чем скудные средства. И вот тут-то, так сказать, под сенью исчезнувшей ныне Сухаревой башни, я однажды познакомился, вернее — объяснился с человеком, с которым сталкивался не однажды и перед этим то у Китайской сте-

ны, то на Моховой у книжных развалов на фундаменте университетской ограды, то у букинистических ниш под арками проходных дворов. И на этот раз, на Сухаревке, склонившись над кипой книжного старья, мы наконец заговорили друг с другом.

— Ну, нашел что-нибудь? — спросил он.

По интонации он не произвел на меня впечатления книголюба.

— А вы что ищете? — спросил я.

— Он чернокнижник, ищет ведьму на черте! — ответил за вопрошаемого весельчак книготорговец, показав при этом рукой на Сухареву башню.

— Замолчи, глупец! — устало промолвил барахольщику осмеянный им человек и, взяв меня под руку, повел в ближайщую пивную.

— Кружка пива, а то и разобьем шкалик горького,— сказал он.

Сдувая пивную пену и неспешно выбирая слова, произносимые с заметным акцентом, он сразу как-то напомнил мне персонажа из Грина, но это вытеснилось другими воспоминаниями, отнюдь не книжными, а житейскими о моих старых знакомых, осибирячившихся остзейцах из омского вальсовского окружения — всяких кустарях по дереву и металлу, содержателях велосипедных мастерских, слесарях, мастерах на все руки. И когда я спросил его, не из Прибалтики ли он родом, он действительно ответил: да, но с давних пор обитает не там, а молодая его родня не может по-своему связать и пара слов.

— Пару слов,— поправил я.— И надо говорить не «разобьем шкалик», а «разопьем шкалик», и не «горького», а «горькой». Впрочем, можно, конечно, сказать и «горького», в смысле вина,— добавил я.

— Не надо говорить про Горького,— усмехнулся он.— А дай совет, скажи, что знаешь про Брюсова!

— Что про Брюсова?

— Стихи! — воскликнул он.— Ты знаешь стихи Брюсова? Ну знаешь, так читай мне, читай!

И, должен признаться, тут я смальчишествовал. Легкомысленно оценив остроту ситуации, я скрестил руки на груди, как Брюсов на врубелевском портрете, и начал выспренно:

— «Сладострастные тени на темной постели...»

Но, увидев, что, уясняя смысл услышанного, мой слушатель как-то болезненно сморщился, перешел на другое:

— «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь? Кому?» — «Эй, не мешай нам, мы заняты делом,— строим мы, строим тюрьму!»

И тут мой слушатель вздрогнул.

— Вот! Я ему говорил: не надо! Туда и попадешь! — воскликнул он горестно.— О, туда и попадет он, мой глупый мальчик, несчастливый племянник!

И затем, вперемежку с рядом хаотических вопросов: кто этот Брюсов, когда он жил, и не тот ли это Брюс, который обитал вот тут рядом, в башне, и он ли сочинил Брюсов календарь,— этот чудак рассказал мне свою нехитрую историю странствий и поисков, нет, не по библиотекам, заглядывать в которые он стеснялся, стыдился, но по букинистическим лавкам, по книжным базарам и развалам Москвы. Он, старый, почтенный ремесленник, как я правильно угадал, не то часовщик, не то ключевых дел мастер, жил со своим племянником, сыном овдовевшей, а затем умершей сестры. И этот паренек вдруг ударился в стихотворство. Он стал плохо учиться и в школе, и дядиному ремеслу, увлекаясь чтением книжек вот этих самых поэтов.

— Я смотрел, что за книжки он читает,— рассказывал мой собеседник.— Это, говорил я, не надо, брось, учись делу. Смотрю: Блок! Что значит Блок? Блок — механизм, поднимать тяжести! Я смеялся, может быть, есть еще поэт Рычаг? И кто еще этот поэт Крученый? Как веревка, да? Но еще и этот Брюсов. Из-за него и рассорились вовсе. Я увидел: раз мальчик читает книгу, скорей, как это назвать, альманах — с картинкой: голая женщина верхом на черте, и ниже стихи подписаны: Брюсов! Я хотел отбирать эту книжку, он не дал, он оттолкнул меня, закричал: «Дядя, я не позволю тебе изголяться, мне надоело, я не маленький, я буду жить сам, работать, и прощай!» И ушел!

И вот в надежде встретить у книжных развалов сбежавшего из дома мальчика (дяде было известно, что мальчик ходит по букинистам!), а кстати и приобрести эту самую книжку с голой ведьмой на черте, этот печальный странник шатался по книжной Москве... Однажды сухаревские книжники подсунули ему вместо книги Брюсова старый, трепанный, так называемый Брюсов календарь, лубочную подделку под почтенный труд старого Брюса, да еще и

посмеялись: не он ли, бестолковый покупатель, сам и есть воскресший Брюс, чернокнижник из Сухаревой башни? Так эта кличка к нему и пристала.

С величайшим сочувствием смотрел я в его живые и сердитые, зеленоватые, как балтийская вода, очи. Конечно, и в гневе его было что-то лютеранское. Разумеется, он напоминал каких-то героев Грина, который не зря (кажется, даже в «Крысолове») подметил наличие в русском обществе такого лютеранского, что ли, элемента. Но, с другой стороны, он вдруг напомнил мне и мою тетю Таню. Уж на что русская, добрая моя тетя Таня, усердная читательница Салиаса, Всеволода Соловьева и Куприна, тоже способна спутать Брюсова с Брюсом. «Какой вздор! — подумал я.— Нет, тут дело, видимо, не в происхождении и не в вероисповедании, в этом есть, так сказать, что-то общечеловеческое, свойственное вообще многим людям, которым непросто понять ни Брюсова, ни нарисовавшего его Врубеля, ни немца Брюса, оставшегося в народной памяти только как чародей-чудодей!»

— Брюс,— сказал я старику, кивнув на Сухареву башню,— был очень хорошим, образованным, умным человеком. Он был генералом и астрономом, сподвижником Петра Великого. Так что вы не обижайтесь на этих дураков, что они вас дразнят Брюсом. Но и Брюсов, Валерий Брюсов, вот этот самый, про которого вы толкуете, тоже был хорошим, умным, талантливым поэтом. Поверьте мне, я-то уж знаю.

— Ты знал его?

— Я не знал его лично! — признался я.— Но у меня есть его фотографическая карточка. Когда праздновали его пятидесятилетие, Виссарион Шебалин надоумил меня послать от лица молодых сибирских писателей Брюсову поздравление, а он в ответ послал свой портрет,— сказал я довольно бессвязно, сам еще толком не понимая, в чем это может убедить угрюмо слушавшего меня старика. Но, видя его недоверие, я тут же вывел мораль: — Да, да! — воскликнул я.— Я читал его, я поздравлял его, и, как видите, ничего плохого от этого не получилось. И вот я перед вами. И ваш племянник от Брюсова тоже не погибнет, он найдется и к вам возвратится!

И так, насколько можно утешив старика, я распростился с ним, и он исчез в толпе. И, конечно, улица была как буря, толпы проходили, будто их влачил неумолимый рок,

был неисчерпаем людской поток, в котором скрылись и дядя и племянник. А я пошел не куда-нибудь, а в гости к моей тете Тане, которая тоже не любила новой поэзии и моего пристрастия к ней, но впадала в отчаяние не при моем исчезновении, а скорее наоборот — при моем появлении в ее тихой обители.

О пользе критики

И все-таки, разбираясь в том, что помогло мне добиться цели, в том, что помогло мне не отступить, в том, что утверждало меня, отрицая,— я не могу не рассказать о Тане.

Я бы сказал, что явление Тани было запрограммировано именно с таким расчетом, чтоб в должный момент я, голодный, был накормлен, больной—уложен на койку, и так далее и тому подобное. И все это под один и тот же аккомпанемент:

— Леня, почему ты не хочешь стать агрономом? Почему бы тебе не заняться делом!

Так приговаривала Таня. Она будто бы не понимала, что меня тянет в Москву.

— Что тебе не хватает в Омске? — снова и снова спрашивала она, будто бы сама в свое время не упорхнула из старого Омска с цыганским хором.

Чего же не хватало Тане в семье Марии Васильевны Збарской, то есть моей бабушки Бади? Дети инженерской вдовы на пенсии были, в общем, пристроены: Саша, мой будущий дядя, служил в казначействе, мама моя, сестра Тани, училась на учительницу, но Таня, вместо того чтоб, как она раньше предполагала, стать модисткой, взяла и поступила в заезжий цыганский хор, чтобы кочевать с этим хором сначала по Сибири, а затем перевалить за Урал. Но в Москве хор прогорел, антрепренер бежал, бросив на произвол судьбы в каких-то меблирашках всех своих хористов и хористок. И тогда кто-то из москвичей дал Тане добрый совет помолиться Иверской божьей матери. Горячая молитва возымела действие: к Тане подошла дама-патронесса и определила неудачливую певицу на курсы сестер милосердия. Так Таня и стала хирургической сестрой одной из московских больниц.

С малых лет я помню, как Таня в отпуск приезжала в Омск, обычно летом. Она появлялась в облике вполне респектабельном. Некоторую экстравагантность, с провинциальной точки зрения, ей придавали, пожалуй, только папиросы, привычка к которым, как она объяснила, осталась отнюдь не от артистических времен цыганского хора, но появилась со дней изучения медицины. Таня приезжала и уезжала, звала моих родителей в гости, но те так и не собрались, а в гости к Тане в четырнадцатом году поехал только подросший к тому времени мой старший брат Николай, и затем после войны и революции в гостях у Тани появился и я.

Не входя в подробности, скажу только главное — я меньше всего рассчитывал стать постоянным обитателем Таниной квартирки в полуподвале служебного помещения при одной из больниц. Таня стала сотрудницей старой больницы, имея право на свой, я бы не сказал стародевический, но, во всяком случае, одинокий покой. У нее было свое общество, свои подруги и, вероятно, друзья из медицинского персонала, у меня свои друзья — из художников; как известно моим читателям, по приезде в Москву я избрал местом своего пребывания девятый этаж общежития ВХУТЕМАСа на Мясницкой. Да, впрочем, Таня и не пустила бы меня к себе на постоянное жительство; об этом она сказала мне сразу и неоднократно повторяла потом, подчеркивая, что на территории больницы не полагается проживать посторонним лицам... Так говорила она вслух, а про себя, я знал это, лелеяла надежду, что я не найду себе другого пристанища и уберусь восвояси из Москвы, что и будет мне на пользу. С самого начала узнав о моем желании стать свободным художником, Таня решительно не одобрила моих планов.

Но я и не думал жить у нее. Мне и не приходило в голову менять ВХУТЕМАС на больницу. Однако когда я заболел малярией, не кто иной, как Таня явилась во ВХУТЕМАС и увезла меня на извозчике не в свой полуподвальчик, а прямо в больницу, из которой я, выздоровев так же внезапно, как и заболел, сбежал через окошко в теплый весенний день 1 мая. Вскоре я уехал в Сибирь, но лишь для того, чтобы, вернувшись потом в Москву и кочуя по знакомым, ночуя то у Виссариона Шебалина на Знаменке, то где-нибудь еще, все-таки регулярно появляться у Тани, выслушивая ее постоянное:

— Не надоело тебе еще писать стихи? Когда же ты поступишь учиться на агронома?

И она вновь и вновь расписывала мне прелести сельской жизни, неизменно повторяя, что самым удачливым из всей семьи оказался мой дядя, ее брат Володя, который, выйдя в свое время из Оренбургского кадетского корпуса, сделался не офицером, а садоводом в горах, близ Пржевальска.

Чаще всего после такого назидательного разговора я уходил в ночь, мимо дремлющего привратника у больничных ворот, но случалось и по-иному. Бывало и так, что обстоятельства заставляли меня идти навстречу таким разговорам, чтоб заночевать у нее на кушетке. Разумеется, она не могла мне отказать в этом даже тогда, когда стала жить уже не одна, а с фельдшерицей Марьей Александровной, которая поселилась со своими ребятами в комнатке за перегородкой, в той самой, где я раньше спал на кушетке. Это уплотнение произошло под деликатным предлогом, что Тане часто нездоровилось и ей лучше жить не одной. Соседка была ее старой знакомой, конечно, даже подругой, и часто из-за перегородки при моем появлении слышались ядовитые замечания Марии Александровны о свободных художниках, восклицания о том, скоро ли эти свободные художники получат наконец признание. Но в общем соседка была милой женщиной, и я выдерживал безропотно даже тогда, когда они, объединившись, пилили меня дружно вдвоем. И помню, с какой радостью я, обитавший с Сергеем Марковым в Дурновском переулке, у Смоленского рынка, поехал однажды к Тане, чтоб вручить ей только что вышедшую в свет мою книжку очерков «Грубый корм».

— Вот, Таня, я и стал почти агрономом: «Грубый корм, или осеннее путешествие по Иртышу», видишь?

— Значит, ты бросил писать стихи? — обрадовалась она.

Но когда выяснилось, что, несмотря на наличие книжки прозы, я продолжаю писать стихи, радость ее погасла.

Думаю, не было человека, который бы относился к поэзии более скептически, чем она. Ей казалось, что вот-вот я возьмусь за ум и займусь наконец делом, то есть брошу стихотворство. И таким же образом, с превеликим сомнением, взглянула она и на книгу моих поэм, вышедшую в сороковом году. Вот как она относилась к моему творче-

ству! Хуже всех! Хуже самых недоброжелательных критиков двадцатых, тридцатых и сороковых годов нашего века.

И все-таки для меня нет сомнений в том, что, не признавая моего творчества, она была одной из наиболее сильных его поддержек. Это заключалось не только в факте ее существования, то есть в том обстоятельстве, что волею судеб она за четверть века до моего появления на свет божий убежала с цыганским хором из Омска в Москву, чтоб я впоследствии мог, появившись в Москве, беззаботно ночевать по знакомым, наверняка зная, что всегда есть где на худой конец приткнуться. Это сообщало мне полнейшее бесстрашие в самых затруднительных случаях жизни. Больше того: ее постоянные нравоучения и сомнения, наоборот, вдохновляли меня.

Я шел по лысинам и спинам горным
В мою Европу, прямо на закат...
И звезды в небе, азиатско-черном,
Мерцали, как глазенки киргизят.
. . . .
Оборван шел и совершенно бос...
Но ждут меня теперь покой и благо,
Чужой уют, десяток папирос,
Чернила и хорошая бумага...

Этот сонет был написан именно назло Тане, моей тетке, самодельные, домашней набивки, папиросы которой я курил, когда у меня не было своих. Первоначальная наивность и неясность сонета остались при мне, но образ человека, идущего по лысинам и спинам горным, вошел в произведения, получившие со временем всеобщее признание. Да разве только этот образ? И разве не там, в полуподвальном покое моей тетки Тани, я научился у мальчика Миши, сына ее соседки Марии Александровны, в трудных случаях жизни беззаботно восклицать: «На фига мне ваши нравоучения!»

...Так благотворно на меня действовали строгая критика и суровое непризнание. Они заставляли меня еще яростнее гнуть свою линию. И в то же время лояльнее относиться к любой, самой яростной критике, задумываться, нет ли и в ней элемента какой-нибудь тайной «Таниной» доброжелательности.

И когда однажды с трибуны одного из писательских съездов некий критик, раскипятившись до крайности, об-

рушился на меня за мои стихи, которые начинались строками:

О Земля моя, с одной стороны
Спят поля моей родной стороны,
Но, присмотришься, с другой стороны —
Только дремлют они, беспокойства полны,—

так вот, когда под смех всего зала он обрушился на меня за эти строки,— мне вспомнился не кто иной, как моя добрая тетя Таня!

Смертельный мошка

Пусть эта глава считается за вставную новеллу-выдумку, что ли,— настолько гадательным является и до сих пор кое-что из того, о чем пойдет речь. Быть может, одни подробности позабылись, а другие, наоборот, догрезились, доснились со времени описываемых здесь событий. К тому же, повествуя об участниках и, так сказать, виновниках этих событий, я не могу, вернее, почти не могу, привести здесь их имен, потому что я либо не знал их, либо они позабылись. Вот почему, много раз принимаясь за это повествование, я все-таки отступался от него, не будучи в силах осмыслить до конца эту странную, но, в сущности, очень простую историю, рассказав вроде как бы о мести Природы за насилия, над нею творимые. Ведь, в конце концов, в сознании человеческом если не всегда, то издревле жило нечто противоречащее извечному культу жестокости и насилия или, по крайней мере, нечто стремящееся поставить все в этом культе вверх дном. Еще Гесиод поведал нам легенду о том, как Хронос, то есть Время, находясь еще в чреве матери своей Геи, то есть Земли, железным серпом оскопил отца своего Урана во время его совокупления со своей супругой матерью-Землей. То есть сама Земля руками еще несомого в чреве дитяти наказала мужа-насильника Урана, чье имя впоследствии было присвоено элементу, дающему материал для атомной бомбы.

Обо всем этом, начиная с атомной бомбы и кончая Гесиодом, я, конечно, и знать не знал, когда восемнадцатилетним парнем поперся через Казахстан, чтоб собрать материал для нехитрых очерков о будущем строительстве Турксиба и вообще о грядущем социалистическом преоб-

разовании степей. Эту командировку я получил от «Советской Сибири». Никаких отличительных признаков журналиста в то время у меня не было — никакого блокнота, никакого бинокля, никакого оружия, никакого багажа, кроме нескольких дюжин кусочков туалетного мыла, полученного на базе Сибпотребсоюза и ловко запрятанного в нищую заплечную торбу, да еще зашитых в поясе штанов документов. Мылом этим я намечал расплачиваться за ночлег и угощенье: мыло было в те времена дефицитом. Денег у меня не было, а на обратный путь их должны были перевести в Пишпек, куда я намеревался добраться, если не съедят степные волки.

Так я и шел, оборванный, немытый настолько, что мог смело останавливать встречных барантачей-конокрадов, спрашивая у них воды или сведений о ближайшем колодце. В аулах казашки, обладательницы жалких обмылков какого-то, неизвестно откуда взятого самодельного мыла, с восторгом принимали мои дары. Вообще у меня было немало интересных встреч и бесед с этими славными людьми. Так, например, однажды во время моей ночевки в ауле какой-то почтенный аксакал, узнав, что я побывал на морях, долго расспрашивал о морских рыбах, выпытывая, можно ли развести в Балхаше рыбу ки-ты. Я думал, что речь идет о кете амурской, семге, но оказалось, что белобородый имел в виду не кету, а китов, и был очень огорчен, когда я объяснил, что эта рыба, вернее — морское животное, слишком громоздка для казахского мелководного озера-моря.

И вот уже на близких подступах к этому озеру-морю, уже далеко в стороне от будущей трассы Турксиба, когда я делал всякие крюки по степным дорогам и бездорожьям, я и встретился с небольшой партией геодезистов и присоединился к ней, поначалу все на тех же волшебных правах обладателя дефицитного туалетного мыла. То есть, застав этот отряд на привале у колодца, я на глазах геодезистов торжественно совершил свой туалет, как бы невзначай продемонстрировав свое богатство, и, видя их зависть к моему роскошному мылу, сказал, что могу подарить им даже не обмылок, а целый, непочатый кусок, за что и получил приглашение пообедать с ними, а за обедом рассказал об истинной цели своего путешествия.

— А-а-а, ты рабкор! — сказал начальник.— Ну и прекрасно. Можешь не отрываться от нашего отряда.

Отряд этот состоял из черноволосого начальника, белобрысого помощника, погонщиков верблюдов — казаха с сыном и вроде бы глухонемого, но очень толкового и работящего подсобного рабочего из крестьян.

Я был и остался несведущим в математике и поэтому совершенно бессилен описать, как мои новые друзья из организации, чье, даже сокращенное по моде двадцатых годов, название заняло бы целую строку текста, колдовали со своим теодолитом-треножником и рейками, но тем не менее я ясно понимал из разговоров, что через день-другой мы должны, перевалив ряд степных увалов, выйти к некоему пункту, помеченному чьим-то чернильным карандашом на старой карте как Большой Черный Дом. А от этого Большого Черного Дома, согласно показаниям той же самой замызганной, столетней давности карты, было уже недалеко и до озера-моря, чья близость, как мне казалось, ощущалась в природе. Но по карте выходило, что от Черного Дома до моря такое же расстояние, как от Черного Дома до того места, где мы находились.

И вот так, беседуя об этом самом Большом Черном Доме, что это за дом, и кем, и когда был выстроен, мы сидели у костра на вечернем привале, перед грядой степных бугров, когда неожиданно к нам явились из ночной темноты гости — Бай-Батыр с аткаменерами.

Эту встречу я частично описал впоследствии в своей маленькой поэме «Спор Бай-Батыра с инженерами», опубликованной однажды в «Красной нови». В общем все так и было. Я лично не впервой уже встречался с этими почтенными пережитками феодализма, читатели моих мемуаров знают о том, как на северной границе Казахстана мы с художником Виктором Уфимцевым и паровозным машинистом Адамом побывали в гостях у европеизированного султана Султана Султанова, любителя тотализатора и граммофонной игры и завсегдатая городских ресторанов. Бай-Батыр был личностью гораздо более примитивной, он, вероятно, никогда в жизни еще не слышал граммофона и был старомоден в обращении. После церемонного взаимоосведомления: «Здоровы ли скот и души ваши?» — «Спасибо! Спасибо! Здоровы ли скот и души ваши?», гости, сойдя с коней, согласились принять участие в чаепитии. Завязалась беседа. Мы рассказали о цели наших исследований — промеры пути как для строительства Турксиба, так и для всяких подъездных к нему путей; о том, что

скоро по степи побегут паровозы («Они провалятся в солончаках»,— возразил Бай-Батыр); поведали мы и о дальнейших задачах социалистического строительства, о перспективах перехода кочевников на оседлость («Как кочевали казахи, так они будут кочевать и впредь»,— вскользь заметил бай). А затем, чтоб развлечь гостей, им были показаны через трубку теодолита и подзорные трубы небесные светила и Луна. Тут Бай-Батыр позволил себе ироническое замечание о том, что-де цель наблюдений через инструменты ясна: русским Земля, а казахам — Луна. И, получив соответствующую отповедь, рассерженный бай велел своим аткаменерам немедля садиться на коней.

Все это описано в моем стихотворении, недосказано там лишь о том, что на прощание мы сказали Бай-Батыру, что, мол, вслед за нами идут и завтра-послезавтра будут уже здесь автомобили. Донес ли, мол, узун-кулак, их «степной телеграф», что на автомобилях едет большая партия строителей? Это было сказано на всякий случай, чтобы Бай-Батыр с его аткаменерами призадумались и не считали себя хозяевами положения. Бай-Батыр выслушал это сообщение о близком прибытии строителей довольно спокойно, повторив только, что казахи всегда кочевать будут, в домах жить не станут.

— А как же Большой Черный Дом? — воспользовавшись случаем, спросили мы.— Кто этот дом строил? Кто жил в нем?

При этом вопросе, мне показалось, бай насторожился, ответа не последовало, и гости ускакали в степную тьму.

— Кто таков этот Бай-Батыр? — спросил начальник у погонщика.

— Не знаю,— ответил тот.— Может быть, он так себя только называет Бай-Батыром. Бай-Батыр значит — сильный, крепкий бай.— А может, на самом деле у него совсем другое имя.

На следующий день, ветреный, но душный, мы преодолели еще несколько увалов, а вечером у нашего костра вновь появились степные гости. На этот раз их было больше, я думаю, всадников двадцать. Но вся кавалькада остановилась в сторонке, а непосредственно к нам подъехал один, хорошо говоривший по-русски и сказавший, что об автомобилях со строителями узун-кулак пока молчит, пока в степи ничего не слышно. Видимо, это был один из вчерашних гостей, но были ли остальные теми, что приезжали

вчера, я не уверен. Во всяком случае, Бай-Батыра между ними не было. В сумерках трудно было разобрать, но мне показалось, что и посадка у этих людей иная, и из-под лисьих малахаев выглядывают совсем не те лица. Мне почудилось, что при пляшущем от ветра свете костра их гривы, усы и бороды отливают если не золотом, то бронзой либо латунью, как будто передо мной были не степные номады-казахи, а скорее какие-то степные монахи; воссевшие на низкорослых степных коней отцы-пустынники из бывших кавалеристов, расстриженные пострижники, отроки-иноки; а некоторые лица даже, как мне показалось, дышали какой-то суровой, померкшей женственностью, будто их обладательницы были отнюдь не отроковицы, отнюдь не послушницы, но настоятельницы-повелительницы, гораздо более повелительные, чем, например, важные казашки в бархатных шубах и с перышками на шапках, гордые байши, которых я не однажды видывал на омских базарах.

«Может же такое почудиться!» — подумал я, но эти рассуждения мои были прерваны голосом казаха, который подъехал вплотную к нашему костру, чтоб на ветру было легче беседовать.

Казах говорил о том, что Бай-Батыр шлет нам привет и просит передать, что много думал, о чем мы говорили вчера, и хочет помочь нам советом: искать трассу для будущей железной дороги надо немножко стороной, левее, потому что если идти прямо, там — солончак, там паровоз утонет, автомобиль утонет, верблюд утонет и человек утонет.

— Это как прямо? Вот так, на Большой Черный Дом? — спросил наш начальник.

— Да, так. А надо идти стороной, вот туда,— показал казах плетью.— И Бай-Батыр велел передать, что он вас ждет в ауле, угощать всех вас будет, как гостей. Он был гостем вашим, теперь вы его гостями будете.

— Передай Бай-Батыру спасибо,— ответил начальник.— Но скажи ему, что мы за тем и идем, чтоб узнать, где топь, где хорошая дорога. Наша служба такая. А в гости уж потом.

— Так ты что ж, пойдешь на Большой Черный Дом?— крикнул казах, и мне показалось, что все остальные всадники при этих словах не то чтобы обеспокоились, но как бы

всколыхнулись.— Ну, сам виноват будешь! Там не только топь, солончак, там еще и другая беда есть!

— А что такое?

— Там? Там смертельный мошка! Вот что там есть!

Вот это-то заявление и возмутило нашего предводителя.

— Что ты врешь? Какая такая смертельная мошка? — закричал он.— Почему смертельная мошка?

— Укусит — узнаешь, когда помрешь! — крикнул казах, в свою очередь рассердившись.

Но остальные всадники, глухо загалдев, не дали ему договорить, зашевелились, тронулись с места, причем те, которые показались мне похожими на женщин, с величественностью, а явные мужчины — как-то понуро. И толмач-глашатай, присоединяясь к ним, сливаясь с ними и отдаляясь от нас, успел еще раз крикнуть:

— Бай-Батыр в гости ждет — пожалуйста!

Он именно так и выразился: «Пожалуйста!» — и в этом слове, и в интонации, с которой оно было произнесено, содержалось, несомненно, какое-то особое значение. Это «пожалуйста!» прозвучало не только как любезность и просьба, но и как предупреждение, и как стремление выразить что-то еще и такое, чего он не уполномочен выражать. И каждый из нас понял это по-своему. Но в одном все были единодушны: приглашение Бай-Батыра не принимать, а идти своей дорогой — прямо к Большому Черному Дому, от которого, как нам показалось, хочет отвести нас хитрый бай.

Почему Бай-Батыр не хочет, чтобы мы шли к Большому Черному Дому? Об этом нам ничего не мог сказать даже наш погонщик верблюдов: этот казах, пришедший с геодезистами из Северного Казахстана, говорил, что не бывал здесь раньше и ничего не знает об этих местах.

— А может быть, бай скрывает там свой скот? А может быть, это какое-нибудь священное место? — предположил я.

— Вот и увидим! — ответил начальник.— А к Бай-Батыру — ни ногой!

— Боитесь, что он зарежет нас, что ли?

— Пожалуй, что нет, но может устроить любую провокацию. Ведь похоже на то, что он предлагает нам какую-то сделку. Пировать зовет. А какие могут быть у нас с ним сделки? Разве только что насчет баб. Да, да, вот именно, ты этого еще не понимаешь, потому что молод, рабкор!

— Между прочим, мне показалось, что среди их компании были не только мужчины, но и женщины! — сказал я.

— А что особенного? У них бабы верхом умеют! — сказал помощник.— Вот начальник (он, конечно, назвал его по имени и отчеству) тебе и говорит, рабкор, что бай, может быть, смекает поймать нас на баб. Ты действительно молод еще, может, не знаешь, насколько могут быть коварны бабы. Вот ты слышишь — сейчас дует ветер...

И действительно, весь этот день и вечер дул довольно сильный ветер, такой ветер, когда шелестят травы и шуршат пески. «Но при чем тут коварство женщин?» — подумал я.

— ...Вот ты слышишь, сейчас дует ветер,— продолжал геодезист.— Это мне напоминает то время, когда я работал на Мурмане. Там старые моряки рассказывали, что у лопарей есть до сих пор такие колдуньи, у которых можно купить узелок хоть какого попутного ветра!

— А цыганки! — воскликнул начальник.

— Про цыганок вы уж можете мне не рассказывать! — засмеявшись, сказал я. И поведал им кратко о действительном случае, произошедшем со мной под Омском, между городской окраиной Порт-Артуром и казачьей станицей Черемушкой,— как одна цыганка, рассердившись, что я не хочу у нее гадать, почти насильно всучила мне какой-то волшебный корешок, который я повертел в руках и бросил, но через три дня, по странному совпадению, заболел редкой у человека коровьей болезнью ящуром. Весь рот был в волдырях целую неделю.

— Что ящур! — сказал младший геодезист.— Вот менонитки — немецкие колонистки, переселенки в Сибирь из Поволжья, не признают рукомойников и моются, по старинному обычаю, в тазиках, а знаешь ты, к чему это приводит? К распространению трахомы!

Так мы болтали, сидя у костра, и чем бессвязнее и менее глубокомысленной становилась наша беседа, тем яснее мне было, зачем мы ее вели этой ночью, под порывы и вздохи утихающего ветра. Затем, чтоб подольше не улечься спать, понадеявшись, как обычно, на своих верных стражей, верблюжьих погонщиков, отца и сына, казахов, которые, охраняя наш скарб и своих верблюдов, должны были бодрствовать попеременке. И, как бы отвечая на мои мысли, начальник наконец произнес:

— Ну, довольно лясы точить, давайте спать, но только не все сразу. Желаешь, рабкор, первым остаться на карауле, чтоб эти барантачи бай-батырские не угнали бы вместе с верблюдами и погонщиков? Так бери ружье в руки и сиди обдумывай собственные корреспонденции.

И затем оба геодезиста, как по команде, заснули, а я остался у остывающего костра и действительно сочинил в уме стихи, которые приведу ниже.

Как я сказал, мы засиделись допоздна, и дело шло к рассвету. И по мере того как начинало светать, ветер становился все слабее и слабее. Но чем тише шелестели степные травы, тем явственнее стал возникать какой-то иной звук, какое-то смутное гудение, доносившееся, как я понял, из-за увала, с юга, с той стороны, где предположительно находился тот самый Большой Черный Дом, к которому мы стремились.

Я обернулся к геодезистам и увидел, что они тоже проснулись. Не спали и погонщики, отец с сыном. Проснулся и глухонемой подсобный рабочий — он лежал, прижав ухо к земле, и искоса глядел на нас, как бы тоже прислушиваясь к чему-то.

— Гудит, будто телеграфные провода! — сказал я.

— Похоже,— ответил начальник,— только поблизости никаких телеграфных линий нету. Это уж будьте спокойны.

— Так что же гудит?

В какой-то мере это было похоже и на вой ветра в саксаульниках, но в том-то и дело, что это стало слышимым уж тогда, когда ветер утих.

И тут высказался погонщик-отец. Сперва он что-то сказал по-казахски сыну, и тот вроде как бы заплакал. Тогда, обращаясь к нам, отец закричал:

— Смертельный мошка! Смертельный мошка! Жужжит, укусит. Бай-Батыр знает! Совсем помрешь, идти в другую сторону надо! — повторял он, бросившись к своим верблюдам, увязывая вьюки и собирая утварь.

— Да погоди ты, дождемся дня и все решим! — закричал на него начальник.

Но когда настал рассвет, когда солнце поднялось из-за увала, внося свой порядок в гармонию сфер, когда степь, нагреваясь, зашевелилась на дневной лад, странное гуденье как будто замерло, потонув во всяческих иных шумах, шелестеньях, потрескиваниях и свистах. Там, где вчера неуклюже гарцевали всадники Бай-Батыра, намеча-

лась только неровная линия серого, сухого, прошлогоднего перекати-поля, нанесенного вчерашним ночным ветром. Старший геодезист, пиная эти сухие шары, как призрачно-ветхие футбольные мячи или серые эфемерные глобусы, загнал их в костер...

Закончив завтрак, наш начальник воскликнул:

— Итак, вперед, к Большому Черному Дому, и мы установим, что это за «смертельный мошка» там.

— Англичане,— сказал я,— на своих тропических шлемах носят особые пологи для защиты от москитов. Москиты — это та же самая мошка. Нет ли у вас в аптечке марли?

— Понимаю! Ты хочешь смастерить противогазы! — сказал начальник.— Ну что ж, пожертвуем марлей!

Мы намотали ее на шеи, как шарфы, чтоб в случае надобности прикрыть лица. Это утешило даже погонщиков, когда мы им объяснили, в чем суть. От марли разило лекарством, казалось, что этот запах убьет не только смертельную мошку, но и целого верблюда. Соорудив погонщику-отцу даже нечто вроде чалмы из марли, а сына его, для утешения, и вовсе запеленав с головой, как египетскую мумию, мы весело двинулись в путь. Перевалив увал, мы увидели, что впереди возвышается еще другой, почти такой же. Переход через впадину между ними занял у нас часа два. И вот во время этого перехода поднялся снова ветер, и мы услышали снова нечто подобное тому гуденью, которое всполошило нас ночью. Но теперь, среди белого дня, это уже не пугало нас, несмотря на то, что сын погонщика все-таки опять захныкал, а, наоборот, только побудило нас как можно скорее одолеть новый, видимо, последний перевал.

...И, поднявшись на гребень холмов, мы увидели: за ними гудят и даже погрохатывают, накатываясь на какие-то словно окаменелые берега, зелено-пенные валы озера-моря. Гудят волны залива, не обозначенного на старой, столетней давности, истрепанной карте этих мест, которой мы пользовались. Вот так: впереди гудело никакое не скопище «смертельной мошки», а шумел самый настоящий прибой.

Что же касается Большого Черного Дома, то он действительно стоял на своем, указанном старой картой месте, но выглядел вовсе не таким, каким я воображал его видеть, то есть высоким, в какой-то мере величественным

строением, но, наоборот, он казался еле поднимающимся над землей, или, может быть, он сел за столетие в землю, подумал я, но тотчас же отверг эту возможность, потому что понял, что и сам-то дом состоит из земли, то есть представляет собой обычную землянку, правда, огромной величины и угловатой, как ход шахматного коня, формы.

Все это я осознал уже на бегу, стремясь перегнать обоих геодезистов, которые тоже мчались к загадочному строению. Но белобрысый помощник начальника все же перегнал меня. Более долговязый, чем я, он первый подбежал к дверце Черного Дома, заглянув в нее, выкрикнул только одно-единственное слово и замотал себе нос и рот марлевой повязкой. Слово же, которое он сумел выкрикнуть, было коротко и ужасно:

— Скелеты!

Из манипуляций с марлей было ясно, что геодезист боится если не заразы, то зловония, исходящего от мертвых тел, которые он обнаружил внутри Большого Черного Дома.

Но делать было нечего, отступать не приходилось, и через мгновение я стоял уже рядом с геодезистом, чтобы заглянуть в дверь строения.

Действительно, оттуда воняло. И действительно — там были скелеты, скелеты, скелеты. Но, к счастью, отнюдь не человеческие, а рыбьи.

Это были скелеты не то сазаньи, не то маринки, так называемой кокпас — «синяя голова». Скелеты лежали целыми кучами, и тайну их происхождения разгадал подоспевший тем временем старший геодезист:

— Ах, жуки, ах, спекулянты! — воскликнул он.— Недаром за домом столько корней саксаула нарублено. Это же тайный, беспатентный, частный мыловаренный завод! Да вот оно и мыло!

И, схватив с пола землянки нечто мерзкое, он крикнул:

— Смотри! Что там твое туалетное мыло! Вот какое мыло они варят из рыбьего жира, вместо щелока — зола саксаула. Ну, Бай-Батыр! Деловитый бай! Нечего сказать — фабрикант!

Из того помещеньица, где лежали скелеты, мы через внутреннюю дверь перешли в смежное. И тут нас ожидал уже иной сюрприз. По нескольким оставшимся трубочкам-формочкам и веревочным фитилькам геодезист уверенно определил, что здесь отливались свечи. Да, именно свечи —

одни потолще, а другие тоненькие, на манер церковных. Но когда наш погонщик объявил нам, что в соседнем, третьем, отсеке Большого Черного Дома шили тулупы, то нашему удивлению не было предела: действительно, в этом полуподземелье пахло, как из квасильного чана. В закоулке пахло овчинами, мездрой. Однако, судя по клочкам шкур, обрывкам сухожилий и длинным полоскам кожи, тут не только мастерили шубы, но и вились бичи, камчи, кнуты и плети.

Это мне не показалось странным или спорным: люди Бай-Батыра могли быть знакомыми и с овчинно-шубным производством, как и с изготовлением ременных орудий. Однако признаки свечного производства заставили меня задуматься: отливание свечей, да еще и на манер церковных, подумал я, не в стиле степных номадов. Разве что Бай-Батыр, как опытный делец, стал искать рынок сбыта и среди населения, а быть может, духовенства русских городов и деревень необъятного степного края. Размышляя об этом, я перешел еще в один закуток Большого Черного Дома. И там увидел две удивительные вещи. Прежде всего — перо, обломанное, ободранное перо, как мне показалось, белой цапли.

Сама по себе и эта находка не являлась необыкновенной. Белая цапля, наряду с пеликаном и фламинго, была главной гордостью степных морей. Перья, то ли из шеи, то ли из хвоста белой цапли, я до сих пор не знаю толком, эти перья издавна служили ценной добычей для охотников, так как они шли для продажи на дамские шляпы не только в Россию, но и во всю Европу. Я не знаю, но думаю, что пером белой цапли могла украсить свою шапочку и состоятельная казашка. Но странность находки заключалась в том, что остаток пера белой цапли красовался на остатке недоплетенной дамской шляпки европейского образца, будто бы это перо из рук охотника-браконьера попало тут же, в Большом Черном Доме, в руки если не потребительницы, то, во всяком случае, модистки, шляпницы, прилаживающей перо к шляпе на самый современный манер двадцатых годов. И у меня возникло сомнение: могла ли быть эта модистка казашкой из Бай-Батырова окружения? И это сомнение укрепилось еще более, когда рядом с остатком шляпки я обнаружил среди какого-то тряпья явный китовый ус, торчащий из обрывков самого настоящего дамского

корсета. Это был старый корсет довоенного времени, такой, какой я когда-то видел на журнальных рекламах.

Корсет на Балхаше! Китовый ус на Балхаше! Я вспомнил того аксакала, который расспрашивал меня о рыбе ки-ты, о китах. Нет, подумал я, это не может иметь отношения к данной находке. Но все-таки совпадение может быть и не случайным: кто-то, где-то, что-то мог толковать и про китовый ус, и, следовательно, про китов.

Я не буду рассказывать, какое впечатление произвела эта моя находка на геодезистов, как хохотал старший, уверяя, что здесь хозяйничали, конечно, бабы, и как помрачнел младший геодезист, вертя в руках этот остаток женского туалета с такой брезгливостью, будто боялся заразиться. Скажу только, что, закончив общий осмотр Большого Черного Дома, таинственные очаги которого еще не потеряли запаха как будто бы только накануне остывшего дыма, мы, не рассуждая о том, был ли этот дом домом бездомных скитальцев-номадов или домом каких-то корсетных дам, выбежали наружу...

Долгие годы я вообще не считал себя вправе делать даже какие-либо определенные догадки по этому поводу. Мало ли кто мог скрываться в степях, в горах и камышовых зарослях тогда, в первые годы Советской власти, в те двадцатые годы, когда было еще немало «белых пятен» на картах нашей страны. В годы, следовавшие за временами великой разрухи, в период острой нехватки промышленных товаров мало ли кто мог взяться за фабрикацию дефицитного мыла, свечей и полушубков! Да за это могли приняться любые предприниматели из числа недобитых буржуев, разорившихся богачей и богачек, кулаков и кулачек.

Но вот теперь, в начале семидесятых, когда чернильнопенные волны воспоминаний все пуще и пуще вздымают Великий или Тихий океан литературы, читая многочисленные мемуары, вылавливая всплывающие на поверхность бурных вод письма и документы, я начинаю думать, что даже и «смертельный мошка» отнюдь не был мифом. То есть, вернее, каждый миф имеет свою реальную основу.

Еще недавно я предполагал, что за всеми этими тулупами и церковными свечами крылась какая-то мистика, что, может быть, тут ожили призраки несуществовавшего царства пресвитера Иоанна,— того самого царства, за которое, как полагает Лев Николаевич Гумилев, евро-

пейцы ошибочно принимали степную державу наследников Елюя Даши, под эгидой которого объединились в 1142 году несториане и яковиты-монофизиты, и столица которой была на верховьях Чу, а другой город, Имиль, находился недалеко от восточной оконечности Балхаша, то есть, во всяком случае, недалеко от мест описываемых мною событий. Тем более что в этом мнимом царстве Иоанна появились и не уступающие по храбрости амазонкам правительницы — регентши и хатши, убивавшие своих мужей, чтоб утвердить своих любовников. Так подумал было я, прочитав книгу Л. Н. Гумилева «Поиски вымышленного царства», да простит он мне, если я что-либо путаю. Но потом я понял, что все это ни при чем, хотя, конечно, и отзвуки всего этого, в конце концов, как-то могут создавать хотя бы мираж, как-то влиять на будущие события, словом и вымыслом — не гумилевские, у Гумилева нет вымыслов, у него факты, и, самое большее, домыслы, а вымыслы европейцев двенадцатого века — вот чьи вымыслы! — могут порождать подобные яви.

...Так с кем же я встретился, вернее, не встретился, на этом восточном побережье, на этом древнем перекрестке, в некоем географическом пункте, над которым якобы гудел «смертельный мошка»?

И кто такой был, наконец, этот «смертельный мошка», и был ли он в самом деле? Попытаюсь ответить на эти вопросы хотя бы себе самому.

Не имея и до сих пор достаточного основания утверждать это категорически, сегодня я все же осмеливаюсь предположить, что эти злосчастные амазонки, фабрикантши шуб и шляп, как и их кентавры поневоле (не для них ли амазонки и сплели свои бичи?), были не чем иным, как женами либо дочерьми бывших карателей и самыми этими карателями, превратившимися из карателей в караемых!

Я имею в виду не что иное, как трагическое происшествие в Джунгарской щели. Как известно, атаман Анненков, уходя в Китай, собрал на границе своих людей и сказал, что желающие могут вернуться, отдавшись в руки Советской власти. И не менее хорошо известно, что те, которые выразили это желание, были расстреляны, порублены, уничтожены по приказу самого же Анненкова в этом ущелье. Это была страшная история. И жены и дочери изменивших Анненкову офицеров и казаков были перед

смертью отданы на потеху уходивших в Китай, оставшихся верными атаману головорезов. Но почему не допустить, что некоторым удалось спастись, почему не допустить, что некоторые бежали, отстали от банды уже заблаговременно? И вообще далеко не ясно, что там было во дни бегства анненковских, да и не только анненковских банд за рубеж.

И почему не могло быть, что небольшие группы так или иначе спасшихся, но убоявшихся возмездия здесь, на советской стороне, захоронились в дикой тогда степи, чтобы, возвратившись к образу жизни предков, отсидеться, дождаться лучших времен. И не произошло ли так, что женщины, попавшие во всю эту чудовищную переделку и проклинавшие своих мужей, отцов, братьев, любовников, здесь, в этой дикой степной обстановке, может быть, даже взяли над ними, потерявшими свои гражданские права, верх, возродив в какой-то степени как бы эпоху матриархата. И недаром те всадники, ночные гости, которых я принял за всадниц, выглядели гордо и сурово, как амазонки, а те казахи, которых я принял за псевдоказахов, за каких-то монахов-кавалеристов, выглядели понуро, будто даже не плененные амазонками скифы, а просто кентавры — мужеголовый и четвероногий рабочий скот.

А впрочем, что там кентавры и амазонки! Не сама ли Гея, думаю я, не сама ли Земля, пресытившаяся убийственными акциями своего супруга Урана, задумала руками еще не рожденного сына своего Хроноса из чрева своего серпом оскопить насильника-мужа?

Впрочем, чего я не нашел среди всякого барахла и мерзости Большого Черного Дома, так именно серпа. Серпа там не было и в помине. За это не столь смертоубийственное, сколь сельскохозяйственное орудие взялись, естественно, не амазонки, а, как говорится, славные жены и дочери трудового крестьянства, когда Смертельный Мошка со своей эмблемой — черепом и костями, как на бутылке яда,— уползал за рубеж, в Китай, во мрак, на заточение, на гибель.

Вот, собственно, и все мои догадки о небольшой кучке людей, которая бежала из Большого Черного Дома, убоявшись нашего появления и не имея даже намерения бороться с нами, идущими по будущей трассе Турксиба.

Книжная премудрость

Еще несколько строк о книгах, таких, каких нет и, вероятно, не будет в моей библиотеке. Но я их все-таки прочел, и вот при каких обстоятельствах.

В двадцатых годах я как-то совершил поездку в один прииртышский конесовхоз для выяснения причины падежа лошадей от болезни, как нам казалось, таинственной и страшной. Обо всем этом подробно рассказано в моем очерке, опубликованном в «Сибирских огнях». А теперь я хочу коротко досказать, чем кончилось мое путешествие.

Выбравшись из злополучного совхоза, где воняло падалью и дезинфекционными средствами, я почувствовал сильный голод, так как два дня почти ничего не ел — в совхозной столовке, пронизанной этими запахами, питаться было противно.

К пароходной пристани, до которой было километров пятнадцать, я пошел пешком; совхозные кони были в карантине, а машины я дожидаться не стал по той же причине, что и питаться в столовой,— тяжелый запах не располагал к ожиданию.

Дойдя до ближайшей деревни, я заглянул в кооператив.

— Могу отоварить вас только сахаром и маслом,— сказал мне продавец.

— Хлеб? Печенье?

— Не имеется.

Я купил килограмм сахару и столько же масла. Масло таяло, и надо было его прикончить в первую очередь, что я и сделал, закусив сахаром, но слегка. Вскоре масло подействовало, и я тогда съел чуть ли не весь килограмм сахара, но облегчения все-таки не почувствовал. В таком виде, то и дело останавливаясь в пути, я и достиг наконец безлюдной пароходной пристани, у которой дымил буксирный пароход с целым караваном барж, вытянувшихся вдоль берега.

— Взять-то я вас возьму! — сказал мне капитан.— Но жрать, извините, у нас нечего, так случилось. Не выдали в Таре паек, и вот теперь питаемся чем бог пошлет, хожу вниз к кочегарам доедать картошку. Так что пока дотянемся до райцентра, подтяните ремешок туже!..

Я после своего масло-сахарного обеда меньше всего думал о питании. Я взошел на борт, и через некоторое время

пароход дал гудок и мы отвалили. Меня отвели в красный уголок, то есть в большую пустую носовую комнату, где стояли стол, несколько стульев, шкаф и койка. Я лег на эту койку, заснул и спал до тех пор, пока на следующее утро не был разбужен качкой. Открыв глаза, я увидел, что окна каюты застланы дождем. Дул северный ветер, река ходила ходуном, что доброе море. Я поднялся, вышел на палубу и огляделся. Буксирный канат то напрягался, то падал в пену волн; баржи, ведомые нами на буксире, тяжело кланялись за кормой.

— Теперь задуло,— сказал капитан.— Плохо то, что в этакую погоду придется идти, не причаливая, пока дров хватит. Потому что если прибьет к берегу, то не оторваться. Подтяните ремешок еще туже!..

Сначала я спал и спал на своей койке. Затем шлялся и шлялся по пароходу. Кочегары уж не делились картошкой ни со мной, ни с капитаном — ее не было. И тогда мое внимание привлек шкаф в каюте. То есть, поглядев на него, я вспомнил гриновского «Крысолова», историю о том, как голодающий человек нашел в шкафу яства. «А в самом деле,— подумал я,— почему бы и в этом шкафу не может залежаться хотя бы сухая корочка? Ведь это пароход, ведь в красном уголке могли происходить какие-нибудь торжества, угощения!»

И я направился к шкафу. Он был закрыт на замочек, но когда я дернул — открылся. И что же я увидел вместо яств?

Книги!

Я не удивился. Здесь, в красном уголке парохода, они присутствовали по праву — ведь должна же быть в красном уголке и библиотечка, удивительно, как это я не догадался раньше. Но тем не менее я огорчился, и горько. Тем более что книги-то были ужасно неинтересны: Данилевский, которого я никогда не любил, не считая даже за литератора; Крестовского «Панургово стадо» — скучный и бездарный антинигилистический пасквиль; романы Шубина (как я потом узнал, это был псевдоним румынской королевы Кармен-Сильвы) — «Чары полнолунья», «Крылья сломаны», «Хмурый гений», «О, не мучь, певец, игрой на лире» и еще какие-то серые книжечки, издания, кажется, Вернера, приложения к журналу «Родина». Кроме того, тут были разрозненные тома Фета и Мея и брошюры о вреде рукоблудия. Видимо, профсоюз снабдил красный уго-

лок этого парохода книгами, попавшими в его распоряжение из каких-нибудь фондов национализированной библиотеки. Может быть, из библиотечки какого-нибудь бывшего пароходчика. Словом, черт их знает, откуда они все это набрали.

Но как бы то ни было, я очутился в красном уголке лицом к лицу с хмурыми гениями и понурыми талантами, предлагающими мне свое общество, чтоб скоротать время на этом голодном и мрачном пароходе. И, сев на стул перед шкафом, я принялся за чтение и читал все подряд, пока не стемнело и я не улегся на койку. Проснувшись ночью и чувствуя, что шторм продолжается, я подумал: «Ничего! Я знаю, как завтра провести время». И, с утра напившись горячей воды, которой, слава богу, тут хватало, я вернулся в общество этих гениев и талантов. Оторвал меня от чтения этих книг, многие из которых я читал, надо признаться, впервые, и читал если не с восторгом, то с любопытством, ибо в нормальном состоянии я никогда бы не сделал и попытки одолеть какого-нибудь Вернера,— оторвал меня от этого занятия только капитан, на склоне дня заглянувший в каюту.

— А я думаю, не померли ли вы с голода,— сказал он.

— Пытаюсь питаться духовной пищей,— ответил я.

— Как? — переспросил он. И, как бы только теперь поняв, чем я занят, воскликнул: — Читаете, значит? Вот это да!

И, подумав, добавил:

— Пойдемте-ка ко мне на минутку.

Он привел меня к себе в каюту и, торжественно вынув из шкафчика бутылку водки, наполнил ею две жестяные кружки.

— За книжную премудрость! — возгласил он.

Сам он, как выяснилось из задушевной беседы, не был любителем литературы. Матросы, судя по заплесневелой нетронутости неразрезанных книг, тоже не были почитателями беллетристики и поэзии. Единственным читателем судовой библиотечки оказался я.

Случай, подобный этому, произошел со мной еще раз, но четверть века позже. Меня угораздило в 1948 году, после острой журнально-газетной проработки, связанной с выходом в свет моей книги «Эрцинский лес», заболеть скарлатиной. От вынужденного бездействия, лежа в постели, я перечитал всю журнальную беллетристику тех времен, при-

чем каждый очередной номер журнала, прочитанный мной, жена бросала в топящуюся печь. Так мы освободились от массы журнального хлама.

Пути поэзии

Мне позвонили из одной редакции: не могу ли я что-нибудь написать о Пушкине? Я сказал, что не могу.

И действительно, еще вчера я думал, что не могу, не способен сказать о Пушкине больше ничего, кроме того, что когда-то сказал в «Увенькае».

Но вот Ниночка, как мне показалось, просто для того, чтоб найти при решении кроссворда слово, обозначающее произведение Пушкина, взяла однотомник Пушкина, полистала его и стала вслух читать подряд стихи: «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке» и еще, и еще, и, наконец, это:

Страшно и скучно,
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Ветер шумит.
Солнцу обидно...

И я осознал, что мне, к стыду моему, до сих пор были, попросту говоря, неизвестны эти стихи, первая строчка которых звучит как «страшно и скушно», ибо «скушно» рифмуется с «душно». И тут явственней, чем на собственных его замечательных рисунках, увидев перед собой Пушкина — Пушкина на коне, Пушкина на Кавказе, Пушкина, может быть, после встречи с людьми, везущими из Персии прах Грибоедова, а может быть, и до этой встречи, я не знаю твердо, но, уяснив себе, что стихи датированы именно 1829 годом, я понял, что Пушкин думал, и чувствовал, и выражал свои чувства порой точно так, как мы, люди второй половины двадцатого века. То есть в этих стихах я не ощутил никакой архаики, никаких старинных оборотов речи, свойственных некоторым другим, даже самым гениальным его произведениям. Наоборот, я уловил в этих стихах особенности, свойственные именно нашему времени,

например, неточное, приблизительное созвучие «тюрьмы — шумит» и некоторую свойственную нашим творениям кажущуюся алогичность, как, например, вот это, будто бы противоречащее здравому смыслу ощущение: тучи да снег, следовательно — холод, а все-таки — душно!

И у меня возник целый ряд ассоциаций, как всегда бывает в тех случаях, когда воспринимаешь хорошие стихи. Прежде всего, пожалуй, обозначился курчавый, губастый, чем-то похожий на известный мальчишеский портрет Пушкина, совсем молодой еще Всеволод Иванов, в белой рубашке апаш, похожей, кстати, на байроновскую блузу, автор тогда еще единственной своей, напечатанной под псевдонимом «Тараканов», тоненькой беленькой книжки «Рогульки» и немногочисленных стихов. И на фоне этих стихов вдруг ясно обозначилось одно, подходящее к случаю:

«На улицах пыль, да ветер, да плач колокольного звона. Никто почти не заметил, как пронесли икону. Две старушки, перекрестясь, оправили полушалки. Город — ламанчский князь — смотрит смущенно и жалко».

Почему именно это стихотворение, напечатанное именно вот так в строку, без указания имени автора, в тексте одного из рассказов Антона Сорокина, в книжке его «Тюун-Боот»? Потому ли, что ламанчского князя напомнил мне один из рисунков Пушкина, изображающий всадника? Или сыграл роль союз «да», соединяющий близкие к тому и другому стихотворению понятия: «тучи да снег» и «пыль да ветер»? А может быть, я уловил что-то общее в настроении? Может быть, юный, курчавый, губастый Всеволод Иванов, сочиняя эти свои пыльно-омские стихи в тревожное время, году в восемнадцатом, сочетал свою молодую тревогу именно с этим знакомым ему пушкинским «страшно и скучно»? И, как бы сведенный этими своими рассуждениями с ермоловски-кавказских высот в декабристско-сибирскую ковыльную степь, я перенесся и с этой плоской, унылой от кровавых поветрий равнины опять-таки в совершенно иные края, представив себе пейзаж, связанный не с тысяча девятьсот восемнадцатым годом в Сибири, а с Францией эпохи франко-прусской войны: «В полях унылий неверно лег и как песок мерцает иней. Как пыль металла лазурь тускла — луна блуждала и умерла. О, волк худой и ворон нищий, какая пища вас ждет зимой?» Франция-то Франция, но я уверен, что эти стихи были навеяны

Полю Верлену не только суровой действительностью, но и чтением опять-таки Пушкина, переводов Пушкина на французский язык. Да, да, я что-то у кого-то читал по этому поводу, что Верлен интересовался Пушкиным, но, конечно, может быть, я и выдумал все это, как выдумал, например, и то, что Верлен с его сократовским монголовидным или даже скифским обликом, может быть, является потомком какого-нибудь киевлянина из свиты французской королевы Анны Ярославны. И, следовательно, ощущение русскости было у него в крови, так же вроде, как у Пушкина было в его натуре ощущение далекого прапрадедовского африканского юга.

Вот сколько всяческих, может быть, и спорных, и даже несуразных мыслей возникло в моем сознании. И я задал себе такой, быть может, обличающий мое невежество в пушкиноведении вопрос: цитирует ли кто-нибудь в наше время эти стихи — «Страшно и скучно»? Кто вспоминает их? Может быть, я пропустил, но мне что-то не припоминается, чтоб кто-нибудь нынче по какому-нибудь поводу привел именно эти строки, в которых поэтическая речь Пушкина столь сближается с поэтической речью наших дней. Это, подумал я, Пушкин, уходящий в Грядущее! Конечно, он таким и был и ценил это свойство в других. Не он ли оценил и напечатал в «Современнике» шестнадцать стихотворений некоего Ф. Т., новатора, чьи стихи по своему оригинальному содержанию, а следовательно, и по форме, ибо одно вытекает из другого, предвосхищали грядущие дни жизни и поэзии! Не Пушкин ли впервой приметил этого Ф. Т., то есть Федора Тютчева, того самого Тютчева, которого только через пятнадцать лет во второй раз открыл Некрасов? Но еще яснее устремление Пушкина в будущее выразилось в отношениях с Баратынским, одним из наиболее молодых, смелых и упорных заглядывателей в Грядущее. Ведь не кто иной, как Пушкин, оценил дерзновенные и, естественно, непонятные для среднего читательского уровня, новаторские по форме и содержанию стихи Баратынского. Не Пушкин ли сказал о поэме Баратынского «Эда»: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут». И оказался прав, ибо, как отмечает биограф Баратынского Пигарев, «официальная критика упрекала «Эду» в «ничтожестве» и «непиитичности» содержания.

И я пытаюсь представить себе взаимоотношения Пушкина с Баратынским: затею Пушкина выпустить совместную с ним книжку — две поэмы: «Граф Нулин» и «Бал», под одной обложкой,— появление Пушкина с Баратынским в зале Благородного собрания — все эти внешние признаки внутренней близости, любви и понимания и, главное, предвидение Пушкиным того предстоящего расцвета устремленной в будущее поэзии Баратынского, свидетелем чего Пушкин уже не стал. Ведь после гибели Пушкина появились самые замечательные стихи Баратынского, например, «Приметы» — это, я бы сказал, футурологическое и экологическое стихотворение, вдохновенно и тревожно повествующее о соотношении человека с Природой, то есть о вопросе, ставшем столь острым именно в наши дни. «Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, по детски вещаньям природы внимал, ловил ее знаменья с верой; покуда природу любил он, она любовью ему отвечала...» Не этой ли тревогой за разлад с природой, за насилия, творимые над ней алчными пенкоснимателями, нефтеточивыми замутнителями океанов, трещоточными истребителями воробьев, всевозможными господами Небоскребовыми и Недоскребовыми охвачен, наконец, весь наш двадцатый век? Вот оно когда действительно стало «тесно и душно» и «солнцу обидно» «от пепла, застилающего небеса», и «в смущение приводит человека вал морской, и от шумных вод отходит он с тоскующей душой».

Все эти печальные обстоятельства как бы предчувствовали Пушкин с Баратынским, эти интуитивно или разумно проницательные будетляне первой половины чреватого своими фабричными дымами девятнадцатого столетия.

И тут встало на место и нашло себе логическое обоснование и еще одно мое до сих пор смутное соображение. Я до сих пор как-то не совсем понимал логики Велемира Хлебникова, диалектики Хлебникова, или я не знаю, как определить это отношение, это пристрастие причисленного к футуристам, но называвшего себя просто будетлянином, Хлебникова не к кому-нибудь, а именно к любимому Пушкиным Баратынскому. Чтоб доказать это, достаточно сравнить поэмы Баратынского и Хлебникова. У Баратынского в столь ценимой Пушкиным «Эде» героиня ее:

Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.

Сидит и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?»

Но не о том ли самом толкует в поэме Хлебникова Венера шаману:

Ты веришь? Видишь? Снег и вьюга!
А я владычица царей.
Ищу покрова и досуга
Среди сибирских дикарей.

Что это? Подражание? Неосознанное влияние? Подтверждение слов Мандельштама о том, что «и снова бард чужую песню сложит и как свою ее произнесет»? Тут я вообще предвижу негодование критиков: одних на то, что я цитирую Мандельштама, других на то, что принижаю Хлебникова, называя его, новатора, футуриста, Будетлянина, Председателя Земного Шара, прямым продолжателем, если не просто подражателем Баратынского.

Обороняясь от всех этих нападок, я мог бы привести целый ряд примеров близкого сходства стихов Баратынского с хлебниковскими, например, похожести образов шамана из «Шамана и Венеры» и старца из «Переселения душ» Баратынского. Вот, например, начало «Шамана и Венеры»:

Шамана встреча и Венеры
Была так кратка и ясна:
Она вошла во вход пещеры,
Порывам радости весна...
Ты стар и бледен, желт и смугол...

Разве это не похоже на следующие строки «Переселения душ»:

Царевна видит пред собой
Обитель старца...
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий...

В поэме «Эда» о гусаре:

Но чаще, чаще он скучал
Ее любовию тоскливой
И миг разлуки призывал.

В «Шамане и Венере»:

Она бросается ему на шею.
Его ласкает и целует...
Могол же морщится, тоскует.

На тему стилистического сходства и сходства образов в стихах Хлебникова и Баратынского, я думаю, можно написать целый трактат, но суть не в этом, а суть в том, что, на мой взгляд, настроения Баратынского, а через него и настроения Хлебникова берут свое начало из настроений стихов Пушкина, подобных вот этому самому:

Здесь новоселье,
Путь и ночлег.

Ведь нельзя же не заметить у Хлебникова даже именно эту подробность: Венера является к шаману, «прося у желтого ночлега», именно ночлега, ночлега!

Вот что стало для меня совершенно ясным и понятным после того, как я прослушал эти короткие великолепные стихи Пушкина, которые прочла мне вслух жена вовсе не для решения кроссворда, но чтоб хитро привлечь мое внимание к Пушкину, так как она тайно желала, чтобы я все-таки написал о нем, и достигла своей цели: стихи очаровали меня! Удивительные, хотя, видимо, и незаконченные стихи, потому что текст не завершен точкой, и даже в этой своей незаконченности и этой своей незаконченностью устремленные вперед! И тем более убедительные потому, что, тревожные и печальные, они сорвались с уст великого оптимиста,— никто не посмеет обвинить Пушкина в сумеречности и никто не посмеет требовать от него сплошной улыбчатой ясности. Это о Баратынском можно еще писать, как пишут некоторые современные литературоведы, хотя бы тот же самый К. Пигарев, что-де «в поэзии Баратынского немало пессимизма, немало «темных» мест, которые, чтоб быть понятными, требуют перевода на язык обыкновенной прозы», и что есть-де у него такие строки, преимущественно в стихах второй половины тридцатых — начала сороковых годов: в «Недоноске» и в «Осени». Ведь угораздит же ткнуть недоуменным пером прямо в самое что ни на есть значительное, в самое лучшее! Но пусть почтенные литературоведы и занимаются этим малопочтенным занятием перевода якобы темных мест поэтических произведений на язык

обыкновенной прозы, забывая, что стихи — это именно то, о чем нельзя сказать прозой. Может быть, какой-нибудь другой литературовед или критик, отчаявшийся проследить истинные пути, привалы и ночлеги поэзии, попытается предпринять академический перевод на язык прозы всей этой самой поэзии, включая и выше цитируемые стихи Александра Пушкина, которому вдруг однажды стало одновременно и страшно, и скучно, и душно. И целый симпозиум литературоведов будет все-таки даже и тогда дебатировать, страшился ли Пушкин скуки или скучал от страха. По-моему, все же вернее последнее. Ей-богу, это не требует перевода на язык обыкновенной прозы, ибо каждый неизвращенный человек понимает, что это за скука — чего-нибудь бояться, страшиться! И понимает, что нет ничего нудней состояния страха. И не потому ли в страшные времена из-под пера вдохновенных художников, стремившихся стряхнуть с себя постыдное и нудное чувство страха, выходили самые прекрасные произведения? А что касается ощущения духоты в снегах, так я, конечно, не претендуя на доктринерское поучительство, тем не менее опубликовал недавно в малотиражном, но высокогорном таджикском журнале «Памир» стихи, в которых говорю о том, что

...можно и под южным
июльским солнцем
прозябать!

К проблеме перевода

Нынче меня довольно много переводили. Относительно много, много по сравнению с предыдущими годами, когда как-то забывали, после опять-таки относительного обилия переводов предшествовавшего десятилетия. Но это звучание на дважды двунадесяти наречиях имело свои причины. А затем кумиры сменились... Но нынче вдруг появилось целых шестьдесят стихотворений в югославском журнале «Градина», да и наша «Литература на иностранных языках» дала подборку переводов (правда, старых) в своих английском, французском, польском, немецком, испанском изданиях, посвященных пятидесятилетию СССР.

Видимо, в зависимости от событий, а может быть, отчасти и от явлений природы, бывают годы урожайные то на оригинальные произведения, как на хлеб насущный, то на переводы, как на золотые яблоки, тем более что я и сам нынче тоже вернулся к переводам, вернее, попытался довести до конца один из них, начатый очень и очень давно. И если уж говорить о переводах, которых хорошо ли, плохо ли, но сделал я немало, затратив на них, по крайней мере, десять лет творческой жизни, то воспользуюсь случаем рассказать, как все это началось еще тогда, когда «в небе красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат».

Это не цитата, это не фраза, а попросту так и было!

Для меня эти ныне исторически звучащие слова Маяковского были не историей, а явью. И вовсе не беллетристическим приемом поднаторелого мемуариста, а чистой правдой будет рассказ о том, как я, только что прочтя в «Новом Сатириконе» эти строки Маяковского, первый неподцензурный текст, вышел вечером на двор и, глядя на красные небеса, сказал своему приятелю Борису Жезлову:

— «В небе красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат».

А этот мальчик ответил, что демонстранты поют «Марсельезу» неправильно. Надо петь: «Вставай, подымайся, рабочий народ, берите дубинки и бейте господ!» И мне захотелось проверить, как в самом деле звучит «Марсельеза». И вскоре я раздобыл подлинник творения Руже де Лиля и с великим трудом, при содействии старших разобравшись во французском тексте, сделал попытку перевести его на русский язык:

Вперед, сыны отчизны, в бой!
Ударил славы час!
Тиранство стяг кровавый свой
Вздымает против нас.

Вторая строфа, с ее блестящей рифмой «campagnes-compagnes», мне не удалась вовсе. А припев вышел таким:

К оружью, земляки!
В гражданские полки!
Пусть в мерзопакостной крови
Омоются штыки!

Так я попытался воссоздать звучание и смысл этой славной песни, за что и был осмеян старшим братом и его товарищами, не говоря уж о том, что Борис Жезлов и вовсе не захотел оценить моих трудов: интерес к стихотворству, как к таковому, пробудился у него несколько позже, а интереса к проблемам перевода не возникало у него, как я понимаю, никогда.

Но по-иному было со мной. Отведав однажды этого соблазна — переводить, я позднее, вместо того чтобы одолевать с посильной помощью нашего гимназического француза, старого обрусевшего мосье Реми, повесть Гектора Мало «Без семьи», попробовал проникнуть в суть творений принца Шарля Орлеанского и Франсуа Вийона, загадочно улыбавшегося мне со страниц хрестоматии самоучителя «Благо». И вполне естественно, что мне, самонадеянному переводчику «Марсельезы», не стоило большого труда сделать гигантский шаг через столетия из средневекового вийоновского Парижа в мир Парижской коммуны, в мир «Интернационала», давно уже пришедшего на смену «Марсельезе» в наши края и звучавшего здесь во много тысяч раз громче, чем на своей прародине.

Но таковы уже пути творческого развития. Для меня он звучал так, как будто бы его пели бородатые парижские коммунары, среди которых наряду с Варленом — может быть, их даже путали, думал я,— находился и бородатый Поль Верлен, а следовательно, и Артюр Рембо! Конечно же, я воспринимал, осваивал историю революционного движения не столько через труды Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина, сколько через творения гораздо более близких для моего понимания поэтов, ближайшим из которых мне был Артюр Рембо, в сущности, такой же мальчик, подросток, как и я. Тот самый Артюр Рембо, с внешним и творческим обликом которого я был, конечно, знаком и раньше, по книжкам, журналам, по разговорам старшеклассников. Но если для меня, десятилетнего, Рембо был недосягаемо взрослым, то, став пятнадцатилетним, я как бы сравнялся с ним, и не было ничего удивительного в том, что однажды я и сделал попытку перевести одно из самых знаменитых его стихотворений — «Гласные»:

А — черно, Е — бело, У — зеленое, И — ярко-красное,
О — небесного цвета! Вот так, что ни день, что ни час,

Ваши скрытые свойства беру я на вкус и на глаз,
Вас на цвет и на запах я пробую, гласные! —

так начал я. Но как ни бился, дело не пошло дальше, и, вместо того чтобы перевести весь знаменитый сонет, я написал:

Эфиоп ему подал письмо. Адрес был: Эфиопия,
Ставка Негуса, господину Артюру Рембо.
Разрывая конверт, он подумал: давно уже не был
в Европе я.
Это почерк Верлена!
Прочел он:
«Все ждут твоего возвращения назад. Жду и я,
и надеюсь, что жду не напрасно я.
Ты ушел, как изгнанник, вернешься дорогой побед.
Твой сонет,— ты, наверно, его не забыл еще, «Гласные»,
В символ веры своей превратили теперь символисты.
Он вспомнил сонет:
А — черное, Е — белое, У — зеленое, И — ярко-красное...

Это стихотворение, не вызвавшее особенных откликов, я напечатал много спустя в книжке «Эрцинский лес». А сонета так и не закончив, я вознамерился перевести заново основную, коронную вещь Артюра Рембо — «Пьяный корабль». Тут было все: попытка просто внести точность в известный мне, далеко не точный перевод Эльснера, попытка объяснить судьбу Рембо и сущность его творчества, которое, не помню уже с чьей тяжелой руки, было объявлено упадочным, декадентским. И, наконец, попытка внести поправку в высказывания моего друга Вивиана Итина, провозгласившего меня только лишь всего-навсего сибирским Джеком Лондоном. Я не был против этого, но мне этого казалось мало, я считал себя, и небезосновательно, причастным не только к уитмено-демократической, но и ко всей европейской культуре. Словом, как бы то ни было, но я взялся за фантасмагорический «Пьяный корабль» Рембо. Однако работа моя вскоре оказалась прерванной не чем иным, как приближением японского землетрясения. Я хочу сказать, что, заделавшись газетчиком и однажды увязавшись с агентами уголовного розыска в ночной рейд по притонам Мокринского форштадта, я обнаружил на нарах одной китайской опиумокурильни непонятный мне листок на английском языке. Естественно, мне захотелось разобрать, что там напечатано. С этого, собственно, и началось изучение англий-

ского. То есть сперва я сунулся в словари, но из этого ничего не вышло, и я решил брать уроки английского. Все это, впрочем, рассказано в стихотворении «Неблагодарность» — там говорится, как я начал учить английский для того, чтобы перевести листок, найденный в китайском подвальчике и оказавшийся прокламацией неких буддийских Семи Мудрецов Мира, предупреждавших человечество о близости катаклизма, во время которого земля задрожит и люди, убегая от наступающего моря, ринутся в горы, но горы обрушатся на их головы, и не станет воды, и грешники будут пить собственную мочу. Я рассказал, как, переводя вместе с учительницей этот документ, оказавшийся верным предупреждением о будущем японском землетрясении, я начал переводить и некоторые стихи из хрестоматии Манштейна и печатать переводы в газетках «Сибирский водник» и «Сибирский гудок» и гонорарами за эти переводы оплачивал учительнице ее уроки. Так от французской поэзии я перешел к английской. Перевел «Моряцкое утешение» Ч. Дибдина, стихи, тоже в известной степени пьяно-корабельные: «Однажды ночью шторм ревел, как горы волны были, и боцман Снасть, жуя табак, сказал матросу Билли: «Ого, норд-вест крепчает, Билль! Ревет-то как, послушай! О, бедняки, мне так их жаль, всех, кто теперь на суше!» Словом, отвлекшись от перевода «Пьяного корабля», я все же оставался верен морской теме и перевел «Ветер западных морей» Теннисона. Я возмечтал перевести из Суинберна те стихи о тропических океанских ночах, которые декламирует Вулф Ларсен из джек-лондоновского «Морского волка», но не нашел в Омске книги Суинберна. Затем помнится мне неточный, но милый моему сердцу перевод последней строфы «Эльдорадо» Эдгара По: «Через валуны холодной луны, вниз через область ада скачи, рыцарь, скачи, ищи свое Эльдорадо!» Я дерзнул даже перевести отрывок из Шекспира «Неблагодарность» и за этот мой юношеский опыт, впоследствии переложенный на музыку Свиридовым, я и до сих пор получаю иногда скромные отчисления через Управление по охране авторских прав.

Я не решусь даже и этим страницам книги воспоминаний доверить свои чудовищно наглые попытки перевести на английский язык некоторые уличные и солдатские песни и сибирские частушки, скажу только, что, перейдя от французской поэзии к английской, я затем

ушел в поэтический фольклор казахских степей. Скитаясь в качестве журнального корреспондента по этим степям, соленым, как иссохшие океаны, и зачастую даже воображая себя Артюром Рембо, скитающимся по Африке, я наслушался немало казахских песен. И, слушая, как казахи поют, и расспрашивая их, о чем они поют, я написал «Киргизские примитивы». «Девушка Мойра принадлежит к союзу Нарпит! Десять раз в день я хожу в столовку. Сыт я по горло, а все не сыт!» — так звучали эти миниатюры. Или еще: «Мой муж, хромой Мукаш, ты вчера показал мне кнут! Поеду в город, спрошу адвоката, что надо делать, если бьют». И еще немало в этом роде. И некоторые из этих стихов я напечатал, вовсе не выдавая их за переводы, но эти миниатюры были включены, конечно, вовсе даже без моего ведома, в сборник переводов с казахского, и получился скандал. Меня упрекнули в фальсификации, в подделке, хотя, впрочем, через несколько лет один высокоуважаемый казахский писатель в одном очень солидном журнале и процитировал эти мои стихи именно как фольклор.

Затем пришли времена иные. Предвоенные, военные и, наконец, послевоенные. Те самые послевоенные времена, когда повысился интерес к национальным литературам Советского Союза и литературам стран народных демократий. Тут я по настоянию Сусанны Мар (пользуюсь случаем вспомнить эту русскую поэтессу, кажется, армянку родом, специализировавшуюся на литературах Прибалтийских стран) принял участие в переводах с литовского, переведя впервые Межелайтиса. Затем я начал переводить с польского — сначала из Пшибося, Важека и других современных поэтов, а затем из Словацкого и Мицкевича. Словом, лет за десять я перевел немало старых и новых польских поэтов, начиная с упоительного Яна Кохановского и до фантасмагорической словотворческой фантазии «Зелень» Тувима.

Много чего переводил я. Помню, как почти сразу, вслед за переводами с чешского, из Яна Неруды, я по просьбе и при содействии Эренбурга перевел стихи Пабло Неруды, чилийского поэта, взявшего себе псевдонимом имя полюбившегося ему старого чешского поэта. И вслед за стихами Пабло Неруды — «Осени конской топот, а за осенью дух океана» — стихи молдаванина Емелиана Букова, помню до сих пор и начало переведенного мной его

стихотворения «Заоблачная земля, к ней глыба Парнаса причалена, качаются музы печально на сонном борту корабля». Вот что как-то естественно и закономерно пришло на смену океаническим пейзажам «Пьяного корабля» Артюра Рембо. А затем началась эпопея переводов с венгерского — от Антала Гидаша и Дюлы Ийеша до Петефи и принявшего в двадцатом веке эстафету от Петефи — Эндре Ади, кстати сказать, автора великолепных стихов о судне, которое продается: «Продается судно! Расшаталась мачта, перегнили снасти, словом, сколько хочешь всякого несчастья!» Я еще, помнится, написал в одной из статей об Ади, что это его великолепное стихотворение в какой-то мере полемическая перекличка с «Пьяным кораблем» Рембо, который был Ади, конечно, хорошо известен: «Продается судно! Видно, в путь отважный хочет оно снова, нового желает рулевого!»

Все, о чем сказано выше, разумеется, далеко не полный перечень того, что я переводил в тот период, когда я оставлял попытки перевести «Пьяный корабль». Но говорится это и к тому, что, переводя на русский язык что-то совсем другое, я не забывал и об Артюре Рембо, вспоминая о нем по тем или иным поводам, будь это стихи Ади о судне, которое продается, или о пути от Эра до океана, или же стихи Радована Зоговича — поздравления ихтиологам, записывающим голоса рыб, или байроновские гимны Океану, или бодлеровские стихи о пьяном матросе, открывателе Америк,— стихи, предопределившие, как мне кажется, и явление «Пьяного корабля». И я не переставал думать, не оставлял своей юношеской мечты перевести «Пьяный корабль» если не лучше, то хоть несколько точней, чем это было сделано сперва Эльснером, а затем Бродским и Лифшицем...

И вот, уже во второй половине шестидесятых годов, кажется, прочтя новый перевод этого стихотворения, сделанный Антокольским, я, может быть, и позавидовав ему, но пожелав сделать все-таки по-своему, как мне казалось правильней, снова взялся за это дело.

И, взявшись за него, я довел его, как мне казалось, до конца. Но вдруг оказалось, что это вовсе не то, о чем мечталось. Во-первых, «Пьяный корабль» не уместился в то количество стоп и строф, как в подлиннике; во-вторых, многие образы подлинника потеряли в переводе присущую им многозначность. И я начал переделывать все заново.

И не знаю, до каких бы пор я продолжал трудиться, если бы однажды один ленинградский литературовед не убедил меня выдать перевод таким, каким есть, с тем чтобы внести необходимые поправки и дополнения в корректуре. И я поддался искушению. Это было в феврале 1972 года. О судьбе моего перевода и той антологии, в которой он должен был пойти,— ни слуха ни духа. И я решил: будь что будет! Пойдет или не пойдет мой перевод в антологии-билингве, а я впишу его пока на эти страницы, как бы на правах воспоминаний о том, что волновало меня с детства. Пусть это будет как черновик, как перевод с вариантами, с лишними строками текста, который не вместился в размер, все равно приблизительный, ибо русский стих все равно не передает волнообразную ритмику подлинника, подлинника, который, по крайней мере, на мой взгляд, является не только стихом просто французским, но и единственно неповторимым, в смысле своих интонаций, стихом Артюра Рембо.

Итак, безо всяких надежд повторить неповторимое, но с самыми лучшими намерениями, вписываю на эти страницы, каким оно мне мыслится, грезится, снится, это стихотворение под названием

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Когда, спускавшийся по Рекам Безразличья, от бурлаков своих я наконец ушел и Краснокожие их всех для стрел в добычу, галдя, к цветным столбам прибили нагишом,

Я плыл, не думая ни о каких матросах, английский хлопок вез и груз фламандской ржи. Когда бурлацкий вопль рассеялся на плесах, сказали Реки мне: как хочешь путь держи!

Я этою зимой сквозь грай приливов несся, к ним глух, как детский мозг, шальная голова. И вот от торжества прибрежного хаоса отторглись вспітормленные полуострова.

(И, с маху одолев приливов суматоху, к ней глух, как детский мозг, проснувшийся едва, я несся, сорванец, шальная голова, когда от торжества земных тоху-во-боху отторглись вспітормленные полуострова.)

Шторм осветил мои морские пробужденья, и десять дней подряд, как будто пробка, впляс, средь волн, что жертв своих колесовали в пене, скакал я, не щадя фонарных глупых глаз.

Милей, чем для детей сок яблок кисло-сладкий, в сосновый кокон мой влазурилась вода, отмыв блевотину и сизых вин осадки, слизнув тяжелый дрек, руль выбив из гнезда.

И окунулся я в поэму моря, в лоно, лазурь пожравшее, в медузно-звездный рой, куда, задумчивый, бледнея восхищенно, пловец-утопленник спускается порой.

Туда, где, вытравив все синяки, все боли, под белобрысый ритм медлительного дня, пространней наших лир и крепче алкоголя любовной горечи пузырится квашня.

Волнистый зев небес, и тулово тугое смерча, и трепет зорь, взволнованных под стать голубкам вспугнутым, и многое другое я видывал, о чем лишь грезите мечтать!

Мистическими ужасами полный, лик солнца низкого глазел по вечерам окоченелыми лучищами на волны, как на зыбучий хор актеров древних драм.

Мне снилась, зелена, ночь в снежных покрывалах за желтоголубым восстанием от сна певучих фосфоров и соков небывалых, в морях, где в очи волн вцелована луна.

Следил по месяцам, как очумелым хлевом прибой в истерике скакал на приступ скал: едва ли удалось бы и Мариям-девам стопами светлыми умять морской оскал.

А знаете ли вы, на что она похожа, немыслимость Флорид, где с кожей дикарей сплелись глаза пантер и радуги, как вожжи на сизых скакунах под горизонт морей?

Я чуял гниль болот, брожение камышье тех вершей, где живьем Левиафан гниет, и видел в оке бурь бельмастые затишья, и даль, где звездопад нырял в водоворот.

Льды, сребробряклость солнц на пылком небосклоне и мерзость на мель сесть, как на кол, в пряный мрак в затоне, где клопы грызут драконов так, что эти гады зуд мрачнейших благовоний, ласкаясь, вьют вокруг коряжин-раскоряк.

А до чего бы рад я показать ребятам дорад, певучих рыб в голубизне морей и рыбок золотых, одна других пестрей... Там несказанный вихрь цветочным ароматом благословлял мои срыванья с якорей.

Своими стонами мне услащала качку великомученица полюсов и зон,— даль океанская,— когда ее озон вскипал цветами тьмы, в чью желтую горячку я был, как женщина, коленопреклонен.

(Своими стонами мне услащала качку великомученица полюсов и зон —даль океанская. Вдыхал ее озон, златоцветенье тьмы, вентоз ее горячку, я, точно женщина, коленопреклонен),

Когда крикливых птиц, птиц белоглазых ссоры, их гуано и сор вздымались мне по грудь, и все утопленники сквозь мои распоры шли взад пятки в меня на кубрике вздремнуть.

Но я, корабль, беглец из бухт зеленохвостых в эфир превыше птиц, чтоб мне, подав концы, не выудили мой лазурью пьяный остов ни мониторы, ни ганзейские купцы,

Я, вольный, дымчатый, туманно-фиолетов, я, скребший кручи туч, с чьих красных амбразур свисают лакомства, отрадны для поэтов,— солнц лишаи и зорь сопливая лазурь,

Я, в электрические лунные кривули безумной щепкою нырявший где-то там с толпой гиппопотамов по пятам, где, пучась, лопался под палицей июля ультрамарин небес, гудящих, как тамтам,

Я за сто миль беглец от взвизгиваний бурных, где с Бегемотом блуд толстяк Мальстром творил — влекусь я, вечный ткач недвижностей лазурных, к Европе, к старине резных ее перил!

Я, знавший магнетизм архипелагов звездных! И острова, чей кварц от молний весь пунцов, безумием небес развернут для пловцов! Самоизгнанница, не в тех ли спишь ты безднах, о Мощь грядущая, сонм золотых птенцов!

Но, впрочем, хватит слез! Терзают душу зори, ужасна желчь всех лун, горька всех солнц мездра! Опойно вспучен я любовью цепкой к морю. О, пусть мой лопнет киль! Ко дну идти пора!

И если уж вода Европы привлекает, то — холодна, черна меж вмятин мостовой, в бальзаме сумерек над детской головой, когда дитя, грустя, присев на корточки, пускает, как майских мотыльков, кораблик хрупкий свой.

О, волны, тонущий в истоме ваших стонов, я ль обгоню купцов-хлопкоторговцев здесь, где под ужасными глазищами понтонов огней и вымпелов невыносима спесь!

Вот каким вышел у меня этот перевод «Пьяного корабля», произведения, начинаемого и кончаемого упоминанием о торговле хлопком и полного не только заныриванием в экзотику немыслимых Флорид, но и погружением в бездну не столь космических, сколь земных магнитно-рудных архипелагов, в чем, по-моему, и заключается не столь астральная, сколь индустриальная суть провúдений Артюра Рембо, замечательного поэта, которого никуда не денешь даже не столько из девятнадцатого, породившего его века, сколько из нашего двадцатого, безмерно возвысившего его столетия.

Та современная моей молодости поэзия, на которой я воспитывался, росла и под знаком Рембо! Под знаком либо приятия, либо отрицания Рембо. О прекрасном Рембо мне, ребенку, подростку, рассказывали, будто о герое печальной сказки, такие дорогие мне мудрые пестуны, как Иннокентий Анненский и Валерий Брюсов. С другой стороны, об ужасном, с его точки зрения, Рембо, авторитетно ворча, поведал мне Гиляров, профессор Киевского университета имени святого Владимира в книге своей — «Предсмертные мысли XIX века»,— с брезгливой неточностью, тщательно пересказавший по-русски это безобразное, с его точки зрения, произведение — «Пьяный корабль»: «Неразумен тот, кто отправляется в дальнее плавание за поисками обетованной земли».

Вольным переводом из Рембо: «Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод! Будем лопать камни, травы, сладость, горечь и отравы!» — угостил меня отец русского футуризма Давид Давидович Бурлюк, который, как я догадываюсь, не однажды декламировал Рембо и юному Владимиру Маяковскому, ибо кое-какие интонации не только из Уитмена или из Лермонтова, но и из Рембо мне слышатся в творчестве молодого Маяковского. Бурный протест вызвала у меня попытка Юрия Сопова, сибиряка колчаковских времен, изобразить Артюра Рембо торговцем людьми и слоновой костью, окруженным в Африке рабынями с глазами агатовыми и возвратившемся из Африки «в новенькой форме поручика» спасать Францию во дни первой мировой войны. А сколько еще я видел на своем веку попыток изобразить Артюра Рембо не столько революционером, бунтарем, певцом Парижской коммуны, сколько декадентом, «модернистом» в самом наинегативнейшем понимании этого слова. И, наконец, я помню, как однажды в Париже одна из милых и скромных французских школьных учительниц сказала мне, что Артюра Рембо отнюдь не следует считать популярным у современных французских читателей. «Может быть, у вас в СССР он и пользуется такой популярностью!» — сказала она, на что я не мог не ответить утвердительно.

Может быть, эти строки вызовут опровержение со стороны французских критиков и вообще просвещенных читателей. «Мало ли что могла взболтнуть вам какая-то простушка-учительница! — скажут мне.— Мало ли людей с дурным вкусом и плохо осведомленных!» И я буду рад

это услышать. Ведь действительно, так о Рембо, да и не только о Рембо, могут ответить и многие простушки-учительницы — мои соотечественницы. И я-то уж знаю цену известности, особенно международной, всеевропейской, и, зная это, я позволю себе закончить данную главу еще одним вариантом перевода предпоследней строфы «Пьяного корабля»:

«И если жажду я воды Европы, так пускай уж — холодной, черной, в выбоинах мостовой, где ты, дитя, грустя, присев на корточки, пускаешь, как майских мотыльков, кораблик хрупкий свой!»

Петефи

Написать о Петефи?

Я не литературовед и тем более не умею писать к юбилеям. Действительно, я перевел немало стихов и несколько поэм Петефи и таким образом попытался воссоздать на русском языке облик поэта и его музы. Это, я думаю, лучше, чем пересказать чужие стихи своими словами в прозе. А рассказывать даже на основании переведенных мною произведений Петефи о его жизни я, конечно, не сумею лучше, чем это сделали его соотечественники, например, Антал Гидаш и Дюла Ийеш. Что же остается на мою долю? Поведать о том, как я познакомился с творчеством Петефи и как я стал переводить его стихи? В самом деле, попробую сделать так, если это удастся и если это будет интересно для читателя.

Начать хотя бы с того, что действительно в двадцатом или в двадцать первом году я познакомился с мадьяром Миклошем, которого мы звали попросту Николаем. Я помню сторожку над Иртышом у пляжа, на который мы приходили купаться. Сперва Николай был только скромным приходящим помощником бакенщика, обитавшего в этой дощатой прибрежной сторожке. Этот бакенщик, бывший боцман Черноморского флота, старик почтенный и седой, но не настолько старый, чтобы быть участником Севастопольской кампании, за которого он себя выдавал, во хмелю бегал, бывало, с багром по берегу, крича: «Ура! Бей французов, англичанов, американов, японов, испанов, всех иностранцев!» — пока, споткнувшись, не падал в тину иртышского побережья. И, наконец, он упал, чтобы боль-

ше не встать. И тогда-то на смену воинственному старцу и воцарился в сторожке спокойный, даже меланхоличный мадьяр Николай. Он остался в Омске, женившись, как это случалось со многими военнопленными империалистической войны. И действительно, мы подружились. Он давал мне напрокат лодку-тоболку, чтоб кататься на высоких волнах при северном ветре, иногда я ездил с ним проверять и зажигать бакены, и порой при этом он невнятно, но музыкально пел печальные венгерские песни, ритм и фонетика которых, как я и рассказал впоследствии, помогли мне в свое время понять мотивы лирики Шандора Петефи. Но о Шандоре Петефи я узнал не от мадьяра Николая, а гораздо раньше, еще до революции, из старого номера журнала «Нива», в котором обнаружил портрет молодого красивого человека и подпись под ним: «Александр Петефи, венгерский поэт, пропавший без вести на поле боя». Возможно, это было связано тоже с какой-нибудь юбилейной датой. Во всяком случае, так я узнал о Петефи еще прежде, чем встретил кое-какие переводы его стихов. А мадьяр Николай ассоциировался у меня не с Петефи, а с другим мадьяром, которого за несколько лет до этого, году в шестнадцатом, я видел даже не наяву, а во сне. Я рассказал Николаю об этом сновидении: будто иду по улице Декабристов, бывшей Варламовской, а навстречу — мадьяр, бравый, красивый, в венгерке, длинноусый, вытаскивает пистолет и палит прямо в меня. «Добрый сон! — сказал мне на это мадьяр Николай.— Когда во сне нападают, ругают, бьют — это хорошо. Вот если целуют, обнимают, ласкаются — это плохо, к худому, к пакости! Да и не только во сне, а и позаправду: которые низко кланяются, расстилаются — тех опасайся, а другой лается, а душа-человек! Вот старик! Кричал: «Бей иностранцев»,— а сам меня пожалел, кормил, помощником сделал!»

Мадьяр Николай хорошо научился говорить по-русски. И, я думаю, не без моего содействия. Я помогал ему в этом. Я способствовал ему находить слова, усваивать обороты речи во время наших частых бесед, когда я расспрашивал его о венгерском житье-бытье. Мы не толковали тогда о Петефи, но говорили о многом, о чем я у Петефи впоследствии прочел: о вине, о конях, о цыганах, о Дунае и Тисе. И кое-какое понятие о Венгрии и венгерцах я, несомненно, получил.

И когда через четверть века ко мне в Сокольники явились два венгерца и я услышал от них предложение переводить Петефи, чтоб добавить к немногочисленным существующим переводам еще новые, это не показалось мне чем-то чуждым и невозможным. К тому времени я был уже совершенно зрелым человеком, имеющим гораздо большее, чем четверть века назад, представление об истории Европы и, в частности, Венгрии. И вот к числу ранее мне известных мадьяров, военнопленных германской войны и участников Октябрьской революции, прибавились еще и два этих славных товарища — поэт Антал Гидаш и его жена Агнесса. Она была первой из венгерок с которой я познакомился, и, кроме того, Агнесса, дочь Бела Куна, оказалась большой ценительницей как венгерской, так и русской поэзии и прекрасным редактором переводов советских поэтов с венгерского на русский язык. Я думаю, что здесь не стоит повторять всего того, о чем я высказывался и устно и письменно много раз. С каким тактом и умением Агнессе Кун удалось объединить на славное дело перевода венгерской поэзии на русский язык целое содружество советских поэтов, среди которых оказались и Пастернак, и Тихонов, и Маршак, и Левик, и Исаковский, и Заболоцкий, и Николай Чуковский, и многие другие, в результате чего появился сперва однотомник Петефи, затем «Антология венгерской поэзии», а вслед за этим и четырехтомник Петефи, а еще позднее и книги переводов из Верешмарти, Араня, «Человеческая трагедия» Мадача, книги Иожефа Аттилы, Эндре Ади! И если кто еще, кроме Агнессы и Гидаша, помогал мне понять Петефи, то, конечно, это был, тоже с помощью их ставший известным мне Эндре Ади. Ибо, как я полагаю, не кто иной, как Эндре Ади, замечательный венгерский поэт XX века, так хорошо не понял и не продолжил поэзии своего славного предшественника, великого поэта XIX века Шандора Петефи. Этот прекрасный и трагический Эндре Ади, будто бы проводивший массу времени в Париже и Ницце, сумел в своих произведениях лучше кого другого увидеть прошлое и настоящее своей родной страны, страны, растущей под знаком поэзии Петефи, Петефи, выразившего в своих творениях все наиболее высокое и трагическое, что было в венгерском былом, и революционное стремление в грядущее. В стихах Ади, в его видениях всего того, «что в грязных стойлах Гуннии творилось»,

в его повествованиях о будапештском Эльдорадо пьяных радостей, в его элегии о пареньке из рода кунов, который, «огромными глазами глядя на мир мучительных соблазнов, гонял стада по знаменитой венгерской степи Хортобади», и в поэтических провиденьях Ади грядущей революции для меня как бы воскресал и становился все более зримым и ясным пропавший без вести на поле боя Шандор Петефи. Но это опять-таки было уже несколько позднее того дня, когда я с помощью Агнессы и Гидаша сделал свой первый перевод из Петефи, и перед читателями предстал

Мадьяр со спутанными волосами
Над окровавленным челом!

В этом образе, как мне казалось, было что-то и от мадьяра вообще, и от Петефи в частности, и даже что-то от моего нового друга Антала Гидаша. Я, конечно, не сказал ему об этом, тем более что Гидаш, посмотрев на мною содеянное, проворчал:

— Дело пойдет!

И вот в течение ряда лет я перевел добрый десяток тысяч строк из стихотворений и поэм Петефи, да еще просмотрел при этом в порядке консультации и для сравнения со своими переводами почти столько же чужих переводов. И думаю, что в силу всего этого я имею право высказывать свое суждение о творчестве Петефи и о характере героев его произведений: я говорю, не выбирая, а первое, что приходит мне на память,— о пастухах из пушты, всадниках в овечьих шубах, летом вывернутых мехом вверх, о сельских и городских скромницах и гордячках, а главное, конечно, о героических борцах за венгерскую свободу и о вдохновенном борце за свободу мировую, имеющем в своем образе, несомненно, и черты самого Петефи,— об Апостоле, апостоле этой борьбы.

Апостол — говорю я и утверждаю, что не случайно при чтении этой поэмы Петефи «Апостол» мне вспомнился другой апостол — «Тринадцатый апостол» Владимира Маяковского! Чем больше я углублялся в творчество Петефи, тем больше находил в его стихах необыкновенного и удивительного сходства со стихами Маяковского. Я уж не говорю о понятном сходстве издевательских стихов в адрес критиков. Это естественно. В общем понятно и смысловое и интонационное сходство стихов о виршеплетах.

У Маяковского:

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Или еще:

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!

У Петефи:

Попробуй их останови,
Чирикающих о любви,
Молокососов желторотых!
Я говорю о виршеплетах.
Молю их: дайте нам покой.
Казнить не надо род людской.
Любовь! А что она за птица?
Скажите,— где она гнездится?
Похлебка, что сварили вы
В кастрюльке глупой головы,—
Все эти клецки восклицаний
В шафранной жижице мечтаний...
Подумайте: любовь ли это?

Не напоминают ли эти строки описанное Маяковским из любвей и соловьев варево.

Я бы мог привести еще целый ряд примеров единомыслия двух великих поэтов. Но самое удивительное — это похожесть отношений Петефи и Маяковского к нашему дневному светилу. Все мы помним дачный разговор Маяковского с солнцем:

Я крикнул солнцу:
— Погоди!
послушай, златолобо:
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!

А вот что однажды крикнул солнцу Петефи:

Сударь, стойте, удостойте
Хоть лучом внимания!
Почему вы так скупитесь
На свое сияние?

Конечно! Оба они, оборонявшиеся от глупых критиков, издевавшиеся над пошлыми виршеплетами, поэты — борцы, пророки, апостолы, не могли не беседовать с солнцем. Это в их натуре.

Петефи, как и Маяковский, поэт революции, лирик, в сотни образов облекающий любовь, возбуждал и возбуждает до сих пор не только эмоции, но страсти, споры. Так, я думаю, что породит споры и это мое заявление о такой уж огромной его схожести с Маяковским. Может быть, одни скажут, что никакой уж особенной такой схожести и нет, а другие скажут, что это я, переводя стихи Петефи, столь родственные по духу со стихами Маяковского, вольно или невольно придал им некий элемент и внешнего сходства. Но едва ли это так: Агнесса не допустила бы отсебятины.

Перевод стихов Петефи, хотя и был для меня почти таким же волшебно-увлекательным процессом, как и создание собственных стихов, все-таки сопровождался еще более упорным и, несомненно, более кропотливым трудом. Шла борьба за тончайшие нюансы, за то, например, можно ли передавать явно мужские окончания Петефи, звучащие на мой слух дактилическими, именно так, как это звучит для меня. Сохранять ли силлабику в некоторых так звучащих песнях? Или еще: как быть с рифмами? Надо ли и можно ли пытаться передать особенности звучания венгерского стиха, как быть с рифмующимися словами, звучащими по законам венгерской фонетики созвучно, а по-русски — разноударно, например, как «Чонтвари — пахари — черт побери»? К согласию мы приходили порой далеко не сразу. Чаще всего ясность в наши препирательства вносил терпеливо слушавший наши споры Гидаш. Но иногда и его авторитетное вмешательство не воцаряло меж нас согласия. И однажды Агнесса, отчаявшись убедить своими доводами, даже швырнула в меня, насколько мне сейчас помнится, энциклопедическим словарем. Я хохотал: она напоминала мне агрессивного мадьяра из доброго сна, и вообще мне было очень интересно увидеть, как вдруг из этой культурнейшей женщины выпорхнул древний гуннский дух, без наглядного понятия

о котором мне было бы невозможно проникнуть в стихию мадьярского бытия, из чьей глубины и возникал для меня образ Петефи.

Что еще могу я сказать о нем? По тем признакам, которые мне удалось уловить в его произведениях и повестях о его жизни, он представлялся мне юношей и затем молодым человеком настолько жизнедеятельным, энергичным, одаренным, что к двадцати годам он впитал в себя не только литературу и фольклор родной своей страны, но усвоил и несколько иностранных языков и освоил, как говорится, культурное наследие всего цивилизованного мира. Он сам об этом сказал лучше, чем мог бы сказать кто-нибудь другой:

Что душа бессмертна — знаю!
Но не где-нибудь на небе,
А вот здесь, на этом свете,
На земле она блуждает.

Между прочим, вспоминаю:
Кассием я звался в Риме,
В Альпах был Вильгельмом Теллем,
И Камиллом Демуленом
Был в Париже...

Кассием он звался в Риме! Тем самым Кассием, который с Брутом готовил покушение на Цезаря. Безусловно, он знал и древнюю литературу, и творения тех, кто предвозвестил Великую французскую революцию, и, конечно, знал Байрона, Гюго, Гейне. Он переводил Беранже и Томаса Мура. Он перевел на венгерский «Кориолана» Шекспира. Несомненно, он усвоил все лучшее, что ему могло дать человечество, и все это не только помогло ему создать свои самобытные, новаторские творения, но и помогло стать неутомимым, необыкновенно жизнестойким общественным деятелем, политиком в лучшем, в самом высшем смысле этого слова, революционным вождем, борцом за свободу своей страны и за свободу мировую. И если говорить о нем как о личности, индивидууме, человеке, то это был человек в самом высоком смысле этого слова, человек, близкий к идеалу гармонического развития, человек, отнюдь не преждевременно рано, но вовремя и естественно развивший свои способности, вовремя возмужавший человек, который за свою, увы, короткую жизнь сделал столько, сколько не по силам сделать целому милли-

ону инфантильных недорослей, какими еще и до сих пор кишит человечество и которые не понимают, что

Мир — не дитя! Он зрелый муж отныне!

Сказавший так имеет право на бессмертие. Недаром в народном сознании он, пропавший без вести на поле боя, слыл не за мертвеца, а за героя, который вот-вот возьмет да и объявится снова. Бессмертный Петефи остался бессмертным не только в сознании венгерского народа, но и народов России.

Он жил в воображении передовой русской молодежи сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия: в журнальных публикациях переводов из Петефи поэта-революционера Михайлова и во многих других произведениях русских прогрессивных авторов — в стихах, появлявшихся под названием «Из Петефи» или «На мотив Петефи». Но больше того: некоторые старые, без указания автора и переводчика, переводы стихов Петефи можно найти в дешевых народных песенниках, которые разносили по Руси в своих торбах офени-коробейники, подобные прадеду моему Мартыну Лощилину, а может быть, и в их числе и он сам. В этих песенниках так же безымянно, как и пушкинская «Черная шаль» или лермонтовское «Выхожу один я на дорогу», присутствовали и песни Петефи.

Из пламени рубашка

Несправедливо забывают об Иване Ерошине. Несправедлив к нему оказался и я, как-то не возобновив с ним контакта уже позднее, во второй половине века, здесь, в Москве, когда мы нет-нет да и сталкивались где-нибудь на Арбате: «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — и только. Я понимаю, что надо было взять его под руку и сказать: «Ваня! Когда-нибудь я возьмусь за мемуары и обязательно напишу о тебе, так ты уж, пожалуйста, расскажи все то, что я о тебе не знаю, чтоб еще убедительнее была моя будущая повесть о тебе, старом правдисте, поэте милостию божьей!»

Но я не сказал ему так. И не услышал подробностей. И поэтому рассказываю лишь о том немногом, что знаю.

И это лишь несколько эпизодов, скорее даже не из его, а из моей жизни...

Зима. Мороз. Забор, на котором еще недавно, осенью, трепались коричнево-бурые, под цвет увядших листьев, отпечатанные на грубейшей оберточной бумаге колчаковские газетки. И вот теперь вместо них — разворот «Советской Сибири». И на этом строгом, военно-коммунистическом фоне отпечатано, нет, не черным по белому или по серому, а будто всеми цветами радуги: «Заиграй, рожок ты мой пастуший!»

Литературная страница. И в ней, рядом с «Пантократором» Есенина, эти стихи, подписанные именем Ерошин Иван. И я читаю эти стихи если не как откровение,— «Пантократор», конечно, сильнее! — то, во всяком случае, как радостное опровержение. Опровержение толков о том, что большевики не признают лирики. Опровержение того, что Советская власть признает лишь политико-агитационную поэзию, а если и терпит лирику Есенина или Блока, то лишь для виду, за то, что эти поэты ее славословят. А вообще в ходу лишь Пролеткульт и всякие «кузнецы» и «Кузницы». А поэзии, лирике — крышка! Давно ли вот с этих самых газетных тумб и заборов самый просвещенный, мыслящий, интеллигентный из подвизавшихся в белом стане поэтов — Георгий Маслов — вещал о том, что вообще в этом мире «забыты рощицы и пасеки, приюты Граций и Харит, чтят Феокрита только классики, и Дельвиг в гробе мирно спит!» «Но, оказывается, чтят Феокрита не только классики, а и редактор «Советской Сибири» Емельян Ярославский!» — по-мальчишески дерзко подумал я и решил во что бы то ни стало познакомиться с этим Ерошиным Иваном, о котором мельком уже слышал то ли от Антона Сорокина, то ли от Георгия Вяткина. Однако не помню, где я осуществил это намерение — на литературном ли собрании в редакции «Советской Сибири» на Мокринском форштадте в Омске, когда Всеволод Иванов читал главы из повести «Фарфоровая избушка», или уже в Новониколаевске, годом-другим позже. Помню только, что Ерошин Иван оказался по виду своему отнюдь не идиллическим пастушком Лелем. Это был невысокий, сутулый, как теперь мне вспоминается, довольно еще молодой, лет под тридцать, но, как тогда мне казалось, уже довольно немолодой, явно старообразный человек, облаченный в пиджачок, показавшийся мне похожим чем-то

на сюртучок. Он был как бы «одним из тех чудачков, которые незаметно для самих себя походят на мужичков-простачков. Даже и чемоданчик свой несет, как сундучок, в котором лежат в футлярчике отнюдь не гофмановские скрипочка и смычок»,— так по молодости пытался я определить характер Ивана. Лицом же своим он напоминал мне одновременно Сократа, Верлена и какого-то азиата или, может быть, угрюмого гунна. Впрочем, придя в хорошее настроение, он вдруг начинал выглядеть удивительно юно, особенно когда складывал большой и средний палец правой руки, поднятой для щелчка, издаваемого в знак восхищения. А восхищался он часто и многим, и в том числе не только Есениным и Кольцовым, но и Эсхилом, Вергилием, Ведами и Эддами. Интересовался он не только поэзией, философией, но и этнографией; во всяком случае, с большим вниманием смотрел на работы сибирских художников, особенно алтайца Гуркина, и с восхищением слушал, как подражает голосам леса и гор приезжавший в Новосибирск молодой алтайский поэт Павел Кучияк.

Таким предстал передо мной Иван Ерошин. Я надеюсь, что никто не посетует на меня за попытку создать этот словесный портрет поэта. Он не нуждается в ретуши, как, скажем, фотография в книжке «Антология сибирской поэзии» (Иркутск, 1967), где Ваня отретуширован прямо под Дориана Грея. Но наряду с этим приглаженно-неточным изображением там приводятся строгие и, видимо, точные данные об Иване Ерошине, свидетельствующие, что он, один из зачинателей советской поэзии в Сибири, родился в 1894 году в семье бедняка в селе Ново-Александрово Рязанской губернии, а в 1907 году семья его отправилась искать счастья в Сибирь. Там еще сказано, что одним из первых поэтов России Ерошин приветствовал стихами на страницах газеты «Социал-демократ» Великую Октябрьскую революцию. Кроме того, Ваня говорил мне, что он имел счастье сотрудничать в дореволюционной еще «Правде». Таким образом, как я понимаю, Иван Ерошин, прежде чем вновь оказаться в Сибири в начале двадцатых годов, уезжал в Петербург и жил там, о чем свидетельствует одно из его стихотворений: «Петербургская комната», та комната, где «испуг и оторопь, не вылетев, застыли, портьеры мягкие изводит едко пыль, за полотном картин химеры опочили, гнилой эротикой жеманный бредит стиль, в углах попрятались изысканные сплетни, за-

думчив шкаф с недоуменьем книг». Вот что я знал об Иване Ерошине, сыне переселенца, дореволюционном правдисте, пришедшем с Пятой армией в отвоеванную от белогвардейцев Сибирь и возгласившем:

Для сердца чуткого милей
Поселков грязные дороги,
Чем бритые ряды аллей,
Дома архитектуры строгой.
Есть вечность у простой избы
С ее приветливою печью,—
Там знаки тайные судьбы
Сплелись с живой мужицкой речью.

Он, любитель классической древности и русской старины, устремился из пошлой петербургской комнаты, из мира акмеистов и пролеткультовцев в Сибирь, как в наиболее крестьянскую область тогда еще крестьянской Руси. Но если Ваня сперва и привлек меня, отнюдь не пейзанствующего, своей идиллической пасторальностью, свидетельствующей о терпимости Советской власти, которая отнюдь не требовала, как некоторые отдельные ее представители, превращения поэтов-лириков в поэтов-политиков, то вскоре именно на этой почве у меня и возник конфликт с Иваном Евдокимовичем.

Суть была в том, что, став деятельным сотрудником газет и журналов и разъезжая по заданиям редакции в деревенские командировки, я лицом к лицу столкнулся со всем тем, что Маркс называл идиотизмом сельской жизни. Путешествуя по не столь бедному, сколь дикому и грязному Зауралью двадцатых годов, я однажды до того рассердился на трахоматозность и дизентерийность этих хлебных краев, что написал небезызвестное стихотворение «Наш путь в тайгу»:

Наш путь в тайгу. И этот дальний путь
Не верстами, столетьями я мерю.
Вооруженный, чувствую я жуть
И чувствую громадную потерю.
Как бы исчезли за горбом земли
Завоеванья поколений многих.
Нет городов, лишь изредка шпили
Да крестики часовенок убогих...
По избам крик младенцев и овец,
От смрада в избах прокисает пища.
Будь проклят тот сентиментальный лжец,
Что воспевал крестьянское жилище!
Я думаю о нем, как о враге,
Я изорвал бы в клочья эту книгу! —

написал я и напечатал эти стихи, вовсе не думая и даже не представляя, что при встрече со мной на улице Новониколаевска милейший Ваня Ерошин воскликнет укоризненно и горько:

— За что ты меня так обидел?

— Что ты, Ваня? — сказал я.

— Ты изорвал бы в клочья мою книгу! Ты думаешь обо мне как о враге!

— Да это вовсе не про тебя лично я так думаю,— сказал я, и сказал это вполне искренне.— Когда я писал это, я думал скорее о Жан-Жаке Руссо. Может быть, о Клюеве, но, конечно, не про тебя, Иван!

— Как не про меня, когда про меня,— возразил он.— Уйди с глаз долой, я на тебя сердит. Как ты мне подгадил! Теперь уж подхватят.

И он был прав, хотя и не был прав. Прав в том, что мое стихотворение действительно заметили, цитировали, сопоставляли мою точку зрения с ерошинской, причем чаще всего не в его пользу. А не прав был в том, что я ему подгадил, напортил. Мое стихотворение ничего особенно нового к тем нападкам на Ерошина, какие уже были, не добавило. Об этом лучше всего сказал, пожалуй, в статье своей «О поэтах» Вивиан Итин. Он говорил, что Ерошин, в стихах своих требовавший «дать песням крылья Серафима, устам избы — словесный гром» и за это подсознательно ждавший «голгофы», «вносил в «Сибирские огни» много противоречащего задачам журнала», но «за это подверглись нападкам скорее «Сибирские огни», чем Ерошин», а над Ерошиным не смеялись, а тянули ему товарищескую руку, видя в нем настоящего большого поэта. Это последнее совершенно точно. Именно такого поэта видел в нем и я. Но совершенно точно и то, что, полемизируя с Жан-Жаком и Клюевым, я попал в Ерошина, и это попадание оказалось для него столь болезненным, что он рассорился со мной не на шутку. Но если поэзия нас разъединила, то она же нас и сблизила вновь.

Однажды летним вечером, вернее, ночью, мы компанией возвращались, насколько помнится, от Зазубрина, где я и встретился на этот раз с Иваном почти как с незнакомым человеком. Мы вышли из гостей все вместе, но Иван упорно держался в стороне от меня. И вдруг, это было на углу Красного проспекта, одного из нас, молодого поэта, задержали. Неопытные, видимо из выдвиженцев,

агенты уголовного розыска ошибочно приняли нашего товарища за личность, похожую по описанию на какого-то таинственного похитителя велосипедов или автомобилей. Пока глупое недоразумение выяснялось, Иван постепенно впадал все в большее и большее волнение и раздражение, перешедшее наконец в настоящую ярость.

— Как! — воскликнул он, напирая на детективов.— Как это можно так ошибаться, принять поэта за злоумышленника! Гений и злодейство совместимы ль?

И я, для того чтобы покончить с этой тяжелой сценой, сказал как можно более ласково:

— Ну, Ваня, довольно. Прости им, не ведающим, что творят!

И тогда Иван Евдокимович, вдруг успокоившись, улыбнулся. И, глянув мне в глаза своими внезапно подобревшими глазами, простил не только сыщиков, но и меня. Насколько помню, он меня даже обнял.

А вскоре, может быть, через месяц, может быть, через два, он даже позвал меня в гости. Не то чтобы на новоселье, но, как он выразился, выпить чайку в новой его берлоге, в новом домике, комнатку в котором ему тем временем удалось получить.

Дом этот был, как шутили мы, молодые остроумцы тех дней, одним из первых недоскребов сибирского Чикаго. По сравнению с бревенчатыми и дощатыми домишками старого Новониколаевска он действительно казался сугубо урбанистичным. Мы поднялись на второй или третий этаж. Проведя меня уже порядочно захламленным отрезком коридорной системы, Ваня плоским американским ключом открыл дверь своего обиталища. Комнатка, в которую вступил я, оказалась довольно большой, чистой и светлой, но почти совершенно пустой, если не считать столика, стульчика, коечки да еще беспорядочной кучи утвари на подоконнике.

— Согреем чайку! — сказал Ваня, беря с подоконника керосинку. Но, помахав ею в воздухе, он объявил: — Эх, беда, керосинчику мало! Не хватит, забыл совсем!

Не скрою, что я разозлился. Нечего было и звать чай пить, если нет керосина. И вообще вся обстановка ерошинского жилища пришлась мне не по вкусу.

— Не хочешь пить чай, водкой угощай! — в рифму сказал я, будто бы добродушно кивнув на бутылку, стоящую в сторонке.

— И водочки нет, выпита! — возразил Ваня еще ласковее, что разозлило меня еще больше.

— И вообще у тебя ничего нет. Одна мерзость запустения! — воскликнул я. И внезапно, собравшись с мыслями, я высказал все то, что у меня накопилось в его адрес.— Мерзость запустения! — воскликнул я.— Слушай, Иван! Вот ты, крестьянствующий крестьянин, достойный рязанский земляк Есенина, ты осудил в прекрасных стихах своих свою петербургскую комнату за ее интеллигентскую плесень. И вот ты, дореволюционный правдист, явился в новую Сибирь, чтоб воспевать избу со всеми ее домоткаными атрибутами. Ну, ладно, я допускаю и такой случай! Но что ты создаешь здесь вокруг себя взамен петербургской комнаты и даже этой мифической избы? Господи боже мой, такого убожества, как тут у тебя, я не видал даже в самых гнусных переселенческих балаганах! Ну, правда, ты недавно еще въехал, но я вижу, что ты и вовек не устроишься более или менее культурно. И я знаю, почему. Потому, что ты, Иван, и мужик уж только на словах, а по существу давно не мужик, но и не горожанин, хотя никуда от города не денешься... Я знаю, кто ты, ты богема, черт тебя подери. Так вот ты и кочуешь по городам и по столетиям, по тысячелетиям, по древностям, по индустриальным современностям, по городам, по весям, по редакциям, по выдуманным избам и по пустым комнатам — холостяцким пристанищам, ты, богема, цыган!

— Я богема? Цыган? — нахмурившись, переспросил меня Ваня.— Нет! Врешь! Постой, я тебе скажу... Я... знаешь, кто я?

И, встав в присущую ему позу, то есть несколько расставив ноги, чуть-чуть ссутулившись и сложив для щелчка большой и средний пальцы правой руки, он произнес:

Я, Василий, выпил чаю чашку,
Я надел из пламени рубашку.
Где мой конь, моя витая плетка?

И, щелкнув наконец пальцами, он улыбчато завершил:

Еду в гости! Будет ли там водка?

Услышав это, я увидел, как Иван Ерошин, сбрасывая свои одежды ветхие, старые свои обличия — и мужицкое, и городское, и богемное, то есть нечто интеллигентское, книжное,— превращается в того, кем он если еще и не

стал, то искренне хочет стать. Я догадался, почему этот младший брат Есенина, почитатель Лукреция и Эпикура, с таким восторгом слушал горные напевы алтайского энциклопедиста, поэта и просветителя Павла Кучияка. Я понял, почему Ваня, к огорчению Вивиана Итина, отказался лететь на Алтай с агитсамолетом, говоря, что предпочитает путешествовать в Беловодье пешком. Да, он хотел идти пешком с посошком, как встарь искатели дороги в царство пресвитера Иоанна, не нашедшие этого царства, но залюбовавшиеся на монголовидных алтайских дев! Я увидел, как рязанец Иван Ерошин на моих глазах превращается в некоего алтайца Василия, крещеного, обрусевшего или уже наполовину русского, но одинаково уже далекого и от шаманизма и от христианства, а приближающегося волею судеб... к чему? Да именно к тому, о чем он сейчас толкует.

— Интернационализм! — медлительно произносил это слово Иван Ерошин.— Что такое интернационализм, как не духовное согласие? Но каждый идет к этому своей дорогой. К этому великому согласию между народами. Один идет к этому через немецкую философию, другой через французскую, а он, Иван Ерошин, идет через избы и комнаты, через чумы и юрты к восстановлению этого родства, ибо бог знает, кто кому предок и кто с кем когда-то разошелся в разные стороны после вавилонского столпотворения.

Мне теперь трудно, конечно, восстановить весь этот его монолог, но я точно помню, что, приведя в какой-то связи высказывания Есенина о Москве, на чьих куполах опочила золотая дремотная Азия, он довольно иронически высказался почему-то о Клюеве и, упомянув об Индии духа, остановил свой горящий взор на мне и с такой же внезапностью, как недавно простил меня за враждебный стих, произнес примирительно:

— Да вот и ты, за что я тебя и люблю, хоть ты меня и поносишь, вот ведь и ты правильно написал: «Это вздор, что в Ташкенте спрятаны все индусские главари, а в Москве в эту ночь отпечатаны англо-русские словари! Так не делается история! Ты сначала свой терем разрушь, из низин поднимись на предгория и увидишь тогда Гиндукуш!» Я знаю, знаю — этот стих у тебя не печатают, но ничего, не печалься, когда-нибудь придет время, и напечатаешь! Будь спокоен!

Нюрин камень

Нынче летом в деревне, где мы отдыхаем, продолжали вести водопроводную линию. И неподалеку от того места, где в прошлом году я нашел во рву либо остаток лепного церковного карниза, либо глиняную конкрецию, похожую на него, я и бродил в надежде найти еще что-нибудь хорошее, но на этот раз не обнаружил ничего.

Однако тут подъехала на своем велосипедике Нюра, шестилетняя художница, красочные рисунки которой я высоко ценю, и сказала мне, что сейчас покажет найденный ею интересный камень.

Этот камень, вынутый ею из велосипедной сумки, как мне сперва показалось, был отпечатком большой, с мой кулак величиной, раковины, но, рассмотрев внимательнее, я понял, что эта окаменелость, напоминающая помесь дельфиньей морды с мордой морского льва, не что иное, как осколок древнего ископаемого кораллового рифа.

Тут подошли Нюрины папа и мама, местные жители.

— Вот остаток древнего моря! Коралл,— сказал я.— Все село стоит на месте древней лагуны, покрытой позже ледниковыми валунами! Этот камень — осколок коралла.

— Возьмите его себе,— сказала Нюра.

Я было протянул руку, но затем мне стало совестно:

— Забирай его себе и храни на память,— сказал я.— Ты, Нюра, хорошо рисуешь, у тебя развито чувство света, чувство прекрасного. А этот камень прекрасен, потому-то ты его сама и нашла, он не мог не обратить на себя твоего внимания. Возьми, возьми. Вот будешь учиться и тогда узнаешь, что это за камень.

И, обращаясь уже к взрослым, то есть к Нюриным родителям и подошедшему тем временем художнику Комарденкову, я сказал еще несколько слов о том, что раз девочка сама нашла камень, то этот камень — ее, и вообще будет очень хорошо, если ребята станут искать такие вещи и, может быть, организуют школьный музей или хотя бы украсят такими геологическими находками клумбу перед школой.

Нюрины родители слушали молча и, как мне казалось, одобрительно, но старик Комарденков, усмехнувшись, сказал, что ничего этого не будет, то есть ребята не

станут искать камней, пока не вырастут. Нюра же, приняв из рук моих камень, сказала своей маме:

— Возьми!

Затем каждый пошел своей дорогой, в том числе и я, думая о славном коралле, чувствуя, что поступил правильно, отдав его той, которая его нашла, но все-таки об этом сожалея.

Подул суховей. Я не сказал, что вообще это было во время страшной жары и пожаров на торфяных болотах по ту сторону Москвы, а точнее — в тот день, когда слабый восточный ветер, нагонявший на Подмосковье торфяную дымку, сменился на завывание южного ветра — знойного суховея, предвещавшего наконец победу западных циклонов над гигантским, наделавшим столько бед антициклоном.

Итак, подул суховей. И в эти дни я лишь однажды увидел Нюру, напряженно мчавшуюся на своем велосипедике против южного знойного ветра.

— А камень? — крикнул ей я.— Где камень?

— Не знаю! — ответила она мне сурово и, приостановившись, добавила: — Я же отдала его маме...

В ту же ночь после апокалипсически душных сумерек, подавив нависшие дымы, разразилась гроза. Ливень смыл пылевые маски с лика земли. Травы воспрянули, став снова зелеными. Деревья перестали походить на шелестящие призраки. Камни, валяющиеся на полях и дорогах, потеряли свою обезличенность и перестали быть однообразными булыжниками, возвратив себе надлежащую форму, яркий цвет и отчетливую структурность. И, глядя на эти пятнадцатитысячелетние валуны с руническими царапинами на сферических брюхах и на в сотни раз еще более древние осколки вулканических пород, занесенных сюда великим оледенением, я шел по дну древней лагуны, превращенной ныне в подмосковную деревенскую улицу. Я шел, надеясь найти еще один обломок кораллового рифа, если не такой прекрасный, который достался Нюре, но какой-нибудь другой, все же на него чем-нибудь похожий.

И вдруг у водоразборной колонки я увидел не что иное, как тот самый Нюрин камень! Я увидел его прелестную дельфинью морду, с улыбкой глядящую на меня из лужи: «Я здесь! Ты меня отдал, но я к тебе вернулся, нашел тебя снова!»

И тут, пусть это не покажется читателю выдумкой,— я ничего не придумываю, а так и было,— на меня нахлынули волны воспоминаний.

Я вспомнил себя шестилетним или семилетним, извлекающим из глинистой заводи на берегу Иртыша мельчайшие камушки, почти крупицы, привлекательной формы и заманчивой раскраски. И я, маленький, как маленькая Нюра, от кого-то большого и старого, как я теперь, слушаю, что эти камушки — осколки горных пород, принесенных Иртышом с далеких Алтайских гор, оттуда же, откуда на баржах привозят в Омск каменные, гранитные глыбы для тротуаров, а может быть, и пьедесталов, и глыбы для памятников...

А затем, также ассоциативно, от воспоминаний о разговоре про глыбы для памятников на желтом берегу, над которым высились огромные, черные, как Ноевы ковчеги, силуэты иртышских барж, я перенесся воображением в шестидесятые годы, на черноморский, восточно-крымский коктебельский берег, точнее — на так называемый дикий пляж между спасательной станцией и Лягушачьей бухтой под сенью потухшего вулкана Карадаг. Да, именно там я шел среди беспорядочного нагромождения глыб и вдруг оказался как бы на острове Пасхи, среди каменных идолов, стоящих лицом к морю. Я остановился, изумленный: ничего подобного еще вчера здесь не было. Кто это воздвиг? И тогда из моря вышел человек и спросил:

— Нравится?

— Это вы сделали? — воскликнул я.

— Это я!

— Кто вы?

— Я — Лаптев,— скромно ответил он.

— Это прекрасно! — сказал я, пожимая ему руку.— Как хорошо бы украсить такими изваяниями пляжи нашего дома отдыха и соседнего пансионата, там, где, знаете, какие-то козочки на пьедесталах. Ах, как прекрасно вы сконструировали эти глыбы!

— К вечеру все это исчезнет! — пожав плечами, ответил скульптор.— Ничего этого не будет, не останется.

Это был архитектор Лаптев, на отдыхе развлекающийся превращением бесформенных нагромождений в пленительные изваяния. Он ничего не дробил, не ковырял, не обтесывал, а просто собирал, складывал воедино отдельные произведения времени, солнца, воды и ветра, способ-

ные слежаться в одно целое, приобретая с помощью человеческого воображения и сил гравитации небывало прекрасные формы. И этот творец прекрасного поведал мне, что созданное им за день к вечеру разрушают не волны, не ветер, а люди — «дикие» купальщики с этого «дикого» пляжа, которым почему-то нравится разрушать, ниспровергать каменные изваяния, вместо того чтоб, лежа подле них, любоваться ими здесь, у моря, из которого выскакивают дружелюбные дельфины.

Вот о чем напомнил мне Нюрин камень, улыбающийся из циклонической лужи, словно ироническая дельфинья морда: «Я здесь! Я брошен! Ты говорил: дети украсят мною клумбу школьного сада. Ничего этого не будет. Тебе же сказал это архитектор Лаптев, то есть не он, а мудрый художник Комарденков!»

Но тут мне вспомнился другой берег — балтийский! Семь лет тому назад мы отдыхали в Паланге на даче, чей фасад украшен изображением сольного ключа,— дача принадлежала композитору Дварионасу, а попали мы туда по любезной протекции милейшего Эдуардаса Межелайтиса, который попросил хозяев приютить нас на время их отсутствия. Лето случилось необычайно холодное, неприветливое, неспокойное. Из Дании морем приплыла еще и беда — колорадский жук! Чтоб предотвратить нашествие этой нечисти на картофельные поля, берега дезинфицировались и опахивались особо тщательно, как нынче опахивались подмосковные поля от лесных пожаров. И вообще в природе творилось что-то тревожное: зеваки с пирса будто бы увидели в море чудовище не чудовище, а, по крайней мере, китенка, но другие говорили, что это просто-напросто морж. Все только и толковали об этом китенке или морже. И вот, идучи по серым дюнам, за которыми прятались от холодного ветра закутанные в полотенца и одеяла любители свежего воздуха, я отошел далеко в сторону и заметил у берега что-то черное, тускло блестящее. Не моржонок ли этот самый, подумал я, был выкинут бурей на берег и подох или подох в море, а потому и очутился на берегу? Но, приблизившись, я понял, что это камень, камень, вообще говоря, редкий на здешних берегах. Этот камень, одинокий, да еще и черный, таившийся до недавнего времени, должно быть, в песке, а теперь вымытый из песка прихотью волн, показался мне столь желанным, что я крикнул ему:

— Полежи малость, я сейчас вернусь!

Торопливо я возвратился на дачу и попросил у нашей хозяйки — Ядвиги Петровны, родственницы жены композитора,— дать мне тачку или тележку, ибо я нашел камень.

— Какой камень? — спросила Ядвига Петровна.— Удивительный камень, вы говорите? Давайте-ка пойдемте сперва поглядим!

И, вытерев руки, она недоверчиво пошла следом за мною.

Но, увидев камень, почтенная женщина отбежала к полосе древонасаждений и стала энергично собирать хвойные ветки.

— Что вы хотите? — спросил я.

— Прикрыть! Чтоб никто прежде нас не увез камня, пока мы не вернемся с тачкой! — объяснила она.— Это действительно прекрасный камень.

Грешным делом я подумал, что камень ей надобен по хозяйству: употребить как пресс на кадушку с солеными огурцами или что-нибудь в этом роде. Но когда мы благополучно завезли камень во двор, Ядвига Петровна воскликнула:

— Куда же лучше его установить? Это надо обдумать, где красивее.

— На клумбу, под вашим окном, разумеется! — сказал я.

И мы установили камень в центре клумбы, среди цветов, стоймя, да так удачно, что он сразу же принял облик живого существа, задравшего голову вверх, к окну комнаты второго этажа, где обитала Ядвига Петровна.

— Совсем как дуровский тюлень в цирке ловит мячик! — воскликнула Ядвига Петровна.

Вот что я подумал, о чем вспомнил, глядя на Нюрин камень, валяющийся в лужице.

Почему он здесь? Обронили его случайно или бросили равнодушно? А быть может, и раздраженно. В раздражении на меня! За то, что в такое тяжелое время, когда по ту сторону Москвы горят торфяники и в мглистом небе виснет солнце Шатур, больше похожее на Сатурн, если не на Юпитер, я, дачник-бездельник, брожу среди полей, на которых сохнет картошка, потому что дождя было мало, брожу по этим печальным полям и, толкуя об ушедших морях и недобытых подземных водах, ищу какие-то ка-

мешки. Конечно, тут есть за что рассердиться и швырнуть ко всем чертям мой подарок!

Так решил я и поднял с земли Нюрин камень. Конечно, подумал: этот камень был подарен не вовремя. А вообще-то чувство прекрасного отнюдь не чуждо и жителям этих мест. Ведь из такого же теста сделана, как и Нюрина мама, ее соседка, наша дачная хозяйка колхозница Галина Михайловна. Она так хорошо рассказывала мне о лесном синем камне, на котором никогда не высыхает слезинка росы или росинка слезы. А муж Галины Михайловны — Борис Григорьевич! Как великолепно мистифицировал он меня загадочными камнями.

— Как вы думаете, что это за дары природы? — спросил он. И так как я не мог разгадать, что это за вулканическая, с бурно кипящими наплывами порода рыжего цвета, он объяснил: — Это накипь из котлов в нашей котельне! Вот какие чудеса творит наша кочегарка!

Он привез эти чудеса тоже на велосипеде, одно держа в руке, другое — под мышкой, и не бросил. Не бросил! И теперь, проходя мимо терраски, где у меня выставка всех сокровищ, он останавливается, чтоб полюбоваться и на свой вклад в коллекцию. Пусть же полюбуется и на Нюрин камень, подумал я, ставя дельфинью мордочку среди других находок.

И в тот же вечер я отправился в обычную прогулку вокруг деревни.

Смеркалось. С северо-запада, из-за реки, надвигалась новая, желанная гроза, и, чтоб успеть до дождя, я, сокращая путь, пошел мимо оврага, превращенного в свалку. И тут при вспышке молнии я увидел, что над обрывом оврага стоит тачка, а под обрывом копошатся люди. И при следующей вспышке молнии я разглядел, что эти люди не кто иные, как Нюрины родители, и вообще эти молнии сверкали как бы для того, чтобы осветить то, что они делают. И я понял — они собирают и грузят на тачку кирпичи, сваленные в овраг за ненадобностью.

Все было ясно: они собирали брошенные кирпичи, чтобы употребить их по хозяйству — либо для ледника, либо для парника, либо для заборчика, либо для тротуарчика. Так при свете молний все мне стало предельно ясно: бросившие недавно за ненадобностью легкий камешек, они теперь собирали тяжелые кирпичи. Вот она — проза жизни!

Конечно, они это делают не из жадности и не из скопидомства, сказал я себе. Они живут, как и все тут, в колхозе-миллионере, весьма прилично, у всех тут есть и телевизоры, и велосипеды, и швейные и стиральные машины, но вот со стройматериалами — каким-нибудь тесом, лесом, руберойдом, трубами, плитками, кирпичами — дело хуже, продажа таких товаров не налажена. Они бы, конечно, купили свежего кирпича, но, видно, его нет, и вот они подбирают старый.

Но на другой день, взглянув на их крылечко, я не поверил своим глазам: на ступеньке стоял тот самый Нюрин камень.

Я не решился зайти к ним, постеснялся. Да и торопился: ждала машина, чтоб возвращаться в город. Но яснее, чем при вспышке молнии, я вижу — на ступеньке стоит Нюрин камень. Или его двойник!

Ведь возможно и это. Возможно, что я нашел у колонки второй камень, в точности такой же, как и первый, ведь природа — великая выдумщица и мастерица.

Как раз вчера, уже заканчивая начерно эту главу, я купил в магазине Академии наук замечательную книжку И. Н. Крылова «На заре жизни», в которой рассказывается, между прочим, и о том, что природа не только хранит останки исчезнувших жизней, но и изготовляет искусные подделки — двойники очень сложных органических остатков, такие, например, как обнаруженный в 1925 году у станции Одинцово «окаменевший человеческий мозг», целиком состоящий из кремня.

А от Одинцово до тех мест, которые я описал в данной главе, всего четверть часа пути на автобусе.

Курган среди асфальта

Говорят, что к старости человека тянет к могилам предков. И я теперь явственно осознал, почему мне так приглянулись древние курганы на лесной возвышенности поблизости от слияния Истры с Москвой-рекой.

На эти курганы наткнулся я в поисках грибов и ягод. Можно сказать и по-другому, что к этим буграм привел

меня леший. Еще хорошо не зная местности между селом Степановское и Веледниково на территории огромного колхоза Петрово-Дальнее, я блуждал по лесу, как это водится, концентрическими кругами, ориентируясь по гуканью какой-то птицы или действительно лешего, и выходил неизменно к этим буграм. Здесь, в окружении нежных берез, по соседству с Горелой Сечью, и возвышаются эти бугры. Местные жители называют их Французскими могилами, будто в них были захоронены бонапартовские бедолаги, замерзшие при отступлении из Москвы. Это понятно. Народная память в данном случае не пошла дальше 1812 года. Да и не только в данном случае: я где-то читал, что почти любому старинному кургану на запад от Москвы и до Березины присваивались названия французских могил. Впрочем, нынче я встретил в Горелой Сечи грибоискателя из какой-то соседней деревни, который уверял меня, что эти бугры — забытые братские могилы не первой, а второй Отечественной войны. И в доказательство указывал:

— Вот посмотри — за курганами под самой Истрой окопы.

Действительно, окопы над Истрой — это уже следы Великой Отечественной войны: гитлеровцы были поблизости за Истрой, и окопы создавались для возможной обороны этого берега. Но курганы, о которых идет речь, старше этих окопов на доброе тысячелетие. И возникли они близ еще на целое тысячелетие более древних, чем они сами, рвов вокруг остатков угро-финского городища. Вот чем пахнут эти сладко, тленно и бальзамически дышащие места, к которым привели меня гуканье, стон и хохот лешего или какой-то лесной птицы.

Я сразу понял, что это древние курганы. Только я не сразу разобрался, кем именно и с какой именно целью они воздвигнуты. Но вскоре мне в руки попалась новая книжка — «Древние славяне и их соседи» (М., «Наука», 1970). Там, в статье А. Г. Векслера, я прочел, что «феодальный город Москва возник в сплошном окружении сельских поселений, оставивших многие курганные кладбища», и «наибольший из курганных могильников Подмосковья — Одинцовский —...был зарегистрирован в 1958 году... в старом густом лесу на берегах р. Самынки, притока р. Москвы, между станцией Одинцово и платформой Барвиха». Таким образом, были «среди массы вятических погребений впервые в столь непосредственной близости

от Москвы отмечены кривические захоронения, что подтверждает существование у будущей столицы стыка границ расселения этих племен».

«...Верх насыпи... из вязкой желтой глины, а с метровой глубины светлый мелкозернистый песок с прослойкой золы и угля»,— прочел я дальше. Так и есть, то же самое и в моих курганах, судя по яме, вырытой в одном из них черт знает кем и заваленной пустыми бутылками, консервными банками и всяким другим туристским мусором от варварских пикников. А вот и фото: одинцовские курганы! Пожалуй, более плоские, но так же поросшие березами, они в общем похожи на те, к которым привели меня мои блуждания по лесу. Только я все же не понял: чьи эти мои курганы — кривичей или вятичей. «Курганы вятичей принято представлять полушарными,— пишет Векслер,— причем вначале крупными, а затем все более мелкими. В Одинцово, однако, наблюдается обратная картина: ранние курганы — небольшие, более поздние — значительно крупнее». А я не знал, которые более ранние и которые — поздние. Но мои сомнения насчет вятичей или кривичей разрешили мальчишки. Саша, внук нашего дачного соседа, отставного полковника авиации, и Сашин приятель, сын другой дачницы, «португалки» из Радиоцентра,— эти ребята, оказывается, тоже заинтересовались курганами. Они прослышали, что ту яму, в которой ныне консервные банки, копал когда-то еще до войны какой-то русский немец, но ему запретили, и решили покопать в соседнем маленьком курганчике. И вот однажды, прибежав ко мне, они объявили, что откопали череп неандертальца! Я сказал им: «Неандертальца или не неандертальца, но перестаньте рыться, а везите этот череп в город, в Археологический институт, а если вас начнут ругать, что самовольно и ненаучно копаете, скажите, что на кургане нет никакой таблички о том, что он под охраной государства, а есть только туристский мусор». Они так и сказали, когда какая-то тетя из Археологического института начала их ругать, и, услышав сказанное, тетя отослала их к другому дяде — из Института антропологии. И дядя вскоре явился на место происшествия и разъяснил ребятам, что эти курганы вятичей институту давно известны, только ждут очереди, а череп тоже теперь будет ждать очереди на исследование, ну, может быть, год. Я сам при этой беседе не присутствовал, был в городе, а все это мне после расска-

вали ребята; может быть, они что-нибудь и перепутали, а может быть, что-нибудь перепутал и я, но, во всяком случае, я утвердился во мнении, что это курганы либо кривичей, либо вятичей, и окончательно понял, чем эти курганы дороги мне: это могилы моих далеких предков.

Могилы моих предков, курганы, в которых, может быть, таятся, ожидая своих исследователей, всякие несгоревшие и неистлевшие украшения, орнаментированные височные кольца, трубчатые замки, фигурные личины и всякие другие вещицы, изделия, как пишет Векслер, «как деревенских, так и городских мастеров, полученные в результате товарного обмена первоначальной феодальной Москвы и ее сельской округи». И я подумал: весьма возможно и даже вполне вероятно, что в этом товарном обмене участвовали и мои пращуры, те самые, от которых впоследствии произошел и коробейник — офеня Мартын Лощилин, переваливший пешим ходом Урал и породивший там, за Уралом, многочисленный род Мартыновых, сыновей и внуков.

И все, о чем я задумывался и раньше, теперь окончательно оформилось в моем сознании. Конечно, эти ощущения, я не сомневаюсь — врожденные, были у меня и в детстве, но поначалу еще смутные, неосознанные и проявлявшиеся в самых противоречивых формах. Скажем, известные старые стихи, превратившиеся в заунывную солдатскую песню времен первой мировой войны — «Время, седлай ты коня мне любимого, крепче держи под уздцы, едут с товарами в путь до Касимова Муромским лесом купцы!» — хватали меня за сердце. Из глубины казахских степей этот далекий зауральский Муромский лес, через который кто-то кому-то везет шубку на куньем меху, представлялся мне родным и знакомым, величественным и желанным, в то время, как Илья Муромец сам по себе ассоциировался только с одноименным знаменитым аэропланом, знакомым мне по журнальным картинкам. Вот какой Илья Муромец несся в моем воображении над Муромским лесом, там, в далекой России, как называли всё, что западнее Урала, старые сибиряки.

Разумеется, я пытливо познавал все, что касается этой России, Российской империи, которая уже трещала по всем швам в преддверии революции. Роясь в книгах и вглядываясь в лица и облики князей, царей, императоров, святых угодников, цариц, императриц, витязей, патриар-

хов, языческих богов, должно быть, с детства я знал и известную картинку похорон славяно-русса, то есть видел тот бугор, на котором пылал костер. Но пламя этого костра, естественно, было заслонено алым полыханьем пламени революции, в котором потонули и самосжигательные костры староверов, и зловеще золотистые отблески регалий репинского «Заседания Государственного Совета». Правда, среди огня и дыма гражданской войны неожиданно пахнуло свежей и нежной зеленью песен Есенина, но его песни потонули для меня в громовом голосе Маяковского. «Мы никаких не наций, труд наш — наша родина!» И если что и заставило тогда меня вспомнить о национальной старине, так это шлемы-богатырки красноармейцев и их мундиры, напоминающие обличье витязей. Но, конечно, вовсе и не этот вдруг обнаружившийся внешний признак связи между прошлым и настоящим вновь пробудил во мне чувство принадлежности к роду, чувство прародины, а оно проснулось во мне, как мне кажется, от соприкосновения с человеческими массами, которые после революции еще с большей силою, чем до нее, хлынули из-за Урала на восток, сначала как беженцы из голодающего Поволжья, затем как новая мощная волна переселенцев и, наконец, как всевозможные завербованные — рабочие первых советских новостроек Сибири; землекопы, плотники, каменщики, тачечники из-под Рязани, из-под Тамбова, из-под Чернигова и Смоленска и еще бог весть откуда. Скитаясь в качестве журналиста по новостройкам, сталкиваясь с этими людьми лицом к лицу, описывая всяческие муки и неполадки их первоначального быта и трудоустройства, я видел не только их, но и их, зачастую красивых, жен и дочерей, еще полунищенски одетых и только мечтающих о сибирских тулупах. Вот она, Россия, та самая, серая, бедная Россия. «Россия! Нищая Россия!»...

— Какой губернии? — нередко для начала разговора спрашивал я у какого-нибудь грабаря или тачечника, даже наперед зная, из предварительного разговора с техником или профоргом, с кем я имею дело. И нередко слышал в ответ:

— А сам ты какой губернии?

И иногда в ответ на мой ответ, что я-де сибиряк, из Омска, я слышал и такой вопрос: нет, мол, ты скажи, из какой губернии твои родители или деды и прадеды пришли в Сибирь?

И, спрашиваемый об этом, я осознал, что, увы, не могу исчерпывающе ответить на этот вопрос. Если я точно знал, что родители моей бабушки по материнской линии петербуржцы, то что́ я, собственно, мог бы сказать о Мартыне Лощилине? Я знал, что свой коробейнический путь за Урал он начал из Владимира. Но был ли он сам владимирским? Отец мой, когда я его спрашивал об этом, не мог мне дать точного ответа: прапрадеды скорее были из каких-то краев между Муромом и Арзамасом, сказал однажды он, но мне кажется, что этого точно не знали и отец с матерью. Крестьянская родословная!

И вот однажды, когда я размышлял об этом, а может быть, и совсем не об этом, я и написал первый стих о чувстве прародины, неведомой и таинственной:

О неведомом и о таинственном
Говорить бы вовсе я не мог.
Ну, родился в племени воинственном,
Покорившем Северо-Восток,
Ну, и плыл с товарищами рослыми
Бить зверей на Ледяной Земле —
Молодые заправляли веслами,
Старики сидели на руле.
После, в Мангазее и Березове,
Нас вводили под уютный кров
Девушки, прельстительны и розовы,
Что носили мех поверх шелков.
И не рву я с древнею отчизною...

Разумеется, тут все было не так, как на самом деле. Никакие мои личные предки, как я думаю, не были новгородцами или поморами, участниками походов в Мангазею. И вообще эти стихи касались не столько меня, сколько народа. Хоть и кончались сентенцией в адрес некой воображаемой кокетки и ветреницы:

И не рву я с древнею отчизною,
Помню прежних северных подруг,
А встречая нудную, капризную,
Говорю: тебя изнежил юг.
Шторм придет, и снова ясно вспомнится
Дикий вихрь пустыни ледяной,
И равно — распутница иль скромница —
Станешь ты примерною женой.

Тут, в этих юношеских строфах, было всего понемногу; романтики и дидактики, и некоторое свойственное литературе двадцатых годов, несколько смущенное, извинительное, что ли, отношение к исторической миссии рус-

ского народа па востоке: ну, и родился в племени воинственном, ну, и плыл за мягкой рухлядью! Что, мол, было, то было, но с древней отчизною не рву, хоть и отрицаю старое и строю новое. «Мы строители дороги! Старики, что в нас стреляли, уж давно сидят в остроге!» — писал я в другом стихотворении о кержацких краях того периода. И еще в одном стихотворении изображал чалдона, противника советского строительства, так: «Из чемодана вынув фляги, я жду в вечерние часы, когда, испив казенной влаги, он свесит рыжие усы. «Что нового?» — он спросит строго, и я отвечу: «Наркомпуть решил железную дорогу до ваших пастбищ дотянуть!» Но он взъярится: «А, паскуды! В обмен на их фабричный дым наш лес и хлеб и наши руды не отдадим, не отдадим!» Так, сатирически, я изобразил степного хозяйчика. Но ирония либо мне не удалась, либо была слишком тонка; словом, ее не все восприняли, как я задумал, и некоторые критики расцепили эти стихи как областнические. Я думаю, что понятно без слов, как мне, ярому поборнику социалистической перестройки Сибири, было горько от таких несправедливых упреков. Столь же плохо было понято и другое мое стихотворение, написанное в духе былинном и касающееся сопротивления кулаков сдаче хлеба государству:

Надвинув зеленые шлемы
На самые синие очи,
Шли будто по вражьей земле мы,
Позицию заняли к ночи.
Враги — бородатые гномы —
Шептались, таясь за лесами:
— Схороним, схороним зерно мы,
А после схоронимся сами!
Какой они нации?
— Нашей!
— А будто не нашей, враждебной!
— Питаются?
— Щами да кашей!
— А край ничего себе, хлебный!
...Весь день продолжалось томленье,
А к вечеру ивы поникли...
Начальник Политуправленья
Промчался на мотоцикле.
А в зарослях дикой картошки
Хихикал кривой идиотик...

Но самое неприятное случилось еще с одним стихотворением, написанным вот по какому поводу: один мой прия-

тель, молодой писатель (мы все тогда были так молоды!), заядлый сибирелюб, приревновал меня к своей невесте. «Какой ты сибиряк! Так сибиряки не поступают — танцевать с девушкой российские танцы!» — воскликнул он, подразумевая только что завезенный из столицы фокстрот, на что я ответил ироническим, даже больше того — издевательским — стихом, как мне казалось, пародирующим тираду моего изобличителя: «Не упрекай сибиряка, что он угрюм и носит нож, ведь он на русского похож, как барс похож на барсука! Не заставляй меня скучать и об искусстве говорить. Я не привык из рюмок пить, я буду мыслить и молчать. Мой враг сидит в конце стола, от гнева стал лицом он сер. Какой он к черту кавалер! Он даже не видал седла. Я у него любовь украл? Таков неписаный закон: чужанок нежных брать в полон и умыкать через Урал!» Я думал, что мой издевательский стих вразумит сибирячеще-имяречущего товарища, доходящего в своей провинциальной ограниченности до абсурда. Но вышло так, что этот стих, будучи напечатан и припят не в шутку, а всерьез, обернулся против меня же, дав повод обличать меня в том же самом областничестве. Меня, который едва ли не больше всех других молодых сибирских литераторов тех времен писал обо всех начинаниях Советской власти за Уралом, как об общегосударственных проблемах! Конечно, я, двадцатилетний поэт, только что сбросивший с плеч примитивные доспехи кубизма, выражал свои чувства далеко не всегда в ортодоксально ясных, кристаллически-хрестоматийных формах. Зачастую я вглядывался в бурную и противоречивую действительность тех дней через подзорную трубу романтики, как это явствует, скажем, из стихотворения «Голый странник», где мой Аполлон, соперничая с хлебниковской Венерой, скитается по сибирским снегам, как некий призрак тех военных жестоких лет, когда враги зимою раздевали пленных и говорили им: «Беги!» Но, как я вижу теперь, даже и некоторые мои смутные видения, как, например, не принятое, отторгнутое мною самим провидение какого-то змея, дракона на китайской границе рудного Алтая, как я теперь вижу, имело свой смысл. «О здравый цензор, беспокойны мы, подвержены навязчивым идеям!» — писал я тогда. И, конечно, я и был тем безумным корреспондентом, который побывал в затерянных степях, где обитают люди-корне-

плоды и который вместе с рабочими, сибиряками и приезжими участвовал в строительстве шахт и рудников, заводов и фабрик, то есть всевозможных производств, имеющих всесоюзное значение. А на ряду с этим я писал и о всяких кикиморах и шишигах, таившихся среди зарослей дикой картошки в восточных глубинах государства, но государства своего, русского, Советского государства, в столицу которого — Москву — я устремился в первый раз еще пятнадцатилетним подростком, чтоб тосковать, ее покидая, и ликовать, возвращаясь в нее. Но до времени я больше интересовался ее новизной, чем ее стариной, и кто знает — мимо скольких старинных курганов прошел я за многие годы, скитаясь по Подмосковью, по разным Кунцевым, Голицыным и Кусковым и вовсе еще не интересуясь какими-то буграми, курганами и теми, кто в них схоронен, испепелен, смешан с песком и золой.

А в заключение скажу вот что.

Может быть, я и сейчас бы не вспомнил и не написал бы всего того, что сказано выше, но решительно заставил меня это сделать вот какой случай, происшедший на днях: уже две недели, как, возвратившись в город из деревни, я шел по улице Дмитрия Ульянова, являющейся продолжением Университетского проспекта, выходящего на Ленинские горы. И вот, идя по бульвару, я вдруг увидел прямо перед собой бугор. «Как же я его не замечал раньше? — подумал я.— Ведь он точь-в-точь похож на петрово-дальненские бугры вятичей, этот бугор, уцелевший, видимо, только потому, что корневища проросших сквозь него старых деревьев затруднили нивелировку местности». Может быть, я ошибаюсь? Едва ли. Окончательно могут разрешить этот вопрос лишь специалисты, но я продолжаю думать об одном: курган среди асфальта! Вот как крепко уцепились за эту московскую землю мои предки — кривичи или вятичи, точно не знаю!

Содержание

**Леонид Николаевич
Мартынов**

ВОЗДУШНЫЕ ФРЕГАТЫ
Новеллы

Редактор Н. Суворова
Художиик Ю. Лышко
Художествеииый редактор Е. Носкова
Технический редактор Е. Румяицева
Корректоры Н. Попикова, О. Голева

Сдаио в иабор 25/III 1974 г. Подписаио к печати 24/VII—1974 г. А 09544. Формат изд. $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 10,25. Усл. печ. л. 17,22. Уч.-изд. л. 17,57. Тираж 200 000 экз. Заказ № 4-139. Цеиа 77 коп.

Издательство «Современиик» Государствеиного комитета Совета Миинстров РСФСР по делам издательств, полиграфии и киижиой торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Киижиая фабрика имеии М. В. Фруизе республнканского производствеиного объедиеиия «Полиграфкиига» Госкомиздата УССР
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8

428 14 8 14/ХI-14.

77 коп.